

175534

Октябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

8

1942

ОКТАБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ВОСЬМАЯ
КНИГА

АВГУСТ



ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА

1942

Содержание

	Стр.
М. ВОДОПЬЯНОВ — Из записок военного летчика	3
П. АНТОКОЛЬСКИЙ — Чкалов, <i>драматическая поэма</i>	18
В. КОСТЫЛЕВ — Иван Грозный, <i>роман</i> (окончание)	29
ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ — Россия, <i>стихи</i>	81
В. ГАЛИН — В городе И. (Записки разведчицы)	83
Е. ШЕВЕЛЕВА — Сон, <i>стихи</i>	92
» — Альпийский поход, <i>народная песня</i> (перевод с чешского В. Казина)	93
А. САФРОНОВ — Золотой локон, <i>рассказ</i>	94

ПУБЛИЦИСТИКА

С. МАРШАК — Жизнь побеждает смерть	97
А. ТРОЯНОВСКИЙ — Кровь, труд, пот и слезы	99
Полковник М. ГОЛЧЕНОВ — Война на Тихом океане	105
К. ШИГАРЕВ — Суворов в своих письмах	119

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

З. КЕДРИЦА — Своими глазами	128
Е. ГЕРАСИМОВ — Первые герои	129

Из записок военного летчика

ПЕРВЫЙ БОЕВОЙ ВЫЛЕТ

Когда мы вернулись из экспедиции с Северного полюса, на Центральном аэродроме нас встретило правительство во главе с товарищем Сталиным. Был открыт митинг. Мне, командиру летного отряда, предоставили слово. В конце речи я указал, указывая на самолеты экспедиции:

— Товарищ Ворошилов! На этих красавцах мы завоевали Северный полюс. Но если стране понадобится, мы эти же самолеты повернем на запад или на восток, туда, откуда посмеет напасть на нас враг.

С тех пор прошло два года. В 1939 году возникла война с Финляндией. Я пришел к товарищу Ворошилову и напомнил ему сказанное на митинге:

— Товарищ народный комиссар... война в настоящий момент происходит на севере. Я человек северный, самолет мой полюсный, пружа поднимает пять тонн. Разрешите мне вместе со своим экипажем вылететь на фронт. Я могу перебрасывать технический состав с одного аэродрома на другой, перевозить в тыл раненых. А самое главное, у меня есть опыт летать в зимних условиях; думаю, он пригодится для военной авиации.

Мое предложение было одобрено.

На другой день я получил боевое задание и немедленно со своим экипажем вылетел на место назначения. По дороге мы залетели в авиационную часть, где на всякий случай установили две турели: одну в хвосте, другую в центральной части самолета, а также бомбодержатели на четыре тысячи шестьсот килограммов.

Я готов был выполнять боевые задания хоть ночью. Командир части дал мне опытного бомбардира и двух стрелков. На фронт вилась во всеоружьи.

В Петрозаводске командир и комиссар и ка встретили меня очень приветливо. Летки, механики обступили самолет. Уви бомбодержатели, они спросили:

— Не боевые ли полеты вы думаете вершать, товарищ Водопьянов?

— Не в игрушки же прилетел играть, шуточно отозвался я.

— Да вас на такой жерове в первый полет собьют,— сказал командир эскадрильи.— Вы бы хоть перекрасили ее, а оранжевый цвет издалека видно. В Арктике,— продолжал командир эскадрильи,— этот цвет действительно нужен, чтобы не затряться во льдах в случае вынужденной посадки, а здесь вы нам размазываете аэродром.

— Какая у вас скорость на этом самолете?— спросил комиссар.

— Сто восемьдесят километров.

Со стороны посылались смехлики и феллики.

— Да... На такой телеге далеко не улетить... особенно днем. Боевые задания иней, безусловно, выполнять можно, но только ночью. Днем вас непременно собьют, тем более, что низ самолета совершенно не защищен,— сказал командир полка.

— Ночью так ночью,— ответил я.

Товарищи были правы. Днем на такой неповоротливой машине лететь было очень опасно.

К утру погода стала ясной, теплой... Снега на аэродроме почти не было. Самолеты полка пошли на боевое задание. Через час они возвращались, запружали бомбы и летели снова. Боевая жизнь была в полном разгаре.

Ко мне подошел мой штурман, капитан Штененко.

— Товарищ командир,— начал он.— Мы что — прибыли сюда смотреть, как военные

летают? Почему мы не летим? Бомбы подвешены, экипаж в полной боевой готовности.

— Полетим ночью,— ответил я, а само-го так и подмывает полететь сейчас же, сре-ди бела дня.

— Товарищ полковник,— настаивал Ште-пенко,— экипаж командировал меня к вам попросить лететь немедленно. А ночью мы сле-таем само собой... Летчики, работающие на фронте, говорят, что истребителей на этом участке нет, так что нам бояться нечего.

Подожел я к самолету... Бомбы, действи-тельно, подвешены.

— Как машина?— спросил я механиков.

— В полном порядке,— радостно ответили они.

— Хорошо, заводите моторы, а я пойду на командный пункт получу задание.

Через час самолет был в воздухе... Бомбы и турели изменили полетные качества нашей машины. Она медленно набирала высоту. О скорости сто восемьдесят километров надо было забыть. Больше ста пятидесяти, ста шестидесяти километров она теперь не да-вала.

До линии фронта было, примерно, сто ки-лометров. Я положил самолет на курс и по дороге стал набирать высоту.

Перелетели линию фронта... Цель, как на ладони. На маленькой станции увидели что-то покрытое брезентом, вероятно военное имущество. Штурман и бомбардир попросили зайти справа на цель.

Через две минуты одна за другой посыпа-лись бомбы. Что творилось внизу!.. Высота небольшая... Бомбардир — хороший... Все, что было покрыто белым брезентом, стало черным. Бомбы, по двести пятьдесят кило-граммов каждая, угодили прямо на железно-дорожное полотно.

Выполнив задание, мы повернули домой. На обратном пути наш самолет начали об-стреливать зенитки, но, к счастью, снаряды рвались выше нас. Истребители, которых я боялся, не появлялись, хотя стрелки встре-тили бы их с удовольствием.

Потом выяснилось, что, разбомбив желез-нодорожное полотно, мы временно отрезали путь к отступлению финского бронепоезда, который стоял в тулупке, в лесу. Он так хо-рошо был замаскирован, что мы его не за-метили.

Когда я сел на аэродроме, меня окружили летчики.

— Все-таки не утерпели, товарищ полков-ник,— смеялись они.

— Разве с таким экипажем утерпишь,— отвечал я.

Разговоров среди экипажа было много. До

поздней ночи обсуждали этот полет. Да как же было и не говорить о нем, ведь это был первый боевой вылет для всего экипажа, и еще дневной.

С БОРТОВЫМИ ОГНЯМИ

...Командование запретило мне летать днем. Я охотно согласился, так как был уверен, что рано или поздно финны подкараулят меня — машина моя была слишком заметна. Я объяснил экипажу опасности полетов днем и предупредил, что летать будем только ночью.

Мы сделали несколько ночных вылетов. Один из них врезался мне в память на всю жизнь.

Наш экипаж был готов к очередному по-лету. Подвесили бомбы, вырулили на старт, поднялись в воздух... Моторы работали хоро-шо. На всякий случай мы сделали круг над аэродромом и, убедившись, что моторы и приборы работают нормально, взяли курс на фронт. Ночь была ясная, безлунная... небо усеяно звездами. Мороз доходил до 39 граду-сов. Машина, нагруженная бомбами, медлен-но набирала высоту. Не долетев до линии фронта, километров за сорок, мы увидели большое зарево пожаров — это горели села, деревни, города, которые финны сами сжига-ли при отступлении.

В эту ночь наши войска вели наступление по всей линии фронта. Я направил свой са-молет туда, где был один из самых сильных пожаров. Видим, горит большое село и пет в нем дымка, не охваченного пламенем. За селом, на двух дорогах, уходящих в тыл, то и дело вспыхивают огоньки снарядов и из-редка загораются фонари автомашин. Ясно, что по этим дорогам отступает финская ар-мия. Я дал распоряжение сбросить бомбы на отступающих.

Впереди показалась дымка, слева хорошо было видно Ладожское озеро. В дымке могли замерзнуть приборы, поэтому я решил вклю-чить подогреватель, и только успел это сде-лать, как вдруг в нас начали палить из зе-нитных батарей, причем сразу из несколь-ких точек. В кабине, где было темно, вне-запно стало совсем светло. Мы шли на высо-те тысяча двести метров. Бомбы рвались и ниже и выше нашего самолета. Вспышка залпа батарей доходила до нас, как молния, освещающая внутренность кабины; взрывы бро-шенных нами бомб также освещали ее. Все это продолжалось до тех пор, пока мы, сбро-сив все бомбы, не ушли от цели.

«Вот так ночной полет,— подумал я,— пожалуй, он хуже, чем дневной».

На аэродром прилетели благополучно. Под-рулили к месту нашей стоянки... К нам спе-

шили летчики. Они что-то показывали на крылья и смеялись. Я никак не мог понять, чего им так весело. Если пробило крылья, так смешного тут мало.

Выхожу из самолета — меня окружают товарищи.

— Вы что, — говорит мне комиссар полка, — на международной линии пассажиров водите? У вас зажжены бортовые огни.

— Как? — изумился я. — Какие бортовые огни? — Смотрю и глазам не верю... Оказывается, вместо подогревателя приборов, я включил бортовые огни. С одной стороны, это случилось неплохо — мы невольно здорово посмеялись над финнами. С другой стороны, за этот «смех» мы могли заплатить жизнью.

Только теперь я понял, почему так энергично стреляли в нас. Мы бросали бомбы и зажгли бортовые огни самолета: стреляйте, мол, все равно не попадете. Особенно ярко горела лампочка в хвосте, где сидел наш стрелок. Я подошел к нему... Он спокойно закрывал чехлом пулемет.

— Послушайте, стрелок! — обратился я к нему, — вы же видели, что загорелась лампочка, почему вы ее не разбили?

— Виноват, товарищ полковник, — смущенно ответил он, — я думал, вы нарочно включили лампочку... Чтобы мне светлее было... Я выпустил на дорогу все патроны, думаю, что пули легли удачно.

— Как они вас не сблиз? — удивлялся командир полка. — Мы этот район обходим. У нашего полка в этом районе погибли две машины... Летчики, правда, вернулись.

— Теперь я верю, — засмеялся комиссар, — самая яркая звезда на небе — это волюнтаристская. Она его и бережет, так что с ним можно смело летать днем и ночью. Я полетел бы с ним куда угодно и когда угодно.

И вот однажды днем комиссар полка вылетел со мной на боевое задание.

ОПЫТ ПОЛЯРНИКА ПРИГОДИЛСЯ НА ФРОНТЕ

В декабре выпало много снега. Ударил сильный морозы. На фронт с большим трудом вылетели только две машины. Механики обращались ко мне с просьбой дать им полярные лампы для подогрева моторов. Это не был выход из положения, так как у меня на корабле было всего четыре лампы, а для полка подобных ламп требовалось не менее трехсот.

Военные люди — народ энергичный. Они знают, что нельзя не выполнить боевого задания. Если кому-нибудь удавалось запустить моторы, их уже больше не выключали и подогревали через каждые два часа. Но этот способ был очень нерентабелен. Случалось

иногда, что два-три дня погода стояла нелетная, а механики все время прели моторы. Ресурсы моторов истощивались, и кроме того, напрасно уничтожался бензин.

«Вот где я пригодится опыт полярника», — подумал я.

Мой четырехмоторный самолет гораздо сложнее, чем двухмоторный, тем не менее, в экспедиции в зимних условиях мы не знали никаких забот при запуске моторов. Мои механики не жуедались в воде, маслогрейке. За час до вылета они ставили под моторы полярные лампы, которые подогревали мотор и одновременно масло. В моторы, вместо воды, наливалась незамерзающая жидкость (актифриз), которая никогда не спускалась. Через сорок — пятьдесят минут, смотря по температуре воздуха, закапчивался подогрев и один за другим запускались моторы.

Я решил во что бы то ни стало помочь нашей авиачасти. Попросил Героя Советского Союза Белякова составить вместе письмо на имя начальника ВВС РКК с просьбой дать распоряжение о массовом изготовлении таких ламп. Для образца просил взять лампу полярной авиации.

Тов. Беляков, хорошо знавший плачевное положение с запуском моторов, охотно согласился на мое предложение. Письмо было написано и отправлено. Для ускорения дела я вылетел в Москву.

Здесь доложил нарком, как обстоит дело на фронте с запуском моторов. Он внимательно выслушал меня и сказал:

— Разрешаю сделать две тысячи ламп. Действуй!

Получив такое разрешение, я принялся за дело. Поехал на завод, где делали эти лампы, переговорил с инженером, который их сконструировал.

Через два дня двести ламп были уже готовы и мною доставлены на петрозаводский аэродром.

Теперь я стал выполнять боевые задания при любом морозе. Про внедренный мною способ подогрева моторов узнали и на других участках фронта. В Москву полетели телеграммы с просьбой выслать авиационные полярные лампы.

Боевых полетов мне больше делать не пришлось. Я часто летал в Москву и оттуда на разные участки фронта. Помню, привез я триста ламп в Ухту.

На один из участков фронта привезли обмороженных красноармейцев. Финны, отступая, сжигали все дома. Нашим бойцам было негде укрываться. Большие брезентовые палатки были очень неудобны для передовых позиций. «Как же, — подумал я, — мы, полярники, иногда целыми месяцами жили в тундре

пти на льдине океана и не замерзали?» У меня на самолете имеется палатка весом всего четыре килограмма, а в ней помещаются совершенно свободно пять человек. Оттапливается она обыкновенным примусом.

Пока я летел до Москвы, у меня из головы не выходили обмороженные красноармейцы. Палаток таких, какие у меня на самолете, можно сделать сколько угодно и очень быстро. Но вот вопрос — чем их оттапливать? Не будут же бойцы носить с собой керосин и примус. Здесь было нужно что-то другое. Пролетая над лесом, я подумал: «Дров-то сколько!» Тут же в уме подсчитал: если сделать маленькую печку из легкого железа, которая бы вместе с раздвижной трубой весила не более как полтора-два килограмма, то на эту печку потребуется в сутки не больше одной маленькой охапки дров. Не откладывая эту мысль в долгий ящик, я, пока изготовлялись на заводе люляриные лампы, пошел на другой завод и попросил товарищей сделать по моему указанию одну печку.

Она была очень скоро готова, и тут же на аэродроме, недалеко от самолета, я установил свою палатку и затопил печку. Буквально через десять минут в верхней части палатки температура поднялась до двадцати пяти градусов тепла. В двенадцать часов ночи я приехал в Наркомат обороны и рассказал о своем опыте. Адъютант тотчас же вызвал машину и поехал со мной на аэродром. На улице стоял мороз тридцать градусов, а в палатке была температура двадцать пять градусов тепла.

Палатка с печкой всем очень понравилась. Когда мы вернулись в наркомат, было два часа ночи. Адъютант решил показать походную палатку наркомом обязательно рано утром. Тотчас же вызвал к себе инженера, приказал сделать палатку, которая бы делилась на две части. К утру палатка была уже готова. Вес ее вместе с печкой был следующий: каждая половина палатки весила два килограмма; печка с трубой весила один килограмм девятьсот граммов. Итого вес палатки был около шести килограммов. В каждую такую палатку помещаются свободно пять человек, но при желании в нее можно поместить семь человек.

К десяти часам утра во дворе стояла готовая палатка. Нарком дал приказ сделать для опыта сто штук таких палаток и отправить их на передовую линию фронта. Если бойцам понравятся эти палатки, заказать большее количество их. В этот же день я вместе с инженером съездил на швейную фабрику. Устроили там митинг, а на другой день сто штук палаток и столько же печек были погружены в самолет.

Через три дня инженер вместе с палатками был доставлен в Петрозаводск, а оттуда на полторке на передовую линию фронта.

Скоро инженер привез прекрасные отзывы о походных палатках. Было заказано их еще две тысячи. Большую часть палаток я сам доставил бойцам. Мой опыт полярника пригодился на финском фронте.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. БОМБИТЬ БЕРЛИН!

После заключения мира с Финляндией я со своим экипажем вернулся домой в Москву. Сняли бомбодержатели, и машина снова приняла гражданский вид. Через пять дней я получил от начальника Севморпути задание открыть воздушную линию: Москва — Чукотка, по побережью Северного морского пути.

Погрузили груз, посадили пассажиров и в конце марта 1940 г. на самолете СССР Н-170 мы вылетели на Чукотку. Через пять часов благополучно приземлились в Архангельске.

Преодолевая трудности воздушных путей суровой Арктики, мы благополучно долетели до Чукотки. По дороге, на зимовках, в портах, мы проводили беседы, рассказывая о войне с белофиннами.

Настроение у всех на корабле было прекрасное. Двадцать пять часов мы непрерывно разведывали льды. Мы облетели все Карское море. Штурман Штепенко все время не отрывался от карты, внимательно нанося на нее состояние льдов, необходимое для прохода судов по Северному морскому пути. Механик Сутробов следил за моторами, которые работали безукоризненно.

Вдруг ко мне подошел радист Богданов.

— Неприятная новость, — крикнул он мне на ухо. — На Советский Союз вероломно напали немцы. Я только что слышал речь товарища Молотова.

Когда мы опустились на базе, я тут же сообщил эту новость своему экипажу.

— Хотя и рекордный мы совершили полет, но он последний. Полетим, товарищи, защищать родину!

Через несколько дней мы были в Москве, где я получил назначение. В августе все было сформировано. Я получил боевое задание — бомбить Берлин. С десятого на одиннадцатое августа началась подготовка самолетов к глубокому рейду. Механики тщательно осматривали моторы самолетов. По аэродрому сновали машины, подвозящие бензин, масло, бомбы. Техники по вооружению подвешивали бомбы; штурманы, летчики, радисты прорабатывали боевое задание.

Начался боевой полет. В начале пути погода была хорошая, но, когда мы подлетели

к линии фронта, погода стала портиться, появилась облачность. По характеру облаков можно было судить, что впереди циклон.

Мы начали постепенно набирать высоту. Путь предстоял нам дальний, и я решил лететь выше облаков. Слева, совсем как у Гогаля, появилась луна. Высота пять тысяч метров — мы одели кислородные маски. По внутреннему телефону я спросил стрелков, как они себя чувствуют, хорошо ли работают кислородные приборы.

Получил ответ, что все в порядке, значит, можно спокойно лететь дальше.

Облачность оказалась выше пяти тысяч метров. Луна, освещавшая нам путь, скрылась... Машина попала в облака. Я передал управление второму летчику. Штурман Штетенко время от времени менял курс. Отчетливо было слышно, как он давал команду: «Пять градусов влево, так держать» — и так далее.

На высоте шести тысяч метров мы увидели луну, но она была в дымке. Около трех часов мы шли, не видя земли.

Наконец облачность кончилась как будто высоким снежным обрывом. Под нами, белыми от луны полосами, лежало море. Мы приближались к ненавистой нам Германии. Штетенко восстановил ориентировку. Курс был взят прямо на Берлин.

Над землей снова появились облака, сначала редкие, а потом они совсем закрыли землю. Высота достигла семи тысяч метров. Вдруг первый крайний мотор остановился.

«Обидно», — подумал я и спросил у Штетенко: — Далеко ли до цели?

— Осталось лететь двадцать минут, — ответил штурман.

— Что делать?

«Если, — думал я, — сбросить бомбы, не долетев до цели, и пустыми возвращаться домой, то какая гарантия, что не остановится второй мотор? Таким образом, мы все равно до своей земли не дотянем и задание останется не выполненным».

Я решил выполнить задание, а там — будь, что будет, — война...

Через двадцать минут дрогнул самолет. Я сразу догадался, что Штетенко открыл люки. Сейчас он будет сбрасывать бомбы по расчету времени... Минута... и одна за другой посыпалась бомбы.

— Домой! — крикнул штурман.

Внизу, сквозь облако, сначала были видны взрывы наших бомб... Потом забегали прожекторы, образуя большие пятна на облаках. Застреляли зенитки...

«Поздно», — подумалось мне.

Когда мы сошли с цели, я решил снизиться, чтобы запустить мотор. Для меня уже

было ясно, почему мотор остановился, — ему нехватало воздуха. На высоте трех тысяч метров он снова заработал. Я не успел порадоваться, как раздалась команда штурмана: «Вправо!» Потом: «Влево!»

— Что такое?

Впереди были заградительные огни зенитной батареи. Мы быстро набрали высоту. На шести тысячах метров мотор опять остановился. Определенно ему нехватало воздуха. Приходилось снижаться несколько раз, и почти каждый раз мы попадали под обстрел зенитной батареи.

Нам проббили два бензиновых бака. Механики всячески старались их прищипать, чтобы сохранить больше горючего.

Наконец стало светать. Все четыре мотора работали хорошо. Мы шли на высоте пяти тысяч метров. Впереди появились высокие обрывистые облака, они напоминали каменные пики Кавказских гор. Казалось, что вот сейчас врежется самолет в эти скалы и разобьется о них вдребезги.

Обойти мощный циклон не было никакой возможности. Он, как неприступная крепость, преградил нам путь. Не видно было ни конца, ни начала сплошной облачной стены. Пошли прямо, с большой скоростью и врезались в эту стену. В кабине поднялась снежная пыль. В малейшую щелочку проливался густой струйкой снег.

«Настоящая Арктика», — подумал я.

Посмотрел на крылья самолета... льда нет. Это меня очень обрадовало, мы не обледенели. Около десяти минут нам пришлось лететь в сильнейшей пурге. Много летал я в Арктике, но в такой циклон попал впервые. В нашу кабину надудло много снега, приборы покрылись снежной пылью.

Когда нам, наконец, удалось вырваться из снежных объятий, мы снова пошли над облаками. По расчету времени наш самолет находился недалеко от линии фронта.

НАД ЭСТОНИЕЙ

Решили снизиться и восстановить ориентировку. На высоте тысяча восемьсот метров мы увидели землю. Температура резко поднялась, снег в кабине быстро растаял, по окнам хлестал дождь. Видимость впереди была очень плохая. Самолетом в это время управлял Пусеп. Я внимательно смотрел вниз по вертикали. Земля казалась изрезанной мелкими полосками пашен, пересеченной отдельными кулисами леса. Сел больших не было. Виднелись отдельные хутора из четырех-пяти домиков, находящиеся друг от друга на расстоянии не более одного-двух километров. «Это не колхозная земля, — поду-

жал я.— Мы, вероятно, находимся над Финляндией или Эстонией».

— Где мы?— спросил я штурмана.

— Мы летим над линией фронта. Под нами Эстония. Справа должно быть Чудское озеро.

В это время, как по команде, остановились все моторы. Я сразу догадался, что в баках нет горючего. Машина начала быстро снижаться. Я взял управление в свои руки. Посмотрел на землю: внизу под нами горели хутора. Спаряды летели и на запад и на восток, а также и в наш корабль. Мы шли на высоте тысяча восемьсот метров. Что делать? Прыгать с парашютом,— значит попасть к фашистам в руки... Садиться на открытое место тоже нельзя: расстреляют. Добежать до какого-нибудь укрытия — не успеем. Я принимаю решение: садиться на густой лес, подальше от дорог. По крайней мере, фашисты туда не скоро смогут добраться.

По телефону предупреждаю товарищей:— Приготовиться!

Я видел, как один за другим уходили товарищи в заднюю часть самолета, где меньше риска погибнуть при посадке.

«Ну же! разобьемся?»— подумал я.

Но тут же появилась надежда на спасение. Высота быстро сокращалась. Вот и лес... Выравниваю машину, стараюсь как можно больше потерять скорость. Сначала наша подбитая птица касается верхушек деревьев хвостом... а потом своими распростертыми крыльями плавно ложится на густой лес.

— Товарищи!— крикнул я.— Вы живы?

— Мы-то живы, а вы как, товарищ командир?

— Раз спрашиваю, значит, все в порядке. Вылезайте!..

Первым выскочил из кабины радист Богданов... В одной руке он держал пистолет, в другой гранату...

— Пошли скорее от самолета, сейчас появятся немцы. Слышите?.. Близко стреляют...

— В таком обмундировании нам уходить нельзя,— заметил я.— Надо переодеться.

Мы быстро снимали меховые унты, комбинезоны... Оделсь во все летнее. Механики за это время проверили баки. Один центральный бак в правом крыле оказался пробитым в пяти местах. Поэтому-то нам и не хватало горючего.

С собой мы ничего не могли унести, пришлось все сжечь. Нас было несколько человек. Забрали мы продукты и по ручному компасу стали пробираться густым лесом на восток. Дождик постепенно утихал... Впереди показалось что-то похожее на блиндаж. Решили проверить. Самым храбрым оказался штурман Штепенко. Он со стрелком пошел в

разведку. Мы внимательно прислушивались к каждому шороху, готовые, в случае чего, ринуться на помощь своим товарищам.

Минут через двадцать вернулись наши разведчики. Доложили, что около одного блиндажа видели немца-часового. Остальные, вероятно, спали. Время было еще раннее, пять часов утра.

— Ты уверен,— спросил я Штепенко,— что это немцы?

— Вот тут,— указал он повыше козырька на своей фуражке,— я видел две пуговицы... и фуражка у него вроде шлема.

Кто же носит такие фуражки? А впрочем, давайте обойдем лучше это место и уйдем в лес,— предложил я товарищам.

Пошли дальше... Вдруг слева увидели строение. Нам страшно хотелось встретить хоть одного мирного жителя, чтобы узнать, где мы находимся: на территории своих или у немцев. Пока для нас было ясно одно: мы находимся на линии фронта.

Дошли до большого барака. За ним находилось несколько барачков поменьше. Место открытое. Вокруг ни души. Кругом барачков в беспорядке валялись поломанные деревянные койки. На открытой площадке навален строительный лес. Вероятно, он был приготовлен для постройки новых барачков. Тут же недалеко от барачков, очевидно, был тыр. Об этом можно было судить по порванным на почерневших досках мшищам.

В бараке на полу мы нашли стенную газету на русском языке. Но она была настолько сильно порвана, что мы сумели разобрать только маленькую статью старшины Семенова, который делился опытом с бойцами: как обращаться с оружием и как его чистить. Здесь же валялись газеты на русском и эстонском языках. Мы поняли, судя по газетам, что находимся в Эстонии. Здесь в мирное время был военный лагерь русских и эстонцев.

Сейчас вокруг — ни признака жизни. Тишину нарушали только отдельные пушечные выстрелы. Штурман Штепенко положил на пол ручной компас, немного отошел в сторону, чтобы избежать действия на магнитную стрелку пистолета, гранаты и гвоздей на подошвах сапог. Когда магнитная стрелка установилась, он указал рукой направление, куда мы должны идти.

Не успели мы пройти и полкилометра, как нам преградило путь небольшое озеро. Его можно было обойти с двух сторон. Слева — возвышенное место с редким сосновым лесом; справа — покосный, заросший травой и мелким кустарником берег. Мы решили идти вправо, чтобы было легче укрыться от вражеских дозоров. Обходить озеро пришлось

очень далеко. Место было болотистое, комары давали себя знать. Не легко нам пришлось! Нужно быть искусными спортсменами, чтобы удачно перепрыгивать с кочки на кочку. А мы еще несли продукты и оружие держали наготове... Поэтому нередко мы проваливались по колено в мягкую тину. Но зато были спокойны, что сюда немцы не доберутся.

Погода была теплая, но пасмурная. Дождем то и дело поливал нас, как из душа. Твердо придерживаясь компасного курса, мы шли по болотам около четырех часов. Попали в березовый лес, перемешанный с ольхой и желким дубняком. Путь нам пересекла просека, по которой проходила телеграфная связь. На столбах, как струны, были натянуты восемь проводов. К невысокому столбику была прибита тонкая дощечка с надписью на эстонском языке. Среди нас находился второй летчик, товарищ Пусеп, который родился в Сибири под Красноярском, но родители его тридцать лет назад переехали из Эстонии в Сибирь. В их семье было принято говорить на эстонском языке. Поэтому товарищ Пусеп легко прочел надпись на дощечке: «По просекам ходить строго воспрещается». Если бы мы знали наверняка, что эти провода служат немцам, то мы бы обязательно их перерезали. Но орудийные выстрелы стали слышны сзади и справа. Мы решили, что линия фронта осталась позади, и не тронули провода.

Пошли дальше, пересекая просеку на восток... Таким образом мы шли еще два часа, изредка останавливаясь, прислушиваясь к каждому шороху. Погода постепенно прояснялась, началось протрагивать солнце...

Одежда на нас высохла, но остались следы грязи. Чувствовал я себя отвратительно. Красивые хромовые сапоги, которые купил за несколько дней до моего полета, невыносимо жали ноги. Я вынужден был обратиться к сосовому стрелку, тов. Федорищенку, с просьбой дать мне свои собачьи меховые чулки. Он охотно согласился на это. Взамен я отдал ему хромовые сапоги. Мы быстро переоделись, и я бодро зашагал в чулках, не отставая от товарищей.

Впереди показался просвет, в котором мы заметили крыши двух небольших домиков.

— Это, — сказал я, — небольшой хутор. Нам нужно как можно осторожнее подойти к нему. Если там живут мирные эстонские жители, мы от них узнаем, где находимся, а если там окажутся немцы, примем бой. Мы неплохо вооружены.

Когда мы подошли к домикам, то были глубоко разочарованы... Оказалось, — это два деревянных пустых сарая. За сараем мы уви-

дели русскую печку с большой трубой, вокруг которой догорали угли.

— На этом месте, — заметил Пусеп, — еще сегодня стоял дом. Интересно, кто его сжег?

Кроме кур, гулявших в огороде, мы не обнаружили ни одной живой души. Хутор занимал площадь, примерно, с десятину, четыре пятых которой было засеяно рожью. Эту рожь кто-то сильно помял. На огороде были посажены: капуста, лук, морковь, огурцы. Мы не задерживались долго на этом хуторе — нарвали огурцов и ушли в лес, где скоро выбрались на маленькую тропинку; и так как она совпала с указанием нашего компаса, то мы и решили пойти по ней. Шли молча...

Тропинку, по которой мы шли, пересекала мало изъезженная проселочная дорога. На перекрестке мы заметили дощечку с надписью, указывающей, что лесничий находится в трех километрах от данного места. Ясно, что мы не пошли разыскивать лесничего, а по той же дороге следовали дальше. Скоро с правой стороны мы увидели луг, на котором паслась одна корова. Нас обрадовал мальчуган, стоящий около коровы, с хворостинной в руках.

— Товарищ Пусеп, — сказал я, — иди поговори со своим родичем. Только смотри, будь осторожен! В случае чего — стреляй. Мы будем лежать здесь в укрытии и в любую минуту окажем помощь.

С Пусепом пошел и Штепенко, который ничего и никого не боялся и в то же время всегда был очень осторожен. Минут через десять послышался выстрел. Мы цепью бросились на помощь товарищам...

Но навстречу нам шли Пусеп и Штепенко и улыбались, глядя, как мы цепью идем в атаку.

— Кто стрелял? — спросил я.

— Не знаем, — ответил Штепенко, — мы тоже слышали этот выстрел. Он был где-то далеко.

— Это, вероятно, стрелял охотник, — высказал предположение Пусеп.

— А что говорит мальчик?

— Он уверяет, что в четырех-пяти километрах отсюда проходит железная дорога, которую занимают красные, — ответил Пусеп.

— А не обманывает он?

— Трудно сказать, товарищ командир... Может быть, и врет... проверить не у кого.

Пошли дальше. Километра через два тропинка, по которой мы шли, привела нас на хутор, состоявший из трех деревянных домов и нескольких сараев. Из крайнего домика с ведром помоев для скотины вышла старуха, которую Пусеп спросил по-эстонски: далеко ли до железной дороги. Старушка оказалась

ловохотливой — поставила ведро с помоями на землю, оправила фартук и сказала, указывая рукой по направлению тропы:

— Версты две-три, не больше...

— Там кто — немцы или красные? — спросил Пусец.

Старушка внимательно осмотрела нас, как бы спрашивая: «А кого, собственно говоря, вам надо?» После некоторой паузы она ответила:

— Немцев там нет, железную дорогу занимают красные войска.

Слова мальчика подтверждались. Поблагодарив старушку, мы отправились дальше; успокоились, узнав, что, еще немного терпения, и мы доберемся до своих. Ночь провели в полете... Десять часов шли болотами и лесами в напряженном состоянии... Немудрено, что забыли и про еду. Зато теперь мы сели вокруг чемодана, открыли его, потерли руками каждый свой огурец, сорванный на хуторе, и принялись за еду. Немного отдохнув, двинулись снова вперед. Примерно через час мы заметили в тупике товарный вагон. Но железнодорожному полотну шел человек в форме НКВД... Мы быстро вышли из леса. Увидев нас, работник НКВД торопливо схватился за кобуру, приняв нас за бандитов. Вид наш был действительно сильно подозрительный: одеты мы были не по форме, добавок к этому — грязные. Я был в кожаном костюме... На голове шлем, от которого болтался шнур, а на ногах рваные меховые чулки...

— Осторожнее! — крикнул я. — Не видите — свои?!

Товарищ сделал несколько шагов к нам навстречу. Взгляд его остановился на мне, и вдруг лицо его расплылось в приветливую улыбку.

— Товарищ Водопьянов! — воскликнул он, — откуда вы?

— Вы меня знаете? — спросил я.

— Да как же. Моя фамилия Афанасьев. Разве забыли? С вами в тридцатом году летали на Сахалин. А постарели вы, товарищ Водопьянов. Седой уже...

— Хорошо, что я встретил знакомого. Скажите, где тут поблизости есть какая-нибудь военная часть?

— Недалеко от нас, — ответил он. — Пойдемте, товарищи, в барак, там вы отдохнете, а я тем временем постараюсь связаться по телефону со штабом.

ЕФРЕЙТОР ПАУЛЬ

В бараке мы встретили стрелков, охраняющих железнодорожное полотно. Начальник караула, младший лейтенант Ефимов, расска-

зал нам очень интересную историю о военнопленном ефрейторе Пауле.

— Наша стрелковая часть, — начал он свой рассказ, — во главе с капитаном Мироновым разбила штаб немецкого полка. Когда Миронов ворвался в кабинет полковника, он увидел там ефрейтора с револьвером в руках... На полу лежал убитый русский летчик... На мягком кресле полулежал немецкий полковник с простреленным животом.

— Руки вверх, негодяй!

Ефрейтор бросил револьвер на стол и поднял руки.

Как Миронов удержался и не застрелил ефрейтора тут же на месте, я и до сих пор не могу понять. Но хорошо, что он этого не сделал. Тут же выяснилось, что нашего летчика убил немецкий полковник, а полковника... его ефрейтор.

Когда убитых вывели из кабинета, Миронов приступил к допросу пленного и, прежде всего, предложил ему сесть.

Немецкий ефрейтор поклонился Миронову и молча, не торопясь, опустился в кресло.

У пленного немецкого ефрейтора были лиловые голубые глаза. Они обведены густыми тенями. Вид смертельно усталого человека.

— Почему вы сдались в плен? — спросил капитан Миронов.

Ответа не последовало. Так и не разжались плотно сомкнутые губы.

— Вы антифашист?

— Нет, с пятнадцати лет состою в национал-социалистической партии, — ответил, наконец, пленный.

— Фашист? — изумился Миронов. — Как же вы...

Голова немца опустилась, лицо погасло.

— Не понимаете? — хрипло спросил пленный. — Не понимаете?.. Сестра... — И он плотно закрыл глаза. Теперь ефрейтор казался мертвым. Миронов молча ждал.

— Господство над миром принадлежит нам... немцам... — заговорил пленный тихо и прерывисто. — Так говорил фюрер... Я привык ему верить... Работал я на заводе... Мне было не плохо... к нам прислали рабочих из оккупированных стран... они выполняли все, что им прикажут...

— Значит, сбылась мечта вашего фюрера? Рабы появились? — перебил Миронов.

Пленный не ответил. Казалось, что он разматывает нити воспоминаний совсем не для того, чтобы о чем-то рассказать капитану, а исключительно для себя.

— В Берлине у меня была мать... сестренка... — снова заговорил немец. — Я любил их...

Веки прикрытых глаз дрогнули. И снова тихий голос:

— Около месяца назад, вечером, к нам на квартиру пришел господин огромного роста... белокурый... Он вручил мне пакет от Берлинского государственного отдела по простоте в семьях... Тут же был приложен список моего «участка». В списке оказались и подруги сестренки...

Долгая пауза...

— Это же не было для вас неожиданно. Ведь вы гордитесь, что принимаете активное участие в укреплении арийской расы?— спросил капитан.

Глухо прозвучал ответ:

— Пришедший предъявил и свой список... Там значилась Магда.

— Сестра?

— Сестра... Ей шестнадцать лет... На другой день в шесть утра я пришел к воинскому начальнику... меня и Магду послали на русский фронт.

Сумерки прокрались в комнату и спрятали лицо пленного.

— Разрешите воды?— попросил ефрейтор. Он жадно выпил два стакана. Когда он снова заговорил, голос его звучал совсем глухо.

— Я служил при штабе полка... Там же находилась и Магда... Штаб наш занял этот дом... Главной моей задачей было доставлять офицерам женщин... Мне приходилось убирать убитых девушек...

— Тяжело?— спросил Миронов.

— Невыносимо.

— Совесть?

— Не знаю... Я возненавидел всех, кому подчинялся. Обман... насилие... некому верить...

Немец замолчал.

— Так,— сказал Миронов,— теперь мне многое ясно. Но почему же вы застрелили своего полковника?

— Из-за пленного русского летчика.

— Советские летчики в плен не сдаются,— резко оборвал его Миронов.

— Ваш летчик был ранен... Но он был спокоен. Он улыбался. Я присутствовал при его допросе. Кроме меня и полковника, в комнате находились два русских эмигранта — коручик и штабс-капитан. Полковник спросил вашего летчика:

— Давно ли вы, господин лейтенант, попали к нам в плен?

— Только что... Не успел отцепить парашют,— спокойно ответил он.

Полковник прибегнул к своему обычному методу:

— Вы жить хотите?

— Конечно, хочу!— просто ответил летчик.

— Хорошо... Я дарю вам жизнь...— сказал полковник.

— А за это я должен сообщить вам о наших наземных войсках и авиации?..

— Вы правы,— ответил полковник.— И чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше для вас.

— Хорошо... я согласен, но не даром...

Полковник даже обиделся немного.

— Странное дело,— сказал он.— Мы аккуратно и щедро платим своим агентам.

— Ловлю на слове,— воскликнул летчик и, указывая на офицера, заявил громко и торжественно:— Пристрелите немедленно этих двух гадов, предателей родной земли, и я буду с вами разговаривать.

— Замолчать, русская сволочь!— заорал полковник.— Издеваться вздумал?.. Мы тебя заставим говорить!..

— Жаль, что не удалось утробить этих двух господ,— невозмутимо заметил летчик.— Но их черед все равно наступит. А говорить вы меня все равно не заставите. Неужели вы думаете, что я боюсь вас — фашистских собак?

— Молчать!— снова истерически крикнул полковник.

— Есть молчать!— усмехнулся лейтенант и ясным размеренным голосом пояснил:— Не к чему честному русскому человеку разговаривать с немецкой мразью.

Тут полковник не выдержал, выхватил револьвер и трижды выстрелил в этого мужественного человека.

— А моя пуля попала в живот полковника: дрожали руки, не мог точно прицелиться.

НАРУШИТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК!

В конце сентября я снова вылетел на фронт. В это время немцы энергично наступали на Москву, Ленинград и Тулу. Кровавый Гитлер объявил своему народу, что седьмого ноября он будет принимать военный парад немецкой армии в Москве, на Красной площади. Но Гитлер жестоко просчитался.

Красная Армия под руководством товарища Сталина дала мощный отпор немецким оккупантам. Мы, летчики на малых и больших воздушных кораблях, получили задание нарушить продвижение немецких войск, где бы они ни показались. Я на своем самолете с грузом бомб вылетел с заданием разбомбить узловую станцию И., где, по донесению разведчиков, было большое скопление вражеских эшелонов с войсками и боеприпасами.

Вылетели мы ночью. Сначала погода была удовлетворительная. Нам хорошо была видна линия фронта с огненными языками на запа-

де и на востоке. На наших глазах вспыхивали от разрывов оружейных снарядов дома.

Мы летели на высоте около четырех тысяч метров. На линии фронта в нас никто не стрелял, как видно, немцам было не до нас. В эту ночь наши наземные войска наступали и близи их, как говорится, в хвост и в гриву. Когда я увидел — а ночью особенно хорошо видно — пожары в селах и городах, у меня кулаки сжались от злобы. Сердце обливало кровью при виде такой картины. Я знал, что здесь сейчас умирают от пуль кровожадных зверей ни в чем неповинные мирные люди: женщины, дети, старики. Русскому народу не один раз приходилось гнать со своей земли врагов, но никогда еще не было таких зверей, как немецкие варвары.

При Александре Невском в XII веке и начале XIII века немецкие псы-рыцари наступали на славян. Они слзитали на кострах детей и убивали мирное население, одновременно заселяя русскую землю своими крестьянами. Истребляя местное население Латвии, Эстонии, они стали продвигаться на восток... Но русская армия под командованием Александра Невского остановила продвижение немцев. Александр Невский устроил им Ледовое побоище на Чудском озере, уничтожив остатки немецких войск. Спасался кто как мог.

Бошмарную войну, которую мы сейчас переживаем, никогда не забудут не только современники, но и будущее поколение.

Мое сердце было наполнено ненавистью к этим кровожадным гадам. Я еще крепче сжал штурвал, повел самолет вперед... И никакая сила не сумела бы меня остановить, пока не выполню боевого задания.

Не долетая цели, мы попали в снежную облачность. Земля от нас скрылась... Неба тоже не было видно... Приходилось вести самолет по приборам. Штурман то и дело поправлял курс. Мне стало обидно — скоро должна показаться цель, а мы в облаках. Бросать бомбы по расчету времени нельзя. Я постепенно стал снижаться, рассчитывая на высоте двух-трех тысяч увидеть землю. Вдруг по телефону штурман Штепенко сообщает мне, что под нами цель. Я передал управление второму летчику Масалеву и приказал ему связаться до тысячи метров. Но и на этой высоте мы ничего не увидели, кроме своих приборов, которые к тому же были очень слабо освещены.

Я пытался проверить, нет ли обледенения, но ничего не смог увидеть. Решил связаться еще. На высоте девятьсот метров штурман сбросил осветительную ракету с парашютом. Ракета спускалась очень медленно, но хорошо

освещала землю. Летчик Масалев большой мастер вождения самолета вслепую. Он, почти спирально, начал резко терять высоту. Высота дошла до семисот метров. Мы, наконец, выскочили из облаков. Нашим глазам открылась жуткая картина. Сброшенная нами ракета отстала от нас, и когда она вышла из облаков, то одновременно осветила и цель, и город, и наш самолет. Сразу же заговорили зенитки, забегали лучи прожекторов. Один прожектор поймал нас, ослепил глаза. От яркого света летчик не видел приборов. Вести самолет стало очень трудно. Тогда он потянул штурвал на себя, и мы скрылись в облаках. Яркие лучи прожектора сразу превратились в слабый рассеянный свет.

— Левый круг! — раздалась команда штурмана. — Прямо, так держать!

Мы, летчики, точно выполнили приказание штурмана. Прошли над самой целью, но, к сожалению, бомбы не успели сбросить. Пришлось заходить на цель еще раз. Зенитки талили наперебой. Особенно энергично стреляли они тогда, когда нас ловил прожектор.

На этот раз мы вышли левее цели. Пришлось опять делать круг, я стал помогать штурману точнее выйти на курс. Отошли подальше от города, чтобы лучше ориентироваться и уже точно выйти на цель. Делая большой круг, мы увидели железную дорогу, которая шла на узловую станцию, то есть на нашу цель.

Я дал команду Масалеву держать курс прямо. Железная дорога уходила от нас то влево, то вправо. Вдруг она резко повернула вправо так, что мы не успели развернуться и потеряли ее. Видим — под нами аэродром с цементными дорожками, пересекающими друг друга. Вокруг аэродрома зажглись десятки прожекторов и застреляли зенитки. Опасность была большая... Каждую минуту могли сбить наш самолет...

Мы круто взяли вправо.

— Так держать! — ровным голосом скомадовал штурман.

Внизу самолета как будто что-то оборвалось... Самолет встряхнуло. Я сразу догадался, что штурман открыл люк, чтобы сбросить бомбы.

— Два градуса вправо! Так держать! — раздавались команды штурмана.

Он внимательно смотрел в ночной прицел и совершенно не замечал, что внизу стало светло от непрерывной стрельбы зениток и пулеметов.

Впереди загорелся прожектор, который искал нас. В это время я услышал голос штурмана:

— За Сталина... за родину, за наши города, села, детей и женщин!

Одна за другой посыпались бомбы. Взрыв бомб ярко освещал нашу кабину, волной подбрасывая самолет.

Пржектор не успел поймать нас своими лучами, взрывы наших бомб погасили его. Мы ушли в облака, а через несколько минут вынырнули оттуда.

— Домой! — раздалась команда штурмана.

Радиот Богданков передал в полк, что задание выполнили, идем обратно. Над целью мы пробыли сорок пять минут. Страху немцы за это время потерпелись немало. Скрывать нечего, мы его испытали тоже. Но на войне с этим считаться не приходится.

На обратном пути мы пересекли линию фронта засветло. На горизонте, сквозь разрывы облаков, показалось желтое солнце, но лучи его не доходили до нас. Они терялись в редкой дымке.

Я горячо поблагодарил товарищей за блестяще выполненное задание.

ПОДВИГ МИХАИЛА СЕРЕГИНА

Днем я посетил медпункт, где лежал мой друг Михаил Серегин. Он рассказал мне о своем последнем полете. Я внимательно вслушивался в каждое его слово. Подвиг этого молодого летчика глубоко меня взволновал.

Ранним утром Серегин получил задание: разбомбить колонну немецких танков, двигавшихся на восток. Погода была пелелная, над землей нависли низкие облака, моросил холодный, осенний дождь.

Но приказ есть приказ. Через десять минут экипаж Серегина был уже в воздухе.

Самолет шел на высоте тридцати — пятидесяти метров, и только перед самой линией фронта командир решил подняться над облаками.

На высоте двух тысяч пятисот метров показалось солнце. Через несколько минут самолет должен был выйти на цель. Штурман внимательно следил за курсом. Командир убрал газ и стал снижаться. На высоте ста пятидесяти метров летчики увидели землю и крыши села К. Штурман легко восстановил ориентир и тут же изменил курс.

Через две минуты самолет вышел на дорогу, по которой двигалась большая танковая колонна.

Внезапный налет краснозвездного самолета с запада внес во вражескую колонну панику. Танки парашутились в лес. Штурман спокойно опускал одну за другой бомбы. Самолет заходил на цель шесть раз. Бомбы ложились удачно. При каждом заходе штурман сбрасывал все новый «груз». Танки металась, как в мышеловке, беспорядочно бро-

саясь из стороны в сторону. Летчики зажгли две бензиновые цистерны.

Единственная неприятность, которую пришлось испытать экипажу, заключалась в том, что от сильной взрывной волны самолет подбрасывало вверх.

Все было хорошо, если бы при последнем заходе неожиданно на них не налетели три немецких истребителя. Одно стрелок тут же сбил, но двое других вывели из строя мотор.

Серегин держал курс на восток, стараясь на одном моторе дотянуть до своей территории. Он пытался уйти в облака, но машина не шабрала высоты. Тогда командир перешел на бреющий полет.

Фашисты боялись близко подходить. Они стреляли издали — из пушек. Пулемет стрелка-радиста не мог их поразить. Тогда стрелок решил схитрить. Вскинув дуло пулемета вверх, сам спрятался в кабине...

Стервятники решили, что пулеметчик убит, смело бросились на раненую птицу... Но как только самолеты приблизились, стрелок воскрес. Он изрешетил вражеский истребитель, который тут же упал в лес. Третий самолет круто развернулся, ушел обратно.

Только тогда Серегин заметил, что и второй мотор подбит... Это грозило катастрофой...

С большим трудом удалось перелететь линию фронта. Но под машинной не было ровного поля, на котором можно было бы совершить посадку. Командир стал искать лес погуще, чтобы мягче был удар. Расчет его оправдался, посадка на деревья удалась. Самолет был разбит, но люди остались живы.

Немного отдохнув, товарищи стали выбираться из леса. Они шли тихо, каждый думал своей думой. Вдруг стрелок-радист насторожился.

— Тише, — сказал он, — я слышу сигналы Морзе.

Все затаяли дыхание...

— А я ничего не слышу, — сказал штурман.

— Я тоже, — подтвердил командир и добавил, указывая на стрелка: — У него сокольные глаза, а уши — как звукоуловитель.

— Тише! — повторил стрелок. — Где-то здесь работает станция. Товарищ командир, разрешите сходить в разведку?

— Хорошо! Идите... — ответил командир, — мы вас здесь подождем.

Стрелок начал осторожно пробираться туда, откуда доносились сигналы. Они исходили откуда-то сверху. Стрелок тщательно стал осматривать верхушки деревьев, но ничего не заметил. Неожиданно сигналы послышались сзади, потом сбоку. Стрелок тихо переходил с

одной стороны тропы на другую, но обнаружить что-либо так и не смог.

Тогда стрелок решил дать успокоиться своим нервам и начал осматриваться вокруг. Он увидел огромную осину... От ее толстого ствола шли частые, покрытые серо-зелеными листьями сучья. Стрелка заинтересовало это гигантское дерево. Внимательно рассматривая его, он заметил на стволе свежий, скользящий след. Нетрудно догадаться, что на это дерево не так давно кто-то лазил. Стрелок посмотрел вверх, но сучья и густые листья надежно скрывали верхушку.

Сейчас сигналы ясно доносились сверху. Передавались сплошные цифры. Стрелок еще раз внимательно посмотрел на верхушку дерева и заметил между сучьев небольшую рамку... Все стало ясно. Стрелок облегченно вздохнул. На этом дереве сидит человек и передает шифровку. Запомнив место, где стояло дерево, стрелок быстро вернулся к товарищам.

Окончив свою работу, неизвестный стал спускаться вниз. Около дерева с револьвером в руках его уже поджидал весь экипаж Серегина. И не успел неизвестный спрыгнуть на землю, как его с трех сторон окружили люди.

— Кто вы такой, — спросил Серегин, — и что вы делали на этом дереве?

У неизвестного от неожиданности отнялся язык. Он что-то промылчал, обводя всех испуганными глазами.

В маленьком чемоданчике оказалась масса бумаг; сверху лежала только что переданная радиограмма.

— Расшифруйте нам эту радиограмму, — сказал командир.

— Это сводка о погоде, — решительно ответил неизвестный. — Я передавал ее в Германию.

— Не верьте ему, товарищ командир, — возбужденно сказал стрелок-радист, — это не погода, а что-то другое.

В это время штурман рылся в бумагах.

— Я нашел код, — сказал он, — но, увы, этот код на немецком языке.

На лице шпиона мелькнула довольная улыбка.

— Расшифруйте нам эту радиограмму, — повторил командир.

Шпион молчал.

Тогда Серегин сказал:

— Товарищ Ларин! Дайте код... Я немецкий язык немного знаю. Попробую сам перевести...

Расшифрованная радиограмма говорила о страшном.

«Начальнику гестапо № 3. На аэродроме Н. большое скопление авиации. В пятнадцать часов будут взорваны бензосклад и бомбы. В пятнадцать часов двадцать минут жду самолеты.

Агент 325».

Серегин посмотрел на часы, до взрыва оставалось два часа.

— Товарищ Ларин, — возмущенно сказал Серегин, — нужно во что бы то ни стало предупредить командира части. Дорога проходила в южном направлении... Снимите унты, комбинезон и как можно быстрее бегите. Садитесь в первую попавшуюся машину и мчитесь до ближайшего аэродрома. Впрочем, нет, я сделал это сам, а вы доставьте диверсанта в ближайшую часть. Он нам еще пригодится.

— Поздно, — ехидно сказал диверсант. — Имейте в виду, что до аэродрома двести пятьдесят километров.

Командир его не слушал. Быстро раздевшись, в одних меховых чулках, с ручным компасом он побегал в южном направлении. Через несколько минут он увидел направляющийся к фронту легковой автомобиль.

Серегин выбежал на дорогу и поднял руки...

Машина остановилась.

Летчик коротко объяснил шоферу в чем дело, и тот немедленно поехал на ближайший аэродром.

Здесь уже выстроились истребители, готовые лететь на фронт.

Серегин все рассказал командиру авиачасти. Немедленно было отдано приказание: «Выделить в распоряжение Серегина истребитель».

Серегин одел парашют и через минуту уже был в воздухе. Он летел со скоростью шестисот километров, но ему все казалось, что машина стоит на месте. Он так боялся опоздать до взрыва оставалось сорок пять минут.

Через сорок минут показался аэродром Н. Садиться нужно было с противоположной стороны. Времени не хватало...

Что делать? Серегин принял единственно правильное решение — спрыгнуть с парашютом.

Над штабом отважный командир отстегнул ремень и свечой взмыл ввысь. Истребитель стал терять скорость. Летчик знал, что делать. Он потянул ручку на себя, выключил мотор, и самолет повис вверх колесами... Серегин легко вывалился из кабины самолета.

Это было на высоте четырехсот метров. Летчика преследовала одна мысль — как бы не опоздать.

Он затаил свой прыжок и только перед самой землей рванул кольцо.

Тут же удар о землю...

Сергей рассчитал точно. Он сильно ударился о землю и сломал ногу, но сознание не потерял.

К нему бежали люди...

Когда провода, идущие от адской машины, были перерезаны, до взрыва оставалось всего две минуты.

... Не прошло и получаса, как в воздух поднялись наши истребители. Они встретили самолеты врага на подступах к аэродрому. Завязался жестокий воздушный бой, в результате которого были уничтожены все фашистские машины.

НАД ВРАЖЕСКИМ АЭРОДРОМОМ

В этот же день мы получили новое боевое задание — разбомбить ночью смоленский аэродром, на котором, по донесению нашей разведки, было много немецких самолетов.

На землю спускались сумерки, когда мы пошли в воздух и продолжали путь в указанной зоне. Около линии фронта ясно увидели обильный пламенем город Т.

Погода на этот раз была значительно лучше, облачность совсем редкая. Все время до самой цели мы видели землю.

Минут на двадцать впереди нас летел летчик Асямов, в машину которого сильно били зенитки. Так как погода была ясная, мы на далеком расстоянии отчетливо видели разрывы зенитных снарядов. Впереди стоял как бы огненный столб высотой в четыре-пять тысяч метров. Наш самолет летел на высоте шесть с половиной тысяч метров, поэтому я смело направил его через заградительные огни на аэродром. Лучи двух десятков прожекторов пересекались между собой в энергичных поисках нашего самолета. Но мы были на большой высоте, и прожекторы, лизнув нас своими уже рассеянными лучами, тут же потеряли.

В первый заход мы сбросили рабы, в которых было уложено около пятисот зажигательных бомб.

Через несколько минут возникли пожары. Зенитки в это время начали палить в нас с еще большей силой. Стреляли из крупных и скорострельных мелких и трассирующим огнем из пулеметов. Но выстрелы снарядов не долетали до нас, поэтому мы спокойно продолжали летать над аэродромом, делая заход за заходом.

— Саша! — сказал я штурману, — плюнь им в глаза парочкой бомб.

Штепенко стал сбрасывать бомбы не сериями, а парочками, тщательно выбирая цель.

— Пусть больше стреляют, — сказал штурман, — нам же лучше, освещают цель... Левый круг! Так держать! Получайте, гады!

Над целью мы пробыли всего тридцать одну минуту. За это время фашисты выпустили в нас снарядов гораздо больше, чем мы в них.

Возвращаясь домой, я решил выпросить у высшего командования разрешение на дневной боевой вылет.

«Днем я заберусь еще выше, — подумал я. — Зениткам меня не достать, истребителей же я не боюсь, моя машина так сильно вооружена, что мои стрелки не подпустят их близко к самолету. Днем, в ясную погоду, цель — как на ладони, так что боевое задание можно выполнять с большой точностью».

Домой мы вернулись благополучно. Получили двухсуточный отдых. Я, пользуясь этим временем, взял самолет и вылетел в Москву за разрешением летать днем. Мне долго пришлось убеждать, что немецкие зенитки меня не достанут, а эффект может получиться большой.

В конце концов мне сказали:

— Хорошо, вылетай днем, разрешаю, но при условии летти на большой высоте, не менее восьми-девяти тысяч метров.

Прилетев на другой день в часть, мы стали готовиться к дневному вылету. Командиры других кораблей, узнав о том, что я полечу днем, пошли к полковнику Лебедеву просить разрешения лететь следом за мной.

В четырнадцать часов был назначен старт. За мной пошли в воздух, с интервалом в тридцать минут, еще два самолета. Наша задача была — разбомбить бензиновый склад и железнодорожную станцию.

В начале пути погода была неважная, низкая облачность, так что нам не пришлось лететь выше двухсот — трехсот метров. Затем погода несколько улучшилась, и мы набрали высоту.

Пересекаем железную дорогу. Здесь я несколько десятков раз пролетал с пассажирами из Москвы в Харьков и обратно в то время, когда я еще работал на гражданской линии. Тогда я не боялся, что на меня могут каждую минуту напасть немецкие стервятники. А теперь на моем самолете пять стрелков зорко следят, не появится ли откуда-нибудь фашистский стервятник.

Мы были на высоте около семи тысяч метров, когда показалась цель. Сейчас мы будем сбрасывать бомбы... А давно ли я специально прилетал сюда, чтобы заложить первый камень в памятник известному изобретателю?... Изверги, они заплатят нам за все, за все...

— Тяжело, Саша! — крикнул я штурману. — Землю хорошо видно... Прицелься, как следует, чтобы бомбы легли точно в склад и на станцию.

— Будьте спокойны, товарищ командир, —

«ответил Штепенко.— Если понадобится, я и в шанку положу бомбы.

Город под нами. С высоты дома кажутся какими-то маленькими черными пятнами. Шоссейные дороги лежали на земле, как распущенная суровая нитка. С такой высоты трудно было заметить движение. Вдруг я увидел в чистом, прозрачном воздухе клубы черного дыма. Тут я сразу догадался, что в нас падают зенитки. Штурман был занят приборами и целью. Он не замечал клубов дыма и спокойно продолжал бомбоманевр.

— Вправо, прямо, так держать!

Самолет встряхнуло. В открытые люки полетели бомбы прямо на бензиновые склады.

В это время ко мне подходит механик и докладывает:

— Один мотор выведен из строя зенитным огнем,— пробита водяная магистраль... Нужно немедленно выключить мотор, иначе через минуту он загорится.

Я выключил мотор, иду на остальных. Штурману ничего не говорю. «Пусть,— думаю,— спокойно целятся». Полетели дальше, чтобы сбросить остальные бомбы...

— Круг влево!— раздается команда Штепенко.— Надо проверить результаты бомбежки.

— С ума ты, что ли, сошел?— кричу я штурману.— Хочешь опять попасть в мекло? Лучше уж сбоку посмотрим, падали.

Через минуту мы выбрались из зоны обстрела. Я приказал радисту Богданову запросить базу о погоде. Вместо того, чтобы ответить мне по телефону, Богданов подошел ко мне и пальцами изобразил крест.

— Радио не работает!— крикнул он мне на ухо и подал большой осколок зенитного снаряда, который застрял внутри передатчика.

Пошли домой. Один мотор не работал. Механик Иван Иванович Щербаков часто подходил, смотрел на меня, на мои моторы и молча уходил на свое место. Я невольно почувствовал, что механик что-то хотел сказать мне, но не решался. Встретившись с ним взглядом, я кивком головы попросил его подойти.

— У нас еще что-нибудь случилось?— спросил я его.

Горшков поднял правую сторону своего шлема и, как бы по секрету, сообщил:

— Осторожней с управлением, товарищ командир,— гады перебились... чуть держатся.

— Хорошо, что сказал,— ответил я ему,— могло быть хуже.

Самолет наш, как подбитая птица, по-прежнему благополучно сел на свой аэродром. К нам по обыкновению поспешили товарищи. «Объяснять, как мы слетали, не пришлось.

Они и сами увидели, что наш самолет смазывает на решетку. В крыльях и фюзеляже была масса пробоя. Как нас не задело— просто удивляюсь.

— Ну?— спросил нас начальник штаба.

— Ничего,— ответил я,— задание выполнили хорошо.

— Нет,— перебил оп,— я же это хочу спросить. Днем-то еще полетите?

— Полечу,— ответил я твердо.— Только заберусь повыше.

Я с волнением смотрел на горизонт. Меня беспокоило отсутствие двух других самолетов.

Ведь это я их втянул летать днем. «Вдруг их сблизил?»— сверлило у меня в голове. Но очень скоро показались один за другим и они.

У них так же, как и у меня, были пробояны. А вообще полет обошелся хорошо, немцам мы всыпали здорово.

НАД ДАНЦИГОМ

Скоро мы получили задание— бомбить Данциг. Механики тщательно осмотрели моторы и сняли часть бомб. За двадцать минут до захода солнца мы вылетели в глубокий рейд. Крутом все горело... Без конца рвались снаряды... Погода была удачная, и построение прекрасное. Шли мы спокойно, никто в нас не стрелял. Я по очереди спрашивал о самочувствии людей экипажа. Все отвечали, что чувствуют себя хорошо, но мне было что-то не по себе...

Невольно мой взгляд остановился на кислородном баллоне моего прибора— стрелка подходила к нулю. Что случилось, и сам не пойму.

«Мне нехватит кислорода»,— подумал я, но снижаться до трех тысяч метров, где можно лететь без кислородной маски, уже было поздно... скоро будет цель. Пришло, наоборот, набирать высоту. А чем выше— тем больше расход кислорода. Я передал управление второму пилоту Масалеву, сам же начал регулировать давление кислородного прибора, стараясь как можно больше сэкономить кислорода.

Цель была закрыта тонким слоем облаков, бомбы пришлось сбрасывать по расчету времени.

Штепенко открыл люки, и через несколько минут, одна серия за другой, посыпались наши «гостишцы». Мы хорошо видели взрывы. Затем вспыхнул пожар, который белыми пятнами отражался на поверхности. Кислород кончился, мне стало тяжело дышать. Я позвал второго механика и попросил дать мне переносный баллон с кислородом. К счастью, запасный баллон не был израсходован, и я быстро присоединил его к своей маске. После

нескольких жадных вдохов я почувствовал себя бодрым.

Через несколько минут с правой стороны мы увидели заградительный огонь. Мы не обратили на него никакого внимания: он был далеко, стреляли из Кенигсберга.

Наблюдая этот огонь, я невольно подумал: «А вдруг наши моторы остановятся, как тогда, над Эстонией?..»

В этом случае может быть одно только решение — прыгнуть с парашютом, защищаться

до последнего патрона, а последний патрон себе. Но не хочется умирать, когда Советская земля еще не освобождена от варваров. Надо прежде отомстить гнусным гадам за кровь и слезы советских людей.

Запасный баллон подходит к концу, когда мы еще летели над территорией, оккупированной немцами. Я все же пошел на снижение и на высоте двух тысяч метров спокойно, без каких-либо происшествий довел машину до своей базы.

Чкалов¹

Драматическая поэма

1

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ ВЕДУЩИЕ

Товарищи! Когда мы тут играем,
Летает «Юнкерс» над Советским краем,
В огне взрывается фугас.
Огонь, зажженный варварскою злобой,
Огонь, раздутый тварью низколобой,
Не втоптан в землю, не погас.

Прожектора скрещаются и в тучах
Нащупывают дьяволов летучих,
Стремглав пикирующих вниз.
И вся земля обуглена сегодня
Огнем средневековой преисподней.
Огонь, куда ни оглянись!

Огонь, огонь... Не для того стихи,
Обузданные, смрыные, глухие,
Ворча, у наших ног легли.
Не для того звенел металл, и в недрах
Чернела нефть, и столько было щедрых
Зеленых весел у земли.

Не для того шел в ссылку юный Сталин,
И лампы школ, и вузов, и читален
Пылали ярче и ясней.
Не для того трудились и боролись
С природой люди, и летел на полюс
Великий летчик наших дней.

Валерий Чкалов! Вот из вьюги снежной
Он встал — простой, широкоплечий, нежный,
Равно всем людям дорогой.
Он людям нес не гибель, не увечья.
Боролся он за счастье человечье
С полярной лютою пургой.

Он стал легендой. Кликните или троньте,
И он воскреснет в Арктике, на фронте,
Незабываемый во всем.

¹ Репертуар фронтового театра имени
В. П. Чкалова.

Сегодня нашей песней и игрою
Хотим мы вам напомнить о герое,
Чье имя светлое несем.

2

Квартира Чкалова в Москве. Весна 1937 года.
Начало ночи. Друзья летчики в ожидании
хозяина дремлют—кто у стола, кто на диване,
иные курят.

Вбегает Чкалов

ГОЛОСА

Ну, наконец-то. Вот и он!

ЧКАЛОВ

Внимание!

Вот это день, вот это торжество!
Еще я сам не свой, еще в тумане,
Не оценил восторга своего.
Где Байдуков?

БАЙДУКОВ

Я здесь!

ЧКАЛОВ

Проснись же, дьявол!
Встань. Вот оружие. Застелни ремни.
Во сне ты, видно, в Мертвом море плавал.
Очнись!

БАЙДУКОВ

Да не тряси меня, не мни!

ЧКАЛОВ

Где Беляков?

БЕЛЯКОВ

Есть Беляков!

ЧКАЛОВ

Ребята!

Где хлеб? Где водка? Все на стол мечи!
Недаром я летел сюда с Арбата
И чуть не спутал адреса в ночи.

ГОЛОС

Где тамада?

ЧКАЛОВ

Нам тамада не нужен.

А если хочешь, сам я тамада.

БАЙДУКОВ

Рассказывай.

ЧКАЛОВ

Пускай доставят ужин.

Все что есть в доме, все на стол сюда!
Налить стаканы!

БАЙДУКОВ

Объясни хоть кратко.

ЧКАЛОВ

Здесь краткость абсолютно не нужна.

БАЙДУКОВ

Хоть намеки...

ГОЛОСА

Чур, не шуметь! К порядку!

ЧКАЛОВ

Как? Пир без женщин? Где моя жена?
Где Ольга? Почему она в постели?
Пока пьруют на земле друзья,
Пока мы тут, пока не улетели,
Спать нашим женщинам никак нельзя.

Входит Ольга

Вот и она. Красавица, прости нам
И поздний час и лагерный содом.
Мы не привыкли все еще к гостинным
И в комнате вмещаемся с трудом.
Начнем?

БЕЛЯКОВ

Начнем.

ГОЛОСА

— Не осушать бокалов.—

Вашу предлож...— Вы словы лишены.—
Вашу поправ...— Имеет слово Чкалов.—
Ура!— Не нарушайте тишины.

ЧКАЛОВ

Ну, что сказать? Мы первые на свете
Летим сквозь ледяное серебро
В Америку. Пускай мешает ветер,
Пускай сплошная ночь на всей планете...
Так хочет Сталин и Политбюро!
Я был у Сталина. Я видел друга,
Так близко видел, как тебя сейчас.
Я пожимал ему, прощаясь, руку.
Я спорил с ним, волнуясь и учась.
Расспрашивайте, что же вы?

ОЛЬГА

Бакой он?

ЧКАЛОВ

Такой, как описал его Барбюс,
Как пел Джамбул. Приветлив, строг, спокоен,

Внимателен. Но об заклад побьюсь,
Что это все не выражает сути.

БЕЛЯКОВ

Что было главным?

ЧКАЛОВ

Главное? Постой.

Попробую. Вы сами дописуйте.
Базалось, я стою над высотой.
Базалось, где-то среди скал кавказских
Мне сила ветра шапку сорвала,
И стало жизнью, что читал я в сказках,
И рядом промелькнула тень орла.
Он говорил, как все мы. То есть просто.
Но повторить того, что он сказал,
Немыслимо. Мне нехватает роста.
Тут нужен стадион. Колонный зал.
Стратег. Политик. Вождь. Не только это.
Сквозь простоту, в строгость, и шок
Душа моя увидела поэта.
Поэт. Вот слово! Вот кто он такой!
Он видит будущее так же ясно,
Как ты меня. Он видит из Бремля,
Что шар земной пожаром олеясан,
Что в муках содрогается земля.
Вот отчего маршрут прочерчен твердо,
Вот отчего и я, и ты, и ты
На полюс полетим не для рекорда,
А в исполнение стадионской мечты.

БАЙДУКОВ

Да здравствует товарищ Сталин! Встанем!

БЕЛЯКОВ

За родину!

ГОЛОСА

За ваш полет. Ура!

ОЛЬГА

За вашу дружбу. Перед расставаньем
Всех обнимаю нежно, как сестра.

БАЙДУКОВ

Что он еще сказал?

ЧКАЛОВ

Всего не помню.

ОЛЬГА

Ты волнуешься?

ЧКАЛОВ

А еще бы нет!

Но вот когда особенно легко мне
Вдруг сделалось. Вошли мы в кабинет.
Он закурил и шурится. Я замер.
Смотрю: из трубки вытекает легкий дым.
И говорит он вдруг, сверкнув глазами:
— Я бы хотел быть снова молодым.

БЕЛЯКОВ

Так и сказал?

ЧКАЛОВ

Да, точно так, до слова.
Потом прибавил тихо:— Я хочу
Все испытать, что было в жизни, снова.
Слегка меня ударил по плечу
И шепчет мне... и то была вершина
Всей этой встречи, всех возможных встреч...

— Нам человек дороже, чем машина.
И он велел мне жизнь мою беречь.
Я весь затрясся. Лопочу невнятно,
Что, дескать, благодарен, что могу
Жизнь за него... В глазах мелькают пятна.
Обрывки мыслей кружатся в мозгу.

БАЦУКОВ

За Чкалова, товарищи!

ЧКАЛОВ

Пет, милый,
Постой еще. Наговорилась власть.
За то, что нас возрастили и вскормило,
За власть Советов! Да, за нашу власть!
За то, что наше сердце шибче бьется,
Когда мы славим родину, друзья,
За то, что в песнях искренно поется,
Но даже в песнях выразить нельзя!

П е с н я

За зоркость бойца, что стоит на дозоре,
За все без конца наши ночи и зори.

За нашу машину, за наш перелет.
На север, на север, на север — вперед!

Высоко до звезд подымаем мы чашу,
За скорость, и frost, и за молодость нашу.

Нас буря не ломит, гроза не берет.
На север, на север, на север — вперед!

За музыку ту, что от века ликуя
Влечет в высоту вереницу людскую,

Поет нам о славе, о счастье поет...
На север, на север, на север — вперед!

3

Где-то около аэродрома

ЧКАЛОВ

Вот и пришла та самая минута,
Которой ты боялась.

ОЛЬГА

Погоди.
Не говори ни слова мне, как будто
Не час у нас, а месяц впереди.
Что ж ты смеешься?

ЧКАЛОВ

Месяц это мало.
Вся вечность впереди, мой вечный друг.

Пойми же, как всегда ты понимала,
Не плача, не ломая слабых рук.
Да, ремесло опасное. Да, летчик.
Да, испытатель, и притом смельчак.
Да, забываю, что растет сыночек,
Что голова одна лишь на плечах.

ОЛЬГА

Неправильно ты говоришь. Не надо.
Я знаю все. Я умная жена.
Ты сам мне говорил. Но я не рада,
Что эта встреча так напряжена.
Поговорим о будущем. Недолго
Останусь ждать до лета. Мы опять
Поѐдем к твоему отцу, на Волгу.
Ты отдохнешь, почей не будешь спать.
Зажжешь костер на пойме с рыбаками
До ранних зорь, обрызганных росой.
Присядешь в полдень на горячий камень,
Пойдешь купаться вечером босой.
А осенью — в Москву!

ЧКАЛОВ

Ты молодчица!
Ты, Леся, штурман и механик мой.
Спасибо!

ОЛЬГА

Вот еще одна причина,
Чтоб не притти заплаканной домой.

ЧКАЛОВ

Все хорошо. Все ясно. Нам осталась
Еще минута. Помни навсегда:
Ни низкий страх, ни низкая усталость
Нам не сорвут любимого труда.
В любую мглу, в любую непогоду,
В любых краях, на высоте любой
Мы будем только зорче год от году.
И в грозный час, когда начнется бой,
Простимся так же нежно, так же скромно,
Не пряча глаз, волнения не тая:
Муж и жена. На всей земле огромной
Два самых близких друга — ты и я!
Прощай!

ОЛЬГА

До скорого свиданья, милый!
Я буду рядом всюду и всегда.
И если страхом сердце защемило,
Прости мне эту слабость. До свиданья...

ЧКАЛОВ

Э, тлупенькая! Что ж ты, панаследок
Не выдержала?

ОЛЬГА

Как мне тяжело.

ЧКАЛОВ

Ну, улыбкись еще раз. Да не эдак,
По-старому. Теперь прошло?

ОЛЬГА

Прошло.

Немножко полегчало.

ЧКАЛОВ

И отлично.

Сотри слезу, пока я сам не стер.

А то ей-богу, Леля, неприлично:

Вдруг щелкнет лейкой фоторепортер.

4

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ ВЕДУЩИЕ

На север, на север, на север — вперед!

Нас за сердце доблесть людская берет.

Летят они к полюсу в пляске метелей,

Как люди еще никогда не летели.

Хочовет, и плачет, и злится пурга.

Им смертью грозит ледяная барга.

Но слажено все для рекордного дела,

За каждым прибором страна доглядела,

Варила им сталь, шлифовала стекло,

Чтоб ночь распахнуть перед ними светло.

Б ним рвутся цветов золотые охапки,

Оркестры, знамена, и руки, и шапки.

А там, опрокинутой чашей вися,

Им паша планета подарена вся.

Тот самый поручен им глобус, который

Коперник швырнул в мировые просторы.

А там, еле видный пародам во тьме,

Пунктиром намеченный в светлом уме,—

Вот он, в сочетаньи расчета и риска,

Весь путь — от Московского моря до Фрэнко.

5

Внутри самолета

ЧКАЛОВ

Как самочувствие?

БАЙДУЖОВ

Дыханье сперто.

Опять из-под ногтей сочится кровь.

Звенят в ушах, мешает слушать.

ЧКАЛОВ

К чорту

Расспросы о здоровьи! Приготовь

Мне рацию.

БЕЛЯКОВ

Нам горняки Урала

И пионеры горьковские шлют

Привет. На Баренцовом проорала

Норвежская шалаанда свой салют.

Медведица нам машет на Аляске

Босматой лапой, теща медвежат.

ЧКАЛОВ

Долой! Лови Европу!

БЕЛЯКОВ

Джаз и пляски.

В Берлине лают. В Чехии дрожат.

И снова джаз. И снова писк мышинный.

И снова шифры сводок биржевых.

Базармы, как дробильные машины,

Заглатывают рекрутов живых.

И снова немец угрожает смертью

Кому-то там в пространстве ледяном.

ЧКАЛОВ

Летим вслепую. Попытайтесь, смертью

Координаты.

БАЙДУЖОВ

Арктика вверх дном.

ЧКАЛОВ

Сплошное молоко. Сплошная вата.

Как пробивать? Как направление взять?

Что ж, Арктика ни в чем не виновата.

Не обжитое место, так сказать.

И самолет — не южный санаторий,

А, как ни гинь, совсем наоборот!

Я бы зашел, свирепой выюге вторя,

Да выюга мне сама набьетса в рот.

Эй, старая приятельница! Как там

Тебе угодно зваться пред людьми?

Тебя я ставлю прямо перед фактом.

Вот наша песня волжская. Возьми!

БАЙДУЖОВ

Нет кислорода. К чорту отработан

Пустой баллон. Бружится голова.

БЕЛЯКОВ

Но погодите. Наконец-то вот он,

Родной язык. Вот, наконец, Москва!

Так далеко, в таких краях безмолвных,

Хоть ты, коробка, речь ее слови,

Хоть еле слышно, на коротких волнах,

Спой о моей единственной любви.

ЧКАЛОВ

Дышать. Дышать. Всей клеткой ребер

могучих.

Всей грудью. Всем напором существа.

Пить кислород из кубков полночных.

Дышать! Любить! Ловить тебя, Москва!

Пока нам выюга рук не оторвала,

Пока наш крик последний не замрет,—

Жить, не сдаваться, не сдавать штурвала.

Сквозь почь,

сквозь выюгу,

сквозь туман —

вперед!

6

В Василеве. Раннее утро. Лето 1938 года.

На скамейке сидит простоволосый парень.

В руках у него бумажная модель самолета.

Входит Чкалов.

ЧБАЛОВ

Прости, дружище, опоздал.

КОЛЯ

Ну, что вы!

Я ждал, да время даром не терял.

ЧБАЛОВ

Как дело подвигается?

КОЛЯ

Готово.

Вот только больно жидок материал, —
Боюсь, расклеится моя картонка.

ЧБАЛОВ

Дай-ка пощупать. Крылья хороши,
Но хвостовое оперенье тонко
И легковесно. Коля, не спеши!
Машина, сделанная по модели,
Сейчас же в землю врежется винтом.
Ты сколько дней работал?

КОЛЯ

Полнедели.

ЧБАЛОВ

А надо — месяц. И сломать потом.
И заново начать. И не сдаваться.
Бромсать, калечить, изощрять чертеж,
Детали переделывать раз двадцать, —
Тогда решение верное найдешь.
Да не сопи ты носом. Не поможет.

КОЛЯ

Нет, я, Валерий Палыч, не соплю.
Я думаю: не много вес умножит
Нагрузка бомб такому кораблю?
Не будет он устойчивей?

ЧБАЛОВ

Конечно.

КОЛЯ

Я, значит, заблудился по пути.
Машина самоувернется.

ЧБАЛОВ

Слишком спешно
Решил задачу, ты меня прости.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС

Эй, Колька, где ты пропадаешь? Колька?

КОЛЯ

Мать кличет. Поднялась в такую рань!

ЧБАЛОВ

А не обиделся ты?

КОЛЯ

А несколько.

На что же обижаться, если дрянь?
Спасибо за науку. Вы купались?

ЧБАЛОВ

Да, только что, за лозняками.

КОЛЯ

Эх!..

Сработаю модель на этот палец!
А в сентябре бы в школу...

ЧБАЛОВ

Что за спех?

КОЛЯ

Не я спешу.

ЧБАЛОВ

А кто ж тебя торопит?

КОЛЯ

Как кто? Страна! Я для того и рос.
Когда мы спрашивали о Европе,
Что вы нам отвечали на вопрос?
Припомните: «Не за горами войны».

ЧБАЛОВ

Еще раз повторяю: не спеши.
Смотри, как светел мир — зеленый, хвойный.
Прекрасный мир для молодой души.
Могучая Россия. Пусть же долго
Она пирует в славе и красе!
Пускай Ока и Кама, Дон и Волга,
Все наши реки и народы все
Сольются для великой братской дружбы!
А ты расти на воле сто годов,
И только будь готов для всякой службы,
Для мира, для войны.

КОЛЯ

Всегда готов!

Я знаю сам, что подождать не худо.
И время в лес не убежит, не волк.
И лет мне мало... Спрячусь я куда
От матери.

ЧБАЛОВ

Из Кольки выйдет толк!

Входит мать Коля.

МАТЬ КОЛИ

Прости, Валерий Павлович, старуху.
Зря ты волнуешь нашу молодежь.
Приехал к нам, повсюду внес разруху
И, как цыган, детей у нас крадешь.

КОЛЯ

А я то, мама, слышу все.

ЧБАЛОВ

Вот славно!

Предатель, Коля!

КОЛЯ

Ладно, уйду.

ЧБАЛОВ

Выкладывай, в чем дело, Николаевна?
Чем насолил я?

МАТЬ БОЛИ

Вот что я скажу:

Наш Болька сам не свой, не спит ночами,
Гуляет, жжет костры у рыбаков,
Не заवेशь домой и калачами.

ЧЕАЛОВ

Да так и надо, мать! Я сам таков.
Спроси отца, в каких я драках вырос.
Он не мешал: и сам был не смиренней.
Бывало, в пашуху ждут его на клирос,
А он гулять с компанией парней,—
Живут, как птицы, день, и два, и восемь...
Где впроголодь, где поглодают кость...

МАТЬ БОЛИ

А мы тебя, Валерий Палыч, просим,
Раз ты наш депутат и славный гость,
Пожалуйста, не балуй наших деток.
И сам не молод. Сам угомонись
Для дела государственного.

ЧЕАЛОВ

Этак

Все государство ты потянешь вниз.
Росея сядет стопудовым задом
На древние, родимые места,
По свалкам, огородам, палисадам,
Лет, скажем, на сто.

МАТЬ БОЛИ

Вот и красота!

Входят учитель и Клава

УЧИТЕЛЬ

Эге, да тут дискуссия!

МАТЬ БОЛИ

Учитель!

Хоть ты бы защитил своих ребят.

УЧИТЕЛЬ

Кто из ребят нуждается в защите?

МАТЬ БОЛИ

Все. Неслухи, озорники, грубияны...

УЧИТЕЛЬ

Кого же защищать? Тебя от Боли?
Сама сумеешь! Взмыль ему вихор!
Я утверждаю, что ребята в школе
По дисциплине все идут на «хор»...

КЛАВА

Ну, котчено, спешились...

ЧЕАЛОВ

Видно, Клава,
Придется нам с тобой их разнимать.

МАТЬ БОЛИ

Валерий Палыч, это не забава,
А горе материнское. Я — мать!

ЧЕАЛОВ

Опомнись, мать! Откуда, что за горе?
Мальчишка твой способный, боевой,
Напористый. Не правда ли, Григорий?

УЧИТЕЛЬ

Я за него ручаюсь головой.

ЧЕАЛОВ

Вот это лихо!

МАТЬ БОЛИ

Все-то вы лихие!

КЛАВА

На том стоим!

МАТЬ БОЛИ

Под вами и горит!

Уходит

УЧИТЕЛЬ (развертывает газету).

А из Мадрида вести неплохие.
Живет республиканский наш Мадрид!
Смотри на карту. Вот она, Европа,
Великая, несчастная земля,
Исхоженные, выжженные тропы,
Костер полов и плаха короля.
Вот, вот она, истыканная в штабах,
Бордонами изрезанная вдрязг.
В концлагерях, на каторжных этапах.
Ее названья — горе, ярость, риск.
Швырнуть ее на стол, прикрыть ладонью
Куски морей и полуострова,—
Из-под руки тебя ошмарят вонюю
Вязанки трупов толых, как дрова...
Я с малых лет, еще на школьной парте,
Мечтал бродить пешком по всей земле
Иль плавать юнгой. Я чертил на карте
Рейс из Батума до Па-де-Бале.
И вот сейчас, очкастый, бородатый,
Своим мечтам учу других ребят,
И чувствую, ей-богу, как когда-то,
Что юности года не потребят.
Я, может быть, летал бы с Цюльковским...

КЛАВА

Чудак учитель!..

ЧЕАЛОВ

Ты-то хороша.

Небось, во сне по улицам московским
Гуляешь, от восторга не дыша.
Поешь Татьяну звонко, но прескверно.
Постой! Тебя к суду мы привлечем...
И в летчика влюбляешься наверно...

КЛАВА

Валерий Павлович, вы-то здесь при чем?

ЧКАЛОВ

При том, что я готов служить подножьем
Для молодости, глупая, твоей.

УЧИТЕЛЬ

Не обессудь, но мы тебя тревожим,
Товарищ Чкалов, попусту, ей-ей!

ЧКАЛОВ

Брось ты, Григорий, как не стыдно! Мне бы
Всю жизнь гулять в обнимку с земляком,
Смотреть на Волгу; на леса, на небо,
На девушку, с которой незнаком,
Но познакомлюсь, кажется, мгновенно!

УЧИТЕЛЬ

А девушка краснеет и дрожит.

ЧКАЛОВ

А я ей вру о чем-то вдохновенно.

УЧИТЕЛЬ

А девушка...

КЛАВА

А девушка бежит.

Убегают

ЧКАЛОВ

Ишь как раздулась тученька, смотри-ка.
Сейчас как полыхнет, да как полетит.
Откуда, Колька?

ГОЛОС КОЛИ

К вам бегу из Риска

ЧКАЛОВ

Скорей бегу.

ГОЛОС КОЛИ

Лечу, как самолет.

Молния. Близкий раскат грома

ЧКАЛОВ

И с детства обожал грозу на Волге,
Гром с перекатом, как пастуший бич,
И молнию, и дождичек недолгий,
Да проливной.

Еще одна молния

КОЛЯ

Валерий Па-влю-вич!..

Вам молния, Валерий Палыч!

ЧКАЛОВ

Дай-ка.

М-да! Завтра же, выходит, надо в путь.
Не думал, не гадал... А где ж хозяйка?
Покличь-ка Ольгу. В доме где-нибудь.

Коля уходит

ГРИГОРИЙ

До встречи! Вечерком я загляну.

ОЛЬГА

Ты звал меня?

ЧКАЛОВ

Читай. Нарочно встретил
Тебя не среди близких, а одну.

ОЛЬГА

Конечно, это снова испытанье?

Он утвердительно кивает

Ответственное?

Та же игра

Знаешь, как и что?

ЧКАЛОВ

Ты сохранишь все, что скажу я, в тайне.
Большое дело нами начато.
Машина боевая. Страшной мощи.
Тип совершенно новый. Штурмовик.
Решили, значит, строить. Скажем проще:
Война близка. Все ближе, что ни миг.
Но только до бури, до пожара,—
Рассчитываю я,— Сталин нас пошлет,
Как обещал, вокруг земного шара.
Вот будет, Леля, звездный перелет!
До ужина пойти я в город должен:
Хоть голл залпнуть футбольной голытьбе,
Хоть попрощаться засветло с Поволжьем.
Итак, еще последнее — тебе:
Верь в счастье мое.

ОЛЬГА

Неколебимо!

ЧКАЛОВ

Блянись, что веришь.

ОЛЬГА

Как боец в строю!

ЧКАЛОВ

Как мне назвать тебя?

ОЛЬГА

Своей любимой.

ЧКАЛОВ

Как сохранить?

ОЛЬГА

Как молодость свою.

ЧКАЛОВ

Навеки вместе?

ОЛЬГА

Ты уже ответил.

ЧКАЛОВ

А в облаках на высоте любой
Как мне тебя услышать?

ОЛЬГА

Слушай ветер.

ЧКАЛОВ

Как быть тебя достойным?

ОЛЬГА

Будь собой!

ЧКАЛОВ

Спасибо! А теперь идем прощаться.
Жить! Веселиться! Собираться в путь!
Для каждого дружка и домочадца
Отыщем ласковое что-нибудь.

Оба уходят

ГОЛОС КЛАВЫ

Эй, Коля, где ты пропадаешь?

Из кустов выходит Коля

КОЛЯ

Плохо.

Выходит, я подслушивал. Беда...

КЛАВА

Как лесной, вылез из чертополоха,
Весь в листьях, в глине, в ссадинах...

КОЛЯ

Ну, да.

Упал, ушибся...

КЛАВА

И притом сконфужен.

КОЛЯ

Пусти меня!

КЛАВА

И болеешься, как еж...

КОЛЯ

Пусти, я говорю! Мне Чкалов нужен,
А не девчонка.

КЛАВА

Вот как ты поешь...

КОЛЯ

Кто я ему? Один из тысяч. Белька.
Вихрастый. Весь испачканный. И вдруг
Он улетает. Выговорить только:
Валерий Чкалов. Мой любимый друг.
Он улетает. И пускай. И хватит
Ему гулять. Есть поважней дела.
Конечно, он об этом слов не тратит,
Не хвастает, как баба бы могла.
И я не буду хвастать. Но назначу
Срок для себя. И в шалаше, в лесу,
Все переделаю, переиграю
И Чкалову работу принесу.
Потом вернусь лет, скажем, через двадцать
В наш город, в Василево... но верней,
Что Чкаловском он будет называться...

И буду сам учить других шарней.
И твой сынишка, — Клава, да не смейся! —
Вихрастый, весь испачканный, поймет,
Что пет конца для чкаловского рейса,
Что он умчался в звездный перелет.
Пускай он улетает. Слышишь, Клава?
Моя дорога только начата.
Но у меня есть большее, чем слава...

КЛАВА

Но что же это, Коленка?

КОЛЯ

Мечта!

7

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ ВЕДУЩИЕ

Мечта направленье прямое берет
Сквозь время, сквозь время, сквозь время —
вперед!

И вот уже год, и другой миновали,
И третий мелькнул в безвозвратном обвале.
Четвертый кончается вьюжной порой.
И ж людям торопится сорок второй.
Война. Боевая тревога. Сражение.
Пускай помогает вам воображение
На маленькой сцене в пятнадцать шагов
Представлять поля подмосковных снегов.
Услышите гуденье моторов огромных
На наших завьюженных аэродромах.
Одна из машин направленье берет
На запад, на запад, на запад — вперед!

8

Боевой аэродром дальнего действия. Ночь.
Весна 1942 года. Командир авиасоединения
и комиссар.

КОМАНДИР

Ноль ноль пятнадцать. По моим расчетам,
Пора им возвращаться.

КОМИССАР

Ну и жуть!
Темным-темно. Пойдите!

КОМАНДИР

Что еще там?
Летят?

КОМИССАР

Летят.
КОМАНДИР
Ошиблись вы чуть-чуть,
Ослышались, товарищ. Это ветер.
Шальная гопка макбетовых ведьм.

КОМИССАР

Какая жуть на всем на белом свете!
Да и недаром говорится ведь:
Особый стиль сорок второго года, —

Метели в марте и октябрь весной.
Но всем статьям, летняя погода!

КОМАНДИР

Простите, но я спорщик записной:
Насчет летней все-таки поспорим.
Для русских здорово, — для тех какж!
Недаром нам зима была подспорьем,
А немцам нездоровилось от вьюг.

КОМИССАР

Но странно, что опаздывают наши.
Что там стряслось? Не может быть, чтобы...

КОМАНДИР

Будьте спокойны. Улизнут из кашп,
Поставят небо к чорту на дыбы,
Но вынырнут. Ребята боевые.
Все на подбор. Отличное звено!

КОМИССАР

Ребята первый сорт! Но ведь впервые
На этой трассе.

КОМАНДИР

Маленькое «но».

Блажен, кому позволено быть первым.
Блажен, кто пробивает путь вперед.
Блажен, кто не останется резервом —
Он лучшее, поверьте мне, берет.
Быть первым — это значит вырвать счастье
Из рук необходимости любой.
Быть первым — это быть ударной частью
И победить, когда начнется бой!

КОМИССАР

Прислушайтесь. Как будто загудели?
На этот раз как будто не обман.

КОМАНДИР

А ну-ка... Неужели в самом деле?

КОМИССАР

Летят?

КОМАНДИР

Летят! Пробились сквозь туман.

Близкий рев моторов нарастает и звучит
грозной симфонией. Перед зрителями открыва-
ется землянка. Командир и комиссар при-
нимают прилетевших. В одном из них не-
трудно узнать возмужавшего василювского
паренька Колю

НИКОЛАЙ

Как я докладывал, в тринадцать сорок
Мы взяли курс на запад, на врага.
Были каждый час отсчитанный нам дорог,
Нет, каждая секунда дорога.
Летим. Летим. Под нами только вата.
Над Балтикой сплошная мгла и муть.
Дорога, скажем прямо, трудновата,
Без кислорода просто не дыхнуть.

Одни приборы малость помогали.
И вот вам крест, товарищ комиссар,
Мы в точный час, когда предполагали,
Шли в разворот на бомбовый удар.
Порядок! Невидимкой, но у цели.
Фашистский город движется во тьме.
Вот он уже на боевом прицеле...
Тут я прикинул кое-что в уме,
Нажал рычаг. Встряхнуло. Что-то тихо.
Секунд пятнадцать ждем и не глядим.
И вдруг внизу как бахнула шутиха,
Как прорвало, как взвился черный дым!

Порядок! Снова посылаем слиток
В полтонны весом. Тут-то, — мать честна! —
У них пошла писать пальба зениток,
Вслепую, как попало, как со сна.
Прожектора плясали в страшном танце,
Рогами в тучи тыкались со зла.
А между тем от их электростанций
Остались только пепел и зола.
Взошла луна. Под нами дым пожарищ,
Вокруг зенитный мечется огонь.
Ну, думаю, теперь пора, товарищ,
Пора домой — спастись от погонь.
Не тут-то было. Некуда! Не шутка!
Как ни верти, мы в огненном кольце!
Мне, скажем прямо, сразу стало жутко.
И Петька мой меняется в лице,
И Федор Дмитрич ежится как-будто.
Ну, я пред вами хвастать не шривык,
Подробностей описывать не буду.
Я сделал все, что должен большевик:
Ударил в лоб опасности и вышел
Из первой схватки целым потому...

КОМАНДИР

Мне очень мило все, что я услышал.
Без лишних слов тебя я обниму.
Ступай и отдыхай, голубчик! Ты ведь
Устал, как чорт.

НИКОЛАЙ

Иван Ильич, пойми,
Твои заботы могут опротиветь.
Да разве так ведется меж людьми?
Да разве это водится на свете —
Такую ночьку лежать провести?
Товарищ комиссар, хоть вы ответьте:
Ведь так?

КОМИССАР

Да не трясся меня, пусти!

НИКОЛАЙ

А вы, друзья, что ж вы молчите оба?

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ЛЕТЧИКИ

Иван Ильич, не обижайте нас.
Иван Ильич, позвольте! Мы до гроба
Вас будем помнить. Посидим хоть час.

КОМАНДИР

Взмолитесь? Если так, готовьте ужин.
Где хлеб, где водка? Все на стол, сюда!

НИКОЛАЙ

Кто тамада?

КОМАНДИР

Нам тамада не нужен.
А чтоб не спорить, сам будь тамада.

НИКОЛАЙ

Я заказуюсь...

КОМАНДИР

Мы тебя отучим.

НИКОЛАЙ

Я спутаюсь.

КОМАНДИР

Тогда прошу, молчи.

НИКОЛАЙ

Незаром я летел сюда по тучам
И чуть не спутал адреса в ночи...

КОМНССАР

Постойте-ка, товарищи! Вот дьявол!
Мерещится мне... Что за ерунда!

КОМАНДИР

Да ты как будто под водою плавал!

КОМНССАР

Все это было раньше... Но когда?
Со мной, с тобой... Тому назад лет восемь...
Лет семь или шесть, а может быть и пять...

НИКОЛАЙ

Я предлагаю песню.

ВСЕ

Просим, просим!

КОМАНДИР

Ну, вспомнил все?

КОМНССАР

Нет, позабыл опять.

НИКОЛАЙ

На запад, на запад, на запад — вперед!
Нам за сердце доблесть людская берет.
На запад, друзья, по испытанной трассе,
Чтоб Геринг затрясся, чтоб Геббельс затрясся,
А Гитлер увидел предсмертные сны.
Мы первые ласточки грозной весны.
Закружимся вихрем. Пройдем ураганом.
Ведь родина только одна дорога нам.
Товарищи, наш наступает черед.
На запад, на запад, на запад — вперед!

КОМНССАР

Откуда эта песня?

НИКОЛАЙ

Я считаю,
Сама сложилась.

КОМАНДИР

Песня хороша!

НИКОЛАЙ

Есть одна любимая, простая,
Заветная! Споемте не спеша.
Поруганные области
Взывают к нашей доблести
Взывают к нашей силе
И чести боевой,
Чтоб мы врагов скосячили,
Смели, как под Москвой.
Стальные танки двинутся,
Родные крылья ринутся,
И не пройдет и года —
Поспеем мы как раз.
И стихнет непогода,
Ей Сталин дал приказ.
Эх, вспоминать бы не под звон бокалов,
Не наспех бы... Да трудно утерпеть.
Ведь кажется, вчера Валерий Чкалов
Учил меня мечтать и песни петь.
Ведь кажется, вчера я рос над Волгой...
И вот я вижу всю ее красу,
Карабкаюсь по круче долго-долго,
Но молнию для Чкалова несу.
Да, молнию! — Пожалуйста, наполни
Мне доверху. — Тогда была гроза,
И я схватил одну из этих молний...
Пожалуйста, не смейтесь мне в глаза.
Он молнию прочел, и очень скоро
Простился с нами, и уже к утру
Испытывал машину, на которой
Я разбомбил фашистскую нору.
Как у мальчонки, билось сердце пшбю.
Как я спешил... Боялся, что нельзя
Проститься с ним. А может быть, ошибка.
Что молодость мне вспомнилась, друзья?!

КОМАНДИР

Ну, что ты, милый! Мы еще поможем,
И Чкалова помяем от души.
Воспоминанья на мечты помножим...

НИКОЛАЙ

И в честь героя...

КОМАНДИР

Тихо, не спеша!
Есть в Грузии один обычай славный.
Там за родных умерших пьют всегда
Как за живых, всей чашею заздравной.
Да здравствует Валерий Палыч!

НИКОЛАЙ

Да!

Он с нами был во мраке, над крошечным

Фашистским краем. С нами был везде.
Всегда, в любом задании, самом спешном,
В любом бою, в удаче и в беде.
Он с нами будет — тот широкоплечий,
Простой, веселый русский человек!
Куда мы там ни полетим далече,
Он будет с нами, завтра и навек!

КОМАНДИР

Пу, милые, пора на боковую.

НИКОЛАЙ

Иван Ильич, ей-богу, не пора!
Я песенку спою вам мировую,
На этот палец. Подождем утра.

КОМАНДИР

Пой, Николай. Я подтяну, отбросив
Лет, скажем, десять с плеч, но агрохриплю.

Телефонный звонок

У телефона. Слушаю, Носиф
Виссарюныч!

КОМИССАР

Тихо!

КОМАНДИР

Нет, не сплю. —

Спасибо вам. — За все. — Вот и за это.
Да. Все со мной. — Да, самый боевой. —
Он тоже здесь. — От вашего привета,
Боюсь, он будет завтра сам не свой! —

Исполню. Будет сделано. — Отлично.
Прикажете вам завтра доложить? —
Благодарю вас! — Ясно все. — Вам лично.

Кладет трубку

Ну, Коля, слушай. Будешь долго жить.
Ты награжден. По случаю такому
Сегодня утром снова твой черед.
Летишь на запад. Вот приказ наркома:
Всегда на запад и всегда вперед!

НИКОЛАЙ

Так. Есть на запад! Есть вперед!

КОМАНДИР

Но помни:

Он приказал мне жизнь твою беречь.

НИКОЛАЙ

Но за него и жизнь отдать легко мне.

КОМАНДИР

Спокойно, Коля. Не об этом речь.
Пойми, как Сталин прост и благороден.
Пойми его до глубины, до дна.
У нас одна ведь, а не сотня родин.
И жизнь одна. И молодость одна.
Будь трижды смел в бою и трижды зорок,
И трижды жив и трижды невредим.
Ты бесконечно нужен нам и дорог.
И мы тебя бессмертьем наградим!

Иван Грозный

Роман

(Книга I-я. «Москва в походе»)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Только два дня после боев отдыхала Нарва. На третий окрестности ее огласились стуком топоров, мотыг, неистовым воем пил, криками и смехом рабочих. Бог весть, каким чудом в две ночи сошлись сюда толпы мужиков. Куда ни глянь, везде они: кто, стоя по пояс в воде, усердно забивает сваи в дно реки; кто, тужась изо всех сил, тянет вдоль берега завошки с лесом; кто безустали дробит камень; кто тлину месит. Длинные обозы с бревнами, со смоляными бочками, с железом беспрерывно тянутся к полуразрушенному огнем городу.

Через реку Нарову спешно перекинули широкий, крепкий, с разводом для прохода судов, мост, соединивший Иван-город с Нарвой.

Богатую добычу, множество товаров всяких, принадлежавших ревелюским и ганзейским кушмам — сукон, полотен, воска и сала, большие запасы пороха и оружия сложили в помещении замка под охрану стрельцов.

Взялись всерьез за дело и корабельные мастера. А дело нелегкое — перестроить торговые морские суда на военные. В гавани шнырял в челне, бранился, кричал присланный из Москвы царем еще до взятия Нарвы боярский сын Шестунов, научившийся в заморских краях корабельному делу. Он уже построил одно корабельное пристанище повыше Нарвы.

Эсты спешили засеивать поля. Басманов, во исполнение царского наказа, отпустил им из государевых амбаров зерно для посева, дал хлеба, пагнал в деревни быков и копей. Эсты благодарили Басманова и, на эстонском,

и на языке ливов, и по-русски, и по-литовски — кто как мог.

Нарвским жителям была дарована свободная, беспоплинная торговля по всему Российскому государству; не возобнялось свободно сноситься с Германией. Город освобожден от обязательного постоя войск. Полки расположились вне города. Таков наказ царя: всемерно оберегать покой и безопасность нарвских жителей, за все платить деньгами, ничего даром не брать, не чинить местному населению никакой «тесноты» и для «кормления по мужикам не бегать. Не обжираться, не спиваться и на одном месте не быти, но о ратной науке шещися...»

По царскому указу, освободили всех пленников и вернули им имущество, а многим из них, перешедшим в русское подданство, стали строить новые дома, вместо сгоревших, за счет государственной казны.

Охотно шли в Нарву и Ивангород эсты, латыши и финны для работы в гавани. Ратники угощали их московской пухлебкой, пили квасом, а по вечерам со вниманием слушали их сказки и песни. Один старик-финн, с реденькой бородкой, безусый, принес с собою кантеле, сделанную из простого покрашенного дерева. Положив ее себе на колени, по обычаю финнов, он стал перебирать пальцами ее медные и железные струны, а потом под звуки кантеле спел грустную песнь про князей-немцев, убивших голубоглазую сиротку.

Спустя некоторое время, исполняя волю царя, воеводы повели войско дальше на север, к Балтийскому морю.

После недолгого весеннего дождя дороги порозовели, затейливыми коврами раскинулись по зеленым волнистой равнины.

Небо ясное... Ни облачка... Герасим ехал впереди войска, в ергоульном полку. С ме-

¹ Продолжение, см. «Октябрь» №№ 5—6 и 7, 1942 г.

сад, как он причислен к лучшим наездникам ертоула.

Конь под ним молодой, горячий — едва сдержишь. Осторожно косится он на соседних всадников.

Гедеон — самый близкий друг его, Герасима. Он не раз спасал ему жизнь, выносил его из опаснейших схваток.

Вот и теперь Герасим беседует с ним, как с человеком, делаясь своими мыслями о Параше.

Герасим немного успокоился с выходом из Нарвы. Правда, найти свою невесту у него почти не осталось надежды, но в походе не так тяжело на душе, да и мелькнет иногда мысль: «А может быть!..» В замке Тольбург живет тот лифляндец Колленбах, о котором говорила старуха. «Может быть!» Герасим решил, не глядя ни на какие опасности, первым ворваться в город и — прямо к замку Колленбаха. Он — фогт, его нетрудно там найти.

Вот он, Герасим, отрывается от своих товарищей и вихрем скачет вперед, вспугивая грачей и жаворонков. Ведь с каждым шагом Тольбург все ближе и ближе!

И вдруг, осадив коня, он тихо, про себя, зашел:

Летал голубь по долине,
Все голубушку искал..

Всадники остались далеко позади. Он здесь один со своими мыслями, со своей горячей любовью к Параше, только какой-то невнятный жаворонок сбоку, по дороге, сопутствуя ему, напевает с такой настойчивостью и жаром, как будто силится утешить его, именно его, Герасима.

В Нарве Герасиму пришлось расстаться и с Андрейкой, которого отправили в Псков, к воеводе Троекурову. Туда послали и многих пушкарей; ушел туда же и Василий Кречет.

Мелентий остался в войске Куракина и Бутурлина, в той же пушкарской сотне. Он стал ловким пушкарем. Во время обстрела Нарвы был без промаха. Сам князь Куракин залюбовался его работой.

Ертоульные замедлили ход, привстали на стременах.

— Гляньте-ка, братцы! — крикнул десятский. — Не крепость ли!

— Она и есть! — обрадовались всадники, весело гарцуя на конях.

По сигналу рожка, ертоульный полк мигом рассыпался в разведку.

Герасим пустил коня рысью, напрямк к крепости. По дороге он достиг какого-то человека с мешком за спиной. Препградил ему путь.

— Кто?

— Рыбак! — ответил путник по-русски.

— Куда?

— Домой!

— Где твой дом?

— В Нейшлосе. Да ты что на меня смотришь? Такой же я, как и ты, русский, православный. И дед мой, и отец непоков века жили в Сыренске. Немцы окрестили наш город Нейшлосом. Немало в этих местах православного народа. Рыцари разорили церквы наши, онемечивают нас.

— Идем к воеводе!

Герасим повел рыбака к воеводам. Они похвалили его за добычу такого хорошего «языка». Рыбак был человек разговорчивый.

Он объяснил, что по дороге к морю встретятся два больших замка: Тольбург и Вензенберг.

Герасим поскакал резвым галопом, догоняя своих товарищей. Они уже приближались к самому городу.

Войско Куракина и Бутурлина окружило город со всех сторон. Подкатили на лучной выстрел к его стенам осадные башни; поставили гуляй-города. Промеж башен и щитов разместили пушки. А тем временем отправили гонцов в Новгород, к наместнику Федору Ивановичу Троекурову, за подкреплением, так как предполагалось занять ливонские провинции до самого моря.

Вскоре с большим войском прибыл и Троекуров. Он привез с собой много пушек и две сотни отборных стрельцов. Начался штурм Нейшлоса.

Ливонцы пробовали отбиваться.

Московское войско наседало.

Вскоре на шпигле замковой башни взвился белый флаг: нейшлосский фогт просил пощады.

В замок поскакало верхами двое дьяков в сопровождении татарских всадников, которых больше всего боялись ливонцы. Увидев их, рыцари опустили подъемный мост, отворили ворота и молчаливо сложили в ногам московских посланцев свои знамена.

Дьяки, от имени воевод, потребовали, чтобы люди, не мешкая, выходили из замка, оставив там оружие и имущество.

Рыцари согласились на эти условия; об одном только усердно просили, чтобы воинские люди не чинили им никакой обиды.

Дьяки сказали, что воеводы обещают никого не трогать и сами станут на защиту горожан, если бы кто вздумал их обидеть.

Фогт на белом коне, покрытом черной бархатной попоной, расшитой крестами, в латах, выехал из крепости впереди всех. Хмурый, надменный. За ним — его помощники и го-

редские власти, а потом густой суетливой толпой пошли горожане.

В лагерь приходили старшины эстов, прося принять их в русское подданство.

Воевода писал в Москву:

«Жители города были челом в холопство государю великому князю, а черные люди, латыши, баты и чухны изо всего Сыренского уезду приложились государю и правду дали, что им быти неотступным от государя и до века, а уезда Сыренского вдоль 60 верст, а поперег инде 50 верст, инде 40, и Чудское озеро все стало в Государеве земле царя и великого князя, и Нарова река от верха и до моря».

Оставив в Нейшлосе небольшой отряд для охраны военной добычи и для поддержания порядка, войско двинулось дальше, к замку Тольбург, о котором теперь день и ночь только и думал Герасим.

Опять впереди поскакали отважные ерзульские, а с ними вместе и Герасим.

.....

Тюремный двор замка Тольбург был окружен каменными стенами, заросшими по уступам кустарником и бурьяном. Громадные глыбы серых камней, позеленевших от мха и плесени, свидетельствовали о глубокой древности этих стен. К двухъярусному кирпичному строению тюрьмы примыкала тюремный двор.

Параша целые дни, в ожидании дальнейшей своей участи, смотрела через решетчатое окно во двор. То, что она там видела, уже не пугало ее — слишком много страданий выпало на ее долю за это время. Она видела, как немцы сожгли на ее глазах одну эстонскую деревню за то, что крестьяне посмеялись над безавшими из Нарвы рыцарями. Немецкие солдаты перебили в этой деревушке почти всех мужчин и женщин, а детей побросали в огонь.

Теперь перед глазами Парашы, на тюремном дворе, шло спешное приготовление к казням захваченных немцами эстов и русских, заподозренных в сочувствии войскам «московского варвара». Приготовления были теропливые: в Тольбурге стало известно, что московское войско приближается.

Сам Колленбах в белом плаще с черными крестами, — одеяние тевтонских орденских рыцарей, — следил за тем, как воздвигались виселицы и разводились огни в очагах. И с видимым удовольствием любовался ловкостью палачей, готовивших приспособления для пыток и казней.

Палачи были в черных пыльных рубахах с большими белыми крестами на груди и спине. Безбровые, безусые, залыпившие жиром,

кривонogie, в обтянутых чулках — они вызывали гнев и отвращение. Их зверьяная расторопность и особая прилежность в подготовке к пыткам — были страшны.

Когда виселицы были установлены, очаги зажжены и прыточный инструмент, тщательно вычищенный, в порядке разложен на круглых лотках, Колленбах вынул шпалу и, подняв ее, как крест, рукоятью вверх, прочитал молитву. Палачи много стащили с себя свои черные высокие колпаки с изображением черепа, лежащего на скрещенных костях, и вдруг исчезли в воротах под тюрьмой. Оставшись одни, Колленбах с особой внимательностью осмотрел орудия пытки и отошел на свое возвышенное, обложенное булыжником место.

Вскоре на тюремный двор под конвоем вооруженных рыцарей, одетых в такие же белые плащи с крестами, как и Колленбах, вышла пестрая толпа закованных в кандалы узников. Среди них были женщины, подростки, дети в бедной, изодранной крестьянской одежде. Узники едва передвигали ноги от изнеможения.

Явился пастор, держа в руках крест. Стал рядом с Колленбахом...

Палачи подошли к виселицам. Иные расположились у пылающих очагов.

Параша видела, как рыцари силою приволокли двух отбивавшихся от них стариков. Палачи вцепились в их седые бороды... В толпе узников поднялся плач... крики... Некоторые из них бросились к воротам. Тогда немцы загородили им дорогу остриями копий.

Колленбах и пастор спокойно смотрели на происходящее вокруг них; торжествующая улыбка не сходила с лица Колленбаха.

Палачи подняли стариков, с трудом накинули им на шею петли. Казненные повисли в воздухе, завертевшись на закрученной веревке.

Убедившись, что петли затянулись, палачи, под покрикивание рыцарей, потащили за косы растерзанных, полуобнаженных женщин к огню...

Параша отшатнулась, забилась в угол. Она потеряла сознание...

Очнувшись, увидела над собой желтое лицо Колленбаха. За его спиной стояло несколько рыцарей.

Колленбах громко проговорил что-то над лежавшей в углу Парашей, указал на нее рыцарям. Те быстро подхватили ее и потащили вниз.

Вынесли ее во двор, усеянный изуродованными трупами, залитый кровью.

Пастор подошел с крестом к Параше...

В это мгновение во двор вбежало несколько ландскнехтов.

— Москва! Москва!..— задыхаясь от бега, кричали они.

Немцы засуетились. Первыми бросились бежать палачи, перепрыгивая мягко, по-волчьи, через трупы казненных; за ними, давя друг друга, ринулись рыцари.

Колленбах велел снять кандалы с девушки. Ее подхватил один рослый рыцарь и поспешил вслед за Колленбахом.

На стенах крепости бегали начальники ландскнехтов. Они иногда останавливались, вглядываясь вдаль, где уже гарцовали всадники царского войска.

Воспользовавшись суматохой, пастор, подобрав полы черного камзола, торопливо сел на лошадь с промадным узлом своего добра и опрометью поспешил из замка. За ним бросились и другие. Бюргеры спешно загружали коней всяким скарбом и тоже старались одним другим скорее бежать.

Ертоульные стали преследовать убежавших немцев. Ландскнехты пробовали оказать сопротивление, но не могли устоять перед яростными налетами и русской и татарской конницы. Много изрубленных русскими всадниками немцев усеяло дорогу от Тольсбурга к лесу.

Герасим, увлекшийся преследованием конных рыцарей, был окружен четырьмя латниками. Завязалась борьба... Но подоспевший татарин-наездник выручил Герасима. Вдвоем они сбили с коней закованных в железо немцев и поволокли их на арканах к городу.

В отсутствующий Тольсбург вошел со своим войском Троекуров — суровый новгородский воевода.

Не успевших убежать из замка немцев он велел привести на тюремный двор, заставил их вырыть могилы для трупов казненных фогтом эстов и русских и похоронить их.

После того всех захваченных в Тольсбурге ландскнехтов и рыцарей, пойманных ертоульными, Троекуров приказал утопить в море.

— Не достойно нашу землю грязнить рыцарской дохлятиной, — хмуро произнес он.

В ночь на двадцать четвертое июня в священной роще близ замка Тольсбург эсты справляли праздник Лиго Яна. Празднество справлялось тайно.

В это же время на поляну выехал трое верховых, сопровождавших повозку, запряженную парой сильных коней.

Крестьяне узнали одного всадника — это был сам фогт фон Колленбах. Десятки стрел были пущены в сторону всадника. Фогту удалось ускакать по дороге в сторону города Ревель.

Толпа поселян выбежала из засады и окружила повозку, в которой сидела связан-

ная по рукам и ногам женщина. Рядом с ней старик.

Когда женщину развязали, она стала говорить что-то очень непонятное. Она плохо выговаривала немецкие слова, пересыпая их какими-то другими, чужеземными словами. Все же в конце концов стало ясно, что она русская и что ее Колленбах держал в темнице.

Крестьяне дали ей испить своего пива и отправили ее в близкую деревню.

Вскоре послышались совсем близко пушечные выстрелы.

Из уст в уста передавалось слово: «Москва».

На измученном лице девушки появилась улыбка.

Раненых рыцарей подобрали и положили в повозку, которую и повернули обратно к Тольсбургу.

Шумной толпой прискакали к морю ертоульные, объезжавшие окрестности близ замка Тольсбург.

От них Герасим узнал, что в замке Троекуров творит суд и расправу над захваченными в плен немцами. Другие воеводы устанавливают порядок в городе и замке.

Воеводы выслали к морю телегу с боченком. Приказ: наполнить его морской водой для отсылки в Москву, в подарок царю. Ратники с деловою озабоченностью старательно черпали ковшами воду, войдя по пояс в море и передавая ковши от одного к другому.

— Буде! Полно! — крикнул стрелецкий сотник с телеги, заглядывая в боченок.

Тут же плотники законопатили бочку, окутали ее кошмой и кожей, одели железными обручами и в сопровождении вооруженных стрельцов повезли в стан к воеводам.

Пушечная стрельба в окрестностях стихла. На цитадели развевался русский стяг.

— Ого! — покосившись в сторону замка, усмехнулся один из воинов.

— Ждали дядю Макара, а пришел Спиридон.

— Ждала сова галку, а выждала палку... Тому так и быть должно. Немцы подмога ждали, а подмога подмокла...

Когда воеводы принимали поклон горожан Тольсбурга, к шатру подвезли бочку с морской водой.

Герасим побежал в замок. Ему указали дом фогта. Он обошел все комнаты, обшарил там все уголки, но и здесь не нашел Парашу.

Опять попался ему в воротах замка тот самый рыбак, которого он водил к воеводам. Герасим спросил, не знает ли он чего о пленнице Колленбаха, о русской девушке?

Рыбак весело рассмеялся:

— У нас у каждого рыцаря по несколько ворованных девок. А у старого грешника, у Колленбаха, и вовсе...

Так ничего не узнал Герасим.

Он бродил до самой ночи по замку и озяб. Его начинало трясти, не то от прохлады и сырости, не то от великой тоски.

На другой день малая часть войска двинулась назад, к югу от морского берега, к замку Везенбергу, стоявшему шадалеко от Тольсбурга.

Свирепый фогг фон Анстерит уполз из замка, словно таракан, в своей рыжей, крытой кожей повозке. За ним, напуганные рассказами о жестокостях «московитов», уходили жители города. Замок Везенберг опустел. Когда убежавших обывателей спрашивали — куда они уходят, они отвечали: «В Германию!» Некоторые не побоялись угрожать... Что же, за них заступится германский император «и отнимет опять у Москвы крепость».

Ратники с удивлением слушали их речи.

— Набрехали вам ваши господа. Не токмо детей, мы и рыбу-то лишь два раза в неделю едим. Грех!

Утром к шатру воевод приблизилась толпа крестьян.

Толмач перевел челобитье эстов. Они сказали, что с ними пришла русская девушка, отнятая ими в лесу у рыцарей.

Воеводы просили привести ее в лагерь.

— Она здесь! — низко поклонился старый эст.

Из толпы вышла Параша, бледная, едва державшаяся на ногах.

Воеводы расспросили Парашу, как она попала в Тольсбург. Девушка рассказала обо всем, что с ней было; показала свою спину, руки со следами плетей, полученных за то, что она не хотела изменить своей вере.

А тем временем Герасим объезжал взморье, поглядывая: не появятся ли неприятельские корабли вблизи лагеря. На побережье было тихо-тихо. Невольно залюбуешься восходом солнца, хоть на сердце тяжелый камень. Алые косы зари разметались над лесом, будя сокровенные воспоминания.

Пустынно, только чайки летают, да недалеко от Герасима плещутся в воде с сетями рыбаки.

«Так и жизнь пройдет, а Параша мне не выдать и не выдать!»

Вдруг он услышал топот коня... Оглянулся: бешено несется всадник. Уж не гонец ли от воеводы? Что ему?!

В недоумении Герасим повернул навстречу ему коня, стал дожидаться...

Мелентий!.. Он весело размахивает плетью и что-то кричит.

Все это удивило Герасима, Мелентий — пушкарь, и совсем ему не за чем тут быть — в стороже находятся только засечники.

Вот он совсем близко...

— Эй, рыбак!.. — кричит Мелентий, — выдать, ты так Афоней и умрешь! Так и будешь в воду на рыбы хвосты глаза таращить!

Останься же против Герасима, без шапки, весь растрепанный, веселый...

— Эх, ты, дурень, дурень!

— Скажи — пошто пристаешь? Пошто глумишься?

— Любя тебя, дурень!.. Слушай, што ли!

— Отвяжись! Будто не знаешь? У меня горе...

Герасим махнул рукой и тихо поехал вдоль берега. Мелентий остался на месте... И вдруг до слуха Герасима донеслось:

— Стало быть, ты не хочешь свою Параньку выдать?!

Герасим рванул коня, приблизился к товарищу и грозно сказал:

— Брось глумиться!

Мелентий перекрестился.

— Крест целую — Паранька пришла!

Герасим чуть не упал с коня.

— В шатре девка, у воевод... Айда! Выручай!

Мелентий рассказал, как крестьяне привели Парашу в лагерь и о чем с ней беседовали воеводы.

Лицо Герасима стало красным. В глазах Герасима стояли слезы.

— Спасибо, друже!.. — Он приблизился к товарищу, поцеловал его.

— Чего ж ты! Поедем...

— Нет. Не дождавшись смены нельзя. Крест на том целовал царю, чтоб служить правдою... Скажи девке — скоро будет смена...

— Давай-ка я за тебя постою тут...

— Не ебывай. Того и глади сам собьюсь... Уходи! Позавчера знаешь что было?

— Не ведаю.

— То-то, что не ведаешь. Хорошо тебе сидеть в крепости, а тут редкую ночь, редкий день, чтобы то с моря, то с дубрав на нас воровские люди не набегали...

— Магистерские?

— Не поймешь... Злющие... Выдать, немцы. Ваську Щебета вчера убили. В море погребли мы его. Невзначай закололи копьем. Слово вояжные — из моря вылезают... А здорова Паранька? Ты ее видел?

— Здоровая. Улыбается. Пу, стало-быть, не пойдешь?

— Нет. Останусь до смены...

Мелентий поскакал обратно в свой стан. С завистью посмотрел ему вслед Герасим. Так бы и помчался вместе с ним. Да неужели и впрямь вернулась Параша?!

Герасим подхлестнул коня, тихую рысцою поехал по песчаному берегу возле самой воды... Простор, небо, мысли о будущем — все слилось в ощущении счастья.

II

Царь Иван восторженно встретил гонцов, известивших о взятии ливонских крепостей и о выходе войска к Балтийскому морю.

Он обнял каждого из них, удостоив их дворцовой трапезой, и одарил конями из своей конюшни.

Целый день он был сам не свой. Крушными шагами, заложив руки за спину, ходил в любимом татарском полосатом халате по коридорам и палатам дворца. Иногда высказывал свои мысли вслух, останавливался, спохватившись, подозрительно оглядывался кругом.

Море! Каким недостижимым казалось оно!

В полдень царь созвал ближних бояр, спросил: «Какое мыслят о случившемся?» Бояре не могли ответить коротко и ясно. Для них все еще оставалось непонятным: зачем море? Они кланялись царю, крестились, а потом говорили пространно, шутаясь в льстивых словах. Толкового ответа не добился от них Иван Васильевич.

Беспокойно прошла ночь. Не удалось заснуть; несколько раз он сползал с постели и, став на колени, молился.

Утром, когда съездов тяжелые занавеси в парадную опочивальню пробилась лучи рассвета, царь Иван раскинул на столе привезенную из Голландии большую карту... Склонился над ней.

Вот оно, маленькое черное пятнышко на краю большого продолговатого синего поля. Тольбург! Здесь, в море, покупают коней русские всадники... А вот Нарва, куда уже посланы корабельные мастера и размышлы-строители.

В глазах царя Ивана синее поле растет, ширится, делается громадным, охватывает земли, дробит их... Трудно дышать, следя за этим. Вот оно — неведомое, загадочное море...

Царь выпрямляется, оглядывается назад. Со стены расклеванная, огненным полотнищем глядит на него другая карта... То — родная, нехватная, своя земля!

Очарованный взгляд Ивана прикован к ней.

Вот они — леса, поля, озера и дороги... Множество дорог, и все они тянутся к Москве... Есть ли город такой на Руси, что по-

смеет стать поперек Москве? Кто дерзнет оспаривать величие ее? «Третий Рим» — так называет царь свою столицу.

Указкой из чистого золота Иван Васильевич проводит черту от Москвы до Тольбурга... Вот берег моря...

Анастасия не спит, она притворяется спящей... Тайком наблюдает за царем: снял с полки недавно подаренную ему гостем-англичанином модель корабля... наклонился над ней, задумался... Что-то шепчет про себя.

Подходит к Анастасии, целует ее и шепчет:

— Спи спокойно!.. Господь за нас!

Иван Васильевич взял кувшин с водою, жадно прильнул к нему.

Услыхав шум во дворе, быстро поставил кувшин на стол. Выглянул в окно. Стремяная стража сменяется. Спешилась. Железные шапки красновато блестят. Кафтаны опрятные. Коня вычищены, вымыты. Стрелецкий сотник бросает взгляды на окна царской опочивальни. Иван тихо смеется, пятится в глубь комнаты. Стража сменилась. Все на конях. Копья вытянулись прямехонько.

Рука невольно простирается к окну. Иван благословляет стрельцов, любуясь своими отборными всадниками.

Ведь это его войско, ведь это он придумал красные кафтаны, оружие и боевое постоянное стрельцов.

Отойдя от окна, Иван склонился над колыбелью царевича Федора. Годовалый ребенок худ и бледен. Говорят, «с глазу». Анастасия велела перенести его колыбель к себе в опочивальню. Мамки обвиняют в лжести кое-кого из бояр, самых близких к царю вельмож. Как этому верить? А не хотят ли враги очернить нужных людей? И то бывает!

Тяжелый вздох вырывается из груди царя: может стать, сами же мамки портят дитя, а сватывают на близких царю вельмож.

Гневаться все не должно не токмо царю, но и царскому конюху. Ложный гнев губит правду, наносит ущерб владыкам.

В глубоком раздумьи Иван вновь подошел к развернутой на столе карте. Тянула к себе она вседневно, всечасно.

.....

Согретая летним солнцем, в зелени рощ и садов, Москва ликовала. Будни обратились в праздник. Мальновым перевозом заливались бесчисленные церквушки. Тяжелый, мерный благовест соборов звучал суровой торжественностью, медленно замирая в нешироких улочках.

По приказу царя, пушкарки učinили с кремлевских стен великую пальбу. Яра шлепались в репейники на незастроенных ме-

стах по ту сторону Москва-реки, дымились, вспугивая воронье.

На Ивановской площади сенные девушки, дворцовые красавицы в цветных сарафанах, сыпали из берестяных лукошек зерно голубиным стаям. Пестрым живым ожерельем голуби опоясали карнизы колоколен и башен, носились в вышине, причудливо кувыркалились в голубом просторе, над широкими, заслонявшими друг друга белоснежными громадами соборов и дворцов.

В Успенском соборе шел молебен.

В этот день велел царь Иван открыть кабаки.

От начала войны был запрет на вино и наказ: соблюдать «как бы великий пост, а хмельных всех бросать в бражную тюрьму». И песни петь нельзя было. В этот же день все переменялось. До глубокой ночи бушевали хмельные гуляки на улицах; веселились парни и девки, кружась в вихре хороводов. Песни разливались по узеньким проулкам, рощам и садам. Караульные стрельцы и сторожа не ловили ночных гуляк и не избивали их посохами, как полагалось в повседневности. Ходить ночью можно было только с фонарями, а тут молодежь шмыгала под носом у сторожей без всяких фонарей, и кое-где в садах слышался девичий визг.

В кремлевском дворце, в Большой палате, царь устроил пир. На убранных узорчатыми скатертями столах красовалось великое множество сосудов из чистого золота: миски, кувшины, соусники, кубки, сузун. Часть из них украшена драгоценными самоцветами. Золотая посуда едва умещалась на столах. У стен стояли четыре шкафа с золотой и серебряной утварью. На самом виду двенадцать серебряных боченков, обкованных золотыми обручами.

Иван усадил рядом с собой Сильвестра, Адашева и гонцов, «заобычных людей низкого звания». По левую руку — своего любимца, англичанина, доктора физики Стандиша. Рядом со Стандишем сидели его товарищи-англичане и другие иноземные гости.

На столе перед царем возвышался большой золотой кувшин с морской водой из-под Гольсбурга.

В самый разгар веселья Иван наполнил губки морской водой: себе, Алексею Адашеву, Сильвестру и другим боярам «крымского толка».

— Выпьем за здоровье ратных людей, покоровших море!

Иван выпил первый, залпом. С видом удовольствия обтер шелковым платком усы и губы. Осмотрел весело сощуренными глазами бояр и Сильвестра, нерешительно пригубивших кубки.

Сильвестр сморщился, надул щеки, не решаясь проглотить воду, но боясь и выплюнуть ее.

— Люблю друзей потчевать! Ни свейскому королю, ни датскому, ни польскому не дам я попить той водички, своим людям нужна. Гишпанский король, и тот зарится на сию воду... Мало ему там своей воды! Жадны все, опричь нас!..

Иван с усмешкой оглядел придворных. Велел толпам перевести свои слова англичанам. Те выслушали, рассмеялись, приветливо закивали царю головами. Глаза его, казалось, стали еще острее, еще пронзительнее.

— Ну-ка, отче, отпиши своим землячкам в Новоград: готовьте, мол, друти, лес по царскому указу... посуду морскую долбить будем да в море сталкивать! Да не мешкайте, дескать! Три десятка посудин должны сплунуть в воду, и пушки на них оставить. Гляди, Шестунов уже и корабельное пристанище построил под Иван-городом. Пошли гонца к Шестунову, строил бы, что надобно, не зевал бы!

И вдруг, обернувшись к Адашеву, произнес:

— Не кручинься, друже! Улыбнись! Иль ваша милость не в духе?

Адашев посмотрел в глаза царю смело, ответил без улыбки:

— Не неволь, государь! В своей правде хочу быть нелицеприятным.

— Кроткая песнь лебеда, и та не может равняться с твоей смеленною речью. Испей до дна свой кубок!

Адашев выпил не поморщившись.

— Добро, Алексей! Вижу твою правду. С такими слугами на Москве стану царем царей.

Ближние и всяких чинов люди с любопытством следили за беседою царя с Адашевым. Еще бы! Добрая половина их поднята в службе им, Адашевым, «свои люди»!

Во хмелю царь становился все веселее и разговорчивее. Обернувшись к своим первым советникам, сказал он громко:

— Второзаконие гласит: «Не прибавляйте к тому, что я заповедал вам, и не убавляйте от того». Посмотрите на Ливонию. Истинный государь не найдет там с кем совета чинить. Каждый князек кичится знатностью, и никто не дорожит честью родины. Есть Ливония, но нет царствия! Нет хозяина! Попусту они тщатся склонить императора¹ на свою сторону... Лукавство рыцарей мне ведомо. Глушцы! Да кабы Фердинанд силу имел, он давно бы и Польшу и Литву съел! Есть

¹ Германского.

ли завистливее немцев люди? Есть ли у сла-
вян более ненасытные похитители, нежели
немцы?

Сильвестр оживился, лицо его повеселело,
он, как бы продолжая речь царя, заискиваю-
щим голосом произнес:

— Существует ли в мире иная страна,
государь, каковая обладает таким счастьем,
како наша? Справедливые законы и твоя,
государь, власть спасают нас. «Ибо,— гласит
писание,— есть ли такой народ, к которому
боги его были бы столь близки, как близок
к нам господь-бог наш, когда ни призовем
его?»

Иван прикинулся непонимающим, покачал
головой:

— Мудрено говоришь! Эх, кабы мне та-
кую голову!— и указал на чарку:— Допей!..
Чем богат, тем и рад!

— Во здравие твое!— Сильвестр торопливо
опорожнил кубок.

— Добро, отец!— приветливо кивнул
Иван.— Немало поработали мы с тобой, а
впереди и того труднее. Господь-бог за то нас
и царями сотворил, чтоб самыми трудными
делами править. А ты вон вздыхаешь. Нам
ли вздыхать?

Бояре переглянулись.

Царь продолжал:

— В единомыслии сила, но все ли то
разумеют? Страх и подневольное согласие ви-
жу в глазах. Не сильно наше государство,
хотя и берем крепости и города... Единомыс-
лие нам нужно. Кто превыше раба добивается
счастья? Междоусобная распря и честолюбие
расслабляют властителей, затемняют разум.
Блжливость вельмож не столь страшна госу-
дарю, сколь государству.

Ближние бояре, внимательно слушая моло-
дого царя, в раздумьи мяти свои лигкие
влажные от вина бороды, не понимая и поло-
вины его слов. А главное, обидно, что поуче-
ния исходят от такого молодого, совсем мо-
лодого парня. Давно ли он бороду-то отрас-
тил, давно ли молчал, был послушным да
богу целые дни молился либо в озорстве вре-
мя убивал? А ныне голос его тверд, глаз
деловит, и в голосе густота, приличная наи-
старейшим.

Лицо Ивана раскраснелось, глаза смягчи-
лись, глядели просто, по-дружески.

— Что же молчите? Не для того сошлись.

Сильвестр задумчиво покачал головой:

— Государь! Кто не хочет счастья? Но
сколь превратно и скоропеременчиво оно.
Сколь сокровен жребий человеческий от пре-
дусмотрения и познания самих человек.
Сколь неиспытаны судьбы всевышнего в сча-
стии и злополучии не только смертных, но и

самых царей! Одна минута времени сильна
сделать великие в делах обороты, когда вла-
дыки земные со престолов своих в темницы
или в гроб низвергаются. Как же и чем мы,
смертные, дерзнем выситься и превозно-
ситься?

Говоря это, Сильвестр поднес руку царя к
своим губам, намереваясь облобызать. Иван
с сердцем отдернул ее.

— Недостойно вилеть мне унижение столь
мудрого учителя! Слушай, отец! Часто гово-
ришь ты мне о смерти. Твои слова отвраща-
ют от жизни, но... прав ли ты? Цари дол-
жны управлять так, словно они будут жить
вечно. Царь должен бояться смерти своего
царства, чтоб того не случилось и после него!
Не стоит жить, отец, тому, у кого нет истин-
ного пути, нет друзей, идущих вместе с ним.
А у меня друзей — целое царство. Не так ли?

Тут встал с своего места Алашев и, по-
клонившись царю, произнес горячо и порыв-
исто:

— Прости, государь! Но многие, кои ныне
кажутся друзьями, — лукавые ласкатели, и
опасно надеяться на них.

Иван засмеялся, откинувшись на спинку
кресла:

— Где мне спорить с вами! Вас много, я
один... Не будем более говорить о том. Пейте!
Веселитесь!

— За матушку-Русь! Ну! Все! Все пей-
те!.. Уважьте царя!..

III

Андрей Михайлович Курбский, оставшийся
после первого похода в Пскове, веселился,
окруженный друзьями. Здесь были и сгехав-
шиеся из ближних вотчин бояре и новгород-
ские купцы.

В самый разгар веселья из Москвы прибыл
к нему, по счету седьмой, указ царя о немел-
ленном выезде к войску, стоявшему на рубе-
же Ливонии.

Прочитав указ, Курбский нахмурился. Он
сказал своему самому близкому другу, князю
Василию Серебряному, что никогда еще его
так не оскорблял царь Иван Васильевич, как
теперь. Оп, Курбский, считает себя несколь-
ко не ниже родом Петра Ивановича Шуй-
ского, а тем паче — князя Федора Иванова-
ча Троекурова. Между тем царь назначил их
обоих большими воеводами, а его, князя
Курбского, только воеводою в передовой
полк. Но еще обиднее то, что незнатного
Данилу Алашева царь поставил рядом с ним,
с князем Курбским, тоже воеводою во гла-
ве передового же полка, как равного, как
человека княжеского древнего рода. Не на-
рушение ли это всех древних русских обы-
чаев?

Курбский велел уцелить гусельников и до-мрочеев, остался в кругу ближних людей.

— Не честит меня царь-государь, будто в опале я или в неправде. То поставил надо мною татаряны Шиг-Алея, то Шуйского и Троекурова. Ну, добро бы одного Шуйского. Родовит и знатен князь, но Троекуров!.. Как можно мне итти с ним заодно? Посоветуйте, добрые бояре, что делать мне? Душа не лежит Ливонию воевать, душа не лежит свой род древнекняжеский позорить!

Колычев сказал:

— Вчера поутру видел я Шуйского. Ему тоже пришло от царя пять грамот, чтоб шел он воевать Ливонию в больших воеводах, но и он с Троекуровым итти не хочет. И он считает его ниже себя родом. Да и о тебе он говорит, что-де не рука ему выше тебя стать, и будто писал он царю, чтоб шанбольшим быть тебе, Андрей Михайлыч, а не Троекурову и не ему.

Колычев чуть не до пола поклонился Курбскому. Когда говорил, руки складывал на животе и часто, в каком-то шепоте, моргал.

Курбскому, видимо, пришлось очень по душе, что Шуйский признает его княжескую сановитость, что считает его, потомка великих князей ярославских, достойнее себя быть большим воеводою.

Колычев продолжал:

— А Троекуров и совсем испугался... Третий день вино пьет и мужиков порет. Одно терпит во хмелю: «Почему меня бог создал неже, худороднее князя Андрея Михайловича? Хотел бы я с ним рядом в воеводах итти, а ныне как я пойду, коль вознесен не по чину? И глаза у меня ни на что не глядят!

Курбский с большим вниманием прислушивался к словам Колычева, и когда тот кончил свою речь, он помолился на иконы, сказав во всеуслышание:

— Благодарю тебя, создатель мира сего, что окружил меня в походе честными воинами! Стало быть, тебе, спасе наш, так угодно, чтобы я не явился ослушником государя моего, великого князя Ивана Васильевича, а чтоб служил ему правдою...

И, обернувшись к Колычеву, он прошептал:

— Вот что, светлая голова, порадей-ка мне, доброму товарищу твоему, — уведошь-ка Шуйского Петра Иваныча да Троекурова Федора Иваныча, что, мол, шлю я, князь Курбский, им своей поклон, и чтоб поторопились они со мною, да с Адашевым Давылой, да с воиньяками нашими храбрыми подпяться в новый, царем указанный, поход... Бьет челом-де вам сам князь Андрей Михайлович! Исполним и на этот раз волю нашего великого князя Ивана Васильевича!

— Спаси Христос! — низко поклонился Курбскому Колычев и быстро вышел из горницы.

— Пусть будет по его, цареву, указу, друзья! — вздохнул Курбский. — Оттерпимся — и мы владыками станем.

Опять заповелились военные таборы в Пскове: деловито загудели боевые трубы, всполошились соборные колокола. Царское слово — закон! Московские всадники, стрельцы, копейщики, паряд и обозы тронулись в путь.

Шиг-Алея, Глинского и Данилу Романыча отозвали в Москву. Об этом много было разговоров. Ходил слух, что царь недоволен грабительскими налетами прежних воевод. Да в заморских странах худая молва пошла про русское воинство. Оставлять Шиг-Алея и его сподвижников нельзя стало. Так говорили: в угоду, мол, иноземным царствам то сделано.

Была жаркая, знойная погода.

В броне и кольчугах итти было не под силу. На ходу все это сбрасывалось на телеги. Уж лучше погибнуть от пули или от стрелы, нежели пасть от зноя и духоты.

Дымилась торфяные болота, горели леса. Воздух пронизался едким дымом. Желтые мутные тучи в безветренном воздухе заслоняли солнце. Темносерые пятна ожогов зияли на полях и лугах. Посевы погибли.

Мелкие ручьи и реки пересохли. Безводье стало бичом людей, скотины и растений.

Андрейка скинул с себя не только теплый стеганный тегилай, но и рубаху.

На обнаженной спине Чохова товарищи разглядели следы рубцов от батожья.

— Память о боярине Колычеве! — усмехнулся сам, почесываясь. — Да еще в Пущеной слободе прибавили малость.

Голову повязал тряпкой. Кони в мыле, хотя шли еле-еле. Пушки накалялись, — не дотронешься. Разговаривать не хочется. Голова, словно свинцовая, — тяжелая, клонит ко сну. Но... желание сразиться с немцами было превыше всего.

Стенняки-татары и казаки выглядят бодрее. Андрейка удивлялся им: джигитуют, смеются, весело болтают, на опинах стеганные ватные зипуны, а на головах меховые шапки. Терские горцы, в барсовых и овечьих пшугах, бодро поглядывают на всех черными любознательными глазами.

Иногда над наконечниками копий с глухим шелестом пролетали темные полчища саранчи, пугая коней, вызывая тошноту у людей. Всадники пробовали разогнать саранчу копытами, но это не удавалось, — саранча на-

валывалась плотной массой, пригибая накопечники конев.

Птица вся попряталась в лесах, в гнезда, в поры.

Войско изнывало от жажды.

На реке Великой, во время стоянки в Пскове, ратники наловили рыбы, которой в той реке неслыханное множество. Теперь, после ухи, нестерпимо мучила жажда, а воды не хватало. По дороге рек почти не встречалось. Да и дух лопал от бочек с рыбой тяжелый. Нечего делать, надо терпеть! На то и война!

Пешие воины еле передвигали ноги, словно кандалы на ногах десятипудовые. Однако никто не падал духом. Там и тут раздавались шутки, прибаутки, смех.

Среди воевод и их помощников, тяжело покачиваясь на коне, ехал и Никита Борисыч Кольчев. Волосы его на голове слиплись, лицо блестело от пота. Хмуро поглядывал он на толпу ратников; не нравилось ему, что так много мужиков вокруг него, и что все они так дружны между собой, и что вооружены все они и идут, как равные, с боярами и дворянами...

— Вои он, мой хозяин, — показал на него пальцем Андрей.

— Эх его разнесло, голубчика! — засмеялся один молодой пушкарь. Посыпались шутки и прибаутки. Кольчев догадался, что ратники говорят про него, плюнул, отвернулся.

Василий Кречет, сутулясь, исподлобья глядел по сторонам. Он шагал рядом с телегой, на которой лежали волкобойки. В последнее время он скучал, был недовольным и неразговорчивым. Куда девалась его веселость? Никакой корысти не получалось в походе. — Негде душе разгуляться, — говорил он, мотая головой. — Один убыток! Зря Шяг-Алея убрала. Попыровали бы мы с ним!

Ворчал, но от войска не отставал.

Андрей спорил с ним, стыдил его: «Не корысти ради, а чтоб землю оборонить, пошли мы в поход. Свою и государеву заботу ратники соблюдают. Храбрый врагов побивает, а трус корысть подбирает — так говорят старики. Так оно и есть. В поле — две воли: чья сильнее — вот о чем думай! Дурень!»

— Войну тоже слышать, да худо видеть, — вздыхал Кречет.

— Эх, ты! Восвать бы тебе на печи с тараканами.

Кречет ничего не ответил, только стал еще более дичиться товарищей.

Палимое солнцем войско медленно двигалось от Пскова на запад, по прямому пути к ливонскому замку Нейгаузен.

Ертоульные добыли в разных местах несколько десятков «язычков», пригнали их к

воеводам. Из расспросов выяснилось — к Нейгаузену движется три тысячи немецких всадников и пехоты, под начальством самого магистра Фюрстенберга. А расположилось оно, это войско, в двадцати пяти верстах северо-западнее Нейгаузена, близ городка Киррumpa.

С русской стороны отлого спускались возвышенности псковские, с немецкой — ливонские бугры. Нейгаузен находился на возвышенном месте, на высоком берегу реки Лелля. Сложенный из серых необтесанных каменных глыб, замок выглядел мрачной громадой.

С трех сторон замка — глубокие овраги, с четвертой — река Лелля.

А вдаль, по левую сторону замка, цепь Гангофских гор и самая высокая вершина их, прозванная некогда русскими «Яйдогора». С вершины видны окрестности на сто верст, видны башни печерского монастыря и даже водная ширь Псковского озера.

Всего пятнадцать верст пройдено от рубежа, а как все устали!

Трубы и рожки возвестили: «Готовься к бою!» Вот тебе и отдых!

Воины, разомлевшие от жары и переходов, снова облеклись в кольчуги и латы, надели накалившиеся от солнца шлемы и, набравшись сил, ускорили шаг, стали пристально всматриваться в сторону замка.

Только что вышли из лесу и стали на виду у замка, как с городских стен посыпались вражеские пули и стрелы и началась жестокая пальба из пушек.

Андрей насилу сдержал испуганного неожиданной стрельбой коня.

— Ай, ты, бирюк! Ровно змея ужалила! Что ты? Дурень! — дернул его за повод изо всей силы Андрей, озабоченно оглядываясь на свои подводы с пушками.

Войско не останавливалось ни на минуту, невзирая на стрельбу немцев. Оно еще быстрее двинулось к городу, а ертоульные уже гарцовали под самыми стенами города.

Андрей был так уверен в непобедимости московского наряда, что с насмешливой улыбкой сказал: «Попусту лыцари шумят!»

Было три орудия у него, с ядрами в пятьдесят два и пятьдесят пять фунтов. В других десятках было шесть орудий, из которых пускали ядра по двадцать, двадцать пять и тридцать фунтов. Много орудий, стрелявших ядрами по шесть, семь и двенадцать фунтов. Но больше всего радовали Андрея две пушки, из которых били каменными массами весом в двести с лишним фунтов. При этих пушках везли около двух тысяч ядер, а при остальных орудиях по семьсот ядер. И это не все! Были еще пять пушек, а при них полторы тысячи ядер. Но и это не все! Сотни телег

тянули еще шесть мортир, стрелявших огненными ядрами, которых было запасено две с половиной тысячи.

Можно ли бороться врагу с такою силой? Андрейка торжествовал.

— Ну, ребяташки!— крикнул он своим товарищам-пушкарям.— Готовьте зелья больше! Без масла каша не вкусна.

По приказу воевод, татарские, черкесские и казацкие всаивики рассыпались по окрестностям Нейгаузена, чтоб оберегать войско от внезапных нападений со стороны. Лихо промчались они мимо Андрейки на своих низкорослых, быстроногих конях, коричневые от загара, с сверкающими белками. Впереди всех скакал, размахивая саблей, Василий Грязной.

Кто-то в толпе зашел, а все подхватили:

Что не пыль-то ли в полечке запыляется,
Не туман с неба поднимается,—
Запыляется, занимается с моречка пого-
душка,

Поднимаются с моря гуси серые, летят.
Что летит-то летят, расспросить лебеда хотят:
«Где ты лебедь был, где ты, беленький, по-
бываешь?»

— Уж я был-то, побывал во всех нижних городах...

Голоса певцов, дружные, бодрые оживили даже Василия Кречета, и он стал подпевать ратникам.

А в воздухе свистели стрелы, грохотали ливонские пушки.

Пушкарям хорошо было видно городские валы и рвы, за ними каменные стены, поросшие травой, а на них множество людей.

Солнце, громадное, красное, пряталось вдали, за лесами. Жар свалил. Стало легче дышать. К делу ближе...

Войско расположилось на пушечный выстрел от городских стен. Со скрипом и шумом бревенчатые машины движущихся осадных башен окружали город.

Вышел приказ вдвинуть в прогалы между осадными башнями пушки.

Андрейка, соскочив с коня, горячо принялся за дело.

— Дай, бог, нам попровать! Веселей! Веселей! Семка! Гришка! Эй, шарень! Вологда!.. Ну, ну, бери ядро!.. Тащи землю! Мало ее! Рой мечом! Глубже, глубже! Насынай! Так! Подноси зелье! Готовься! Бога хвалим, Христа прославляем, врагов проклинаям! Эй, ребята, не зевай! Бей в стену, вон, где помелом машут!.. Туда их... мышь!

У самых ног Андрейки упала стрела.

— Ишь ты, дьявол!— усмехнулся он.— Ну-ка за это я его!

Андрейка навел пушку на то самое место стены, откуда стреляли по его пушкарям. Заложил огненное ядро, приставил фитиль.

Раздался выстрел. Андрейка прыгнул, красный, потный стал вглядываться вдаль. Ядро сбilo верхушку стены, а вместе с ней посыпались вниз и ливонские стрелки, только что обстреливавшие пушкарей.

— Прощай Агаша, изба наша!— с торжествующей улыбкой осмотрел пушкарей Андрей.— Стену на том месте надобно до подошвы пробить... Довольно ей на земле стоять. Ну-ка, Семка, валяй первый, потом Гришка, посла ты, друг Вологда! А уж за вами и я! Мне что от вас останется. Я не жадный.

Вскоре пришел наказ воеводы сбить городскую башню, откуда особенно метко стреляла пушка, побившая многих ратников.

Андрей с товарищами общими силами перетасчили свой заряд на новое место. Здесь быстро обосновалась андрейкина десятня, хотя неприятельские пушки и бросали ядра совсем рядом с московскими пушкарями; Андрей даже похвалил ливонских стрелков: «Видать, тут народ знающий. Таких стоит и поглядить!»

С этого дня началось состязание андрейкиных пушек с ливонскими. Бороться с ними было трудно. Башня толстая, крепкая, и пушки и пушкари укрыты в бойницах, а Андрей со своими товарищами как есть на виду— в открытом поле.

Гуляй-города и осадные машины кольцом обложили Нейгаузен. С каждым днем осады это кольцо все суживалось и осадные башни становились все ближе и ближе к стенам города.

Ливонские войны под рукою командора Уксиль фон Паденорм защищались с отчаянным упорством и храбростью. Их было мало, всего шестьсот человек, имевших оружие, но они отважно выходили из городских ворот и дрались «на смерть».

Петр Иванович Шуйский и Федор Иванович Троекуров не находили слов для похвал командору и его воинам.

— Вот бы все были таковы,— говорил Шуйский, потирая руки.— Веселее бы нам воевать! Гляди, гляди, какие петухи!

Андрейка, не щадя своей жизни, храбро и безудачно бил из пушек по упрямой башне.

.....

Следующая ночь была тихой. Накануне сильно утомились московские ратники. Ливонцы тоже приумоляли, может быть сберегая снаряды, может быть выжидая: не уйдет ли московская рать дальше.

Ярко светили звезды.

Никита Борисыч подстерег и зазвал к себе в шатер Грязного.

— Полно нам с тобой дичиться, Василь Григорыч! Где лад, там клад и божья благодать,—приятельски похлопывая Грязного по плечу, сказал Колычев.

На сундуке ярко горела толстая восковая свеча, красовался кувшин с вином, еда.

Грязной — тихий, почтительный — помолился на икону, низко поклонился боярину.

— Мир дому твоему! Да нешто я дичусь? Господь с тобой, боярин. Устал я. Рубился гораздо. Э-эх жизнь, жизнь!

— Милости прошу, Вася! Уж и до чего глаза мне твои по душе. Тебе бы девшпей надо быть, а не мужиком, и не таким храбрцом. Ай, какие у тебя глаза! Огонь! Ей-богу, огонь! А какие кудри! А зубы! Зря ты в бою лезешь вперед. Такой молодец, как ты, тысячи иных молодцов стоит. А убьют тебя либо пулей, либо стрелой, тогда такого-то уж и не сыщешь.

Грязной сконфуженно потупил взгляд, усаживаясь на маленькую дорожную скамью у сундука.

— Таков я, добрый боярин, каковым меня матушка, царство ей небесное, родила, каковым господь-бог, батюшка, создал... Любо и мне, милостивый боярин, что ты не погнушался мной и, как равный с равным, беседуешь одинаково.

— Не попусти тебя похвалявал при боярах батюшка-государь Иван Васильевич... Стоишь! Ты стоишь!

— Служу ему, боярин Никита Борисыч, нелицеприятно, как верный слуга... Ино саблей, ино лѐтом, ино скоком, а ино и пѣзком...

Оба рассмеялись:

— Так-то оно и лучше, особлтво ползком. Батюшка-царь такое любит... — сказал Колычев и тяжело вздохнул. — Кто ныне мал — завтра велик будет, а ныне велик — завтра мал будет. Видно, господом-богом так установлено. Времечко все меняет, переменяет.

Василий Грязной тоже вздохнул:

— Страшно из малых-то да в великие! Ой, страшно! Много дастся, так много и спросится... Не задаром! Да и всегда ли счастливы малыи, будучи возведенч?

Никита Борисыч палил вина в две больших суеи.

— Ну-ка, выпьем во здравие отца нашего государя Ивана Васильевича!

Выпив вино и обтирая платком усы и губы, Колычев вздохнул:

— Сочувствую. Коли плавать не горазд, как сученься в воду, чтоб переплыть Волгу либо Оку? Реки больше, глубокче, надо одолеть. Так и всякая власть. Коль силы нет, коли нет большого понятия, — как ни возышайся, все одно при больших делах утон-

нешь. Ну-ка, выпьем еще, Василий Григорыч, за победу над рыцарями! Чтоб нам завтра взять сей замок!

Грязной опорожнил суею с явным удовольствием, даже причмокнул.

— Ого, Вася! Любо пьешь, скажунок, любо! За царевым столом многих осилил бы. Что за человек! И в бою — храбр и в вине — уместителен. Бог не обидел тебя талантом.

— Хоть и незнатный наш род, а питием не обижены. На что и жить, коли не пить! — улыбнулся Грязной, перекрестив рот.

Колычев, разжевывая рыбу, усмехнулся:

— Не смени. С тобой тут похавишься еще. Ей-богу, подавишься! Будь я царем, — первым бы велможею тебя сделал. Бес с тобой! Будь ты топиз у меня первым! Паллавать! Все одно! Люблю я, Вася, таких вот, как ты, бедовых. Да что говорить, — Иван Васильевич достойных не обижает... найти умеет. Его не проведешь. Лестью не обманешь. Лей еще! Запасено у меня винца-леденца на всю войну.

Василий теперь уже сам осторожно налил вина из кувшина в обе суеи.

— Ласкатель — тот же злодей, — сказал он, подавая кубок боярину. — Подобно гаду под цветами, умыслы ласкателя укрываются под словами красивыми, приятными. Далек я от батюшки-царя, родом не вышел, чтоб за одним столом с ним бражничать, а так думаю, что бог его охраняет от лстецов...

Колычев удивленно уперся в своего собеседника мутным взглядом. Его брови поднялись ша лбу, как рога. В голове мелькнуло: «А сам ты кто?»

— Думаешь охраняет? — тихо, глухим голосом, спросил он.

— Охраняет. Никого мы не видим, чтоб его обманывали да лестью обволакивали. Честные, прямые люди около него.

М-да... Правильно говоришь, — задумчиво промычал Колычев, разглаживая бороду: «Сучкин сын, как врет, как врет!»

— А про Курбского князя, либо Адашева, либо отца Сильвестра скажу прямо: это первые люди, самим царем за дорожество и за честь выдвинуты и служат они царю нелицеприятно, по-божьи, как и всем служить надо.

Колычев недоумевал. Он ждал, что Грязной под хмельком будет порицать сторонников Сильвестра и Адашева, а он и пьяный их хвалит. «Стало быть, — решил про себя Никита Борисыч, — мне надо хулить их». И он, причмокнув, покачал головой:

— Хороши-то они хороши, советники государя, да тоже... как сказать, хоть бы и про отца Сильвестра — постригся кот, похмимлся кот, а все тот же шот... И Сильвеструшка

как был попом, так им и остался... У него свой закон: по молебну и мзда. Возводит в сан и чины простым обычаем тех, кто ему угодлив да полезен. За что он тащит в великие люди Курмятева?! Скажи, Вася, токмо не криви душой. Смотри у меня! Говори прямо. Не люблю я лукавства. Сам честен и прям, так хотел бы, чтоб и люди все были такими же. О, господи! Как душа истосковалась о правде!

Грязной опять взялся за кувшин. Напил. Перекрестился.

— Вот тебе, батюшка Никита Борисыч, крест, коли я когда-либо кого обманывал! За прямоту, за свою совесть я и стражаю. Спроси мою жену, супругу мою верную. Лучше камень бы на шею я надел да в воду канул, нежели неправду сказывать либо обманывать кого.

Колычев замахал руками:

— Верю! И так верю! Не крестись. Жёны нам не указ. Ты видел мою жену, когда был у нас? Видел?

— Плохо что-то помню. Да, как можно нашему брату на боярынь глядеть? Не осмеливался я...

Колычев тяжело вздохнул, сумрачно склонившись над крепко сжатым в ладони кубком:

— М-да! Жена. Агриппинишка... Чай, с тоски обо мне там теперь высохла!.. Любит она меня, а уж как верна, предана мне. Если бы не эта проклятая война, никогда бы я не сложил ее. Дитё ведь у нас должно народиться. Дитё! Чудак, не понимаешь ты! О, скоро ль кончится сия проклятущая война!

— Да, от войны сей многие учинились несчастья!— вздохнул Грязной.

— Ой, не говори!— с досадой махнул рукой на него Колычев.— Не говори! Пагуба она для нас, для русских... И что вздумалось батюшке...

Колычев сильно закашлялся.

— Пагуба? Стало быть, Никита Борисыч, попусту государь воюет Ливонию? Не так ли? И я так думаю— успели бы...

— Успели бы, сынок! Отдохнуть бы надо. Пожить бы, повеселиться, а уж коли руки чешутся,— колотить бы нагаев либо татар. Все бы легче было, чем с немцами. Бог с ними со всеми и рыцарями! Без них тошно жить на белом свете. А уж коли войны-то не было бы— разутюжил бы я тебя в ту пору, как бы я тебя ублажил! Господи!

— Так-то, стало быть, боярыня сынка должна тебе принести?— засмеялся Грязной, снова наливая вина.— В таком деле испить палобно чарочку за будущего сына... за отпрыска именитого колычевского рода!

Василий поднял свою сулею.

Колычев, чокаясь с ним, тихо произнес:

— Дочь ли, сын ли, за все приношу великое благодарение всевышнему... Не забыл он нас, милостивец!

Оба разом, с особым усердием, опорожнили свои сулеи.

— А что война?— продолжал раскрасневшийся от вина, сильно захмелевший Колычев.— Богу она в пользу? Кто ей радуется? Боярам мало корысти от нее...

— Но... государству?— робко всталил свое слово Грязной.

— А кто государство? Мы!— Колычев с гордостью ударил кулаком себя в грудь.— Мы— бояре, бодрская дума...

Грязной притих, наострив уши.

— А ныне...— тяжело вздохнул, помотав головой, Никита Борисыч,— видите, мы не нужны стали... Все делает сам государь. И жалует, и милует, и наказует, и войны, и всякие дела учиняет— все опречь нас... Раньше царские милости в боярское решето сеялись, теперь нет уж... Царя своего может сделать столыпником, а столыпника царем... И все без нашего ведома. Так-то не бывало раньше. Вот что, милый мой Василий Григорыч! Говорю с тобой, как с другом. Дай, облобызаю тебя. Уж больно ты занятен, лениш тебя побери! Орленок! Настоящий орленок!

Колычев крепко сжал в своих объятьях Грязного.

— Говорю тебе, Вася, а сердце плачет... Убьют меня на войне, чую сам, а вотчину мою разорят, разграбят разбойники, мужики... Агриппинишка... Ой, лучше и не думать, что с нею учинят. Наливай, Вася, еще. Все одно. Прощай царь, да милостив бог. А уж как меня обидел царь!.. Господи!

Грязной сочувственно покачал головой.

Колычев уставился на него слезливыми, какими-то безумными глазами.

— Клянись! Целуй крест, что никому про то не скажешь!— и он вынул из-за пазухи большой золотой крест и дал его поцеловать Грязному. Тот с великим усердием облобызал крест и поклялся держать слова боярина в тайне.

Колычев тут же рассказав Грязному о том, как над ним надругался царский шут, и о том, как его сам царь хотел схватить в подвале под своим дворцом.

Грязной, слушая, прослезился.

— Неужто сам царь? И неужто у него под дворцом застенки? Да не может того быть!

— Верь мне, Вася! Ее-богу, не лгу. Говорю, как перед богом!

Расстались поздно ночью, по-братски долго обнимались и кланялись друг другу.

Но только что вышел Грязной на волю, как

в шатер ввалился, тоже слегка хмельной, друг Колычева, боярин Телятьев.

— Милый! Микитушка! И ты не спишь?

— Где тут, Степа? Нешто уснешь.. Всю душу развели царевы обиды.. Брр-р! Зверь, а не царь! Васька Грязной, дворповый прихлебатель, только что у меня был. Ну и сукин сын!

— Микита! Родной! А я-то!.. А мне-то! Легко ли перенести мне мою-то обиду? Погляди на мою харю — словно сажу чорт в кровь напустил. Какие пятна получились. И после этого царь меня же на простого мужика променял. Ты хоть за боярский круг снес обиду, что тайны боярской не выдал, а я за что? Ведь и меня царь хотел убить... Спать я не могу, как вспомню то проклятое ядро, что царь-батюшка на верную погибель мне, боярину, зарядить в пушку велел.. Нешто он не знал, что разорвет пушку? Знал. Заведомо велел зарядить, чтоб меня убило... А холопа деньгами одарил. За ребра бы его, на крюк нужно было вздернуть, сукиного сына, а царь его ефимками наградил. А? Ну не обидно ли это? Князь Курбский за меня тогда заступился. Будто бы велел холопа выпороть...

Колычев, слушая друга, заснул. Голова его низко опустилась на грудь. Мясистые губы вылезли из-под усов, пьяный дремотный шепот повис на них.

Телятьев, вытирая ладонью потное, слезливое лицо, продолжал:

— Чем мне успокоить совесть свою? Убить того холопа, благо он здесь в войске? Заколоть его невзначай, коли случай к тому явится? Помоги мне, господи, покарать раба злого, недоброго, яростию хищною увитого! За чем ему после такого греха жить на белом свете? Уж лучше боярин пускай живет, нежели подобная тварь. Господи, услыши молитву мою! Микита, да очнись! Доброе дело я задумал! Слушай!— дернув за рукав спящего Колычева, крикнул Телятьев.— Казнить я задумал того парня царю наперекор... Лучшего пушкаря его, им одаренного, в могилу свети... Микита, вот-то будет дело... Убью пушкаря, ей-богу! Подкупило бродяг... Слышь? Пьяный осел!

Но напрасно Телятьев держал то за рукав, то за бороду своего приятеля,— не просыпался. Зато притаившийся около шатра Василий Грязной слушал боярина Телятьева с великим вниманием и удалился только тогда от шатра, когда захрапели оба боярина.

С утра воздух, пропитанный густым, словно раскаленное масло, зноем, душил — нечем было дышать. К вечеру все небо закрыла громадная, иссиня-бурая, чешуйчато-слои-

стая туча. Вдруг потемнело крутом. Налетел ураган с востока, с песчаной стороны, срывая шатры, поднимаемая в воздух не только полотнища, сено, солому, балки и доски, но и телеги со всяким добром, разметывая все это по полю. Под напором ветра валились осадные башни набок, роняя пушки и пищали. Глаза слепил песок, носившийся чудовищными воронками по полям и взгорьям. Бюи бешено срывались с привязи и в испуге бежали из лагеря.

Хлынули потоки ливня, заливая орудия, топя в глубоких лужах бочата с зельем, ядра, пронизывая насквозь одежду людей.

В стане московского войска произошло замешательство. Этим воспользовались укрытые в бойницах ливонские пушкари и стали палить по московскому лагерю. Каменные ядра падали в лужи, обдавая ратников мутными гребнями воды и грязи. Огненные ядра с злобным шипением шлепались, медленно угасая. Молнии давали возможность сидевшим в башнях ливонцам метко пристреливаться к наряду и обозам.

Андрейка, насквозь промокший, и его товарищи ловили доски в потоках луж и покрывали ими свои пушки, ложась на орудия и на обмотанные полотнищами ядра и ящики с зельем, чтоб помешать ветру и дождю. При вспышке молнии парни увидели мчавшихся верхом двух всадников, и как будто бы один гнался за другим. Показалось Андрею, что один из всадников упал наземь, а лошадь поволокла его по земле. Быстро соскочил парень с места, оставив свой наряд на товарищей, и побежал туда, где упал всадник. Опять блеснула молния. Андрей ясно увидел человека, распростертого на земле. Шлем с него был сбит и валялся невдалеке.

— Господи Иисусе!— прошептал Андрей, склонившись над лежавшим на земле человеком. При свете молнии рассмотрел он кровь, сочившуюся изо рта этого человека, борода его тоже слиплась от крови. Андрей окликнул проходивших мимо двух воинов. Подняли лежавшего без чувств ратника, понесли к воеводам в шатер; по одежде можно было опознать в нем человека знатного рода.

Присмотревшись к нему, Андрей остолбенел.

— Ужель боярин?

— Какой боярина?— спросил кто-то из ратников.

— Колычев! Он и есть!

Андрей достал баклажку с водой, обмыл на ходу лицо боярина, влил ему в рот воды.

— Господи! Ужели убилися?

Вошел с фонарем в руке князь Курбский, нагнувшись над раненым.

— Микита Борисыч!— Курбский снял

шлем и перекрестился.— Никак кончается? Голова рассечена... Не то острым камнем, не то саблей...

Андрей рассказал, как было...

На двадцатый день осады башня была сбита. Андрей со своими пушкарями пробил стену, а туры подошли совсем вплотную к городским укреплениям, и стрельцы стали метко из-за них обстреливать внутренность города.

Жители в ужасе побежали в замок. Улицы опустели. В ворота хлынули московские воины. Теперь оставалось взять самый замок.

Начался обстрел последнего укрепления Нейгаузена.

Тридцатого июня с утра толпы московских ратников, неся на головах мешки с песком, лестницы, прикрываясь железными щитами, с криками, со звоном, лязганьем железа двинулись на штурм города. Пешие и конные полки оцетивались целым лесом копий и буйным потоком стали насаждать на городские укрепления. Шквалом обрушился на город, на замок огонь многочисленных русских пушек.

В городе начались пожары.

В полдень Нейгаузен был взят.

Вечером из замка, охраняемого стрельцами, на своем боевом коне, в одежде простого воина, выехал отважный командор Уксиль фон Паденорн.

Стоявшие по бокам дороги у замка русские воины и воеводы в молчаливой почтительности пропустили Уксилья со свитой, оставив им оружие.

Все жители Нейгаузена, не присягнувшие московскому царю, получили разрешение идти, куда пожелают.

Воеводы поднялись.

Полковые трубы возвестили «сбор».

Андрей быстро побегал в стан.

Даточные люди озабоченно суетились около обозов, впрягали копей, свертывали шатры, седлали скакунов для своих начальников, взваливали чаны, кадушки на телеги. Воины разбирали составленные горою копыя и рогатины, перебрасываясь веселыми шутками и прибаутками.

Пушкари сошлись у своих телег с пушками. Осматривали орудия, заботливо протирали, смазывали их.

Зеленые приказчики осторожно устанавливали на телегах, наполненных сеном, бочки с зельем, обкладывали их снаружи мокрыми кожами, старательно, со всех сторон, укрывая зелье от палящих лучей солнца.

Снова заскрипели, завизжали колеса. Высокие движущиеся башни тихо покачивались с боку на бок; из окопниц выглядывали пушки и пищали да внутри распевали ратники.

Из ворот замка выехали Шуйский и Троекуров.

Войско построилось в походном порядке. Во главе каждого полка — его воеводы. Ертоульные поскакали опять впереди всех.

Боевые трубы и рожки дали знак к походу.

Направление взято было на север, вдоль берега Чудского озера, чтобы держаться ближе к воде.

На замке Нейгаузена взвился московский стяг с двуглавым орлом. Его подняла оставленная в замке стрелецкая стража.

Решалась судьба самого важного дела, порученного воеводам Шуйскому и Троекурову царем Иваном Васильевичем, — покорение псковни враждебного Москве, нарушителя взятых на себя обязательств, дерптского епископства.

Между Москвою и Дерптом сотни лет тянулась распря. А в последние десятилетия Дерпт был особенно дерзок и временами проявлял явно враждебное отношение к Москве.

По договору с Иваном Третьим, дерптский католический епископ обязывался оказывать свое покровительство православным, жившим в «русском конце» города, — церкви их держать «по старине и по старинным грамотам». Но ливонские рыцари и богатые граждане, да и средний обыватель, норовили всячески утеснить русское население под видом борьбы с православием. Многих русских они хватили в церквях и на улицах и бросали их в темницы. Там их пытали, жгли огнем и железом. Однажды, по приказу епископа, немцы спустили в прорубь под лед на реке Эмбах семьдесят три человека русских, не пощадив даже матерей и грудных младенцев. Не лучше стало и тогда, когда на смену католицизму явилось лютеранство. Все это хорошо было известно Москве. Обиднее всего, что это беззаконие творилось в старинном русском городе, присвоенном немцам и вместо Юрьева названном Дерптом. Никак не могло примириться с этим насильем русское население соседнего Псковского края, и часто оно обращалось с жалобами на ливонцев в Москву, к царю.

Поэтому, когда началась война с Ливонией, Иван Васильевич свой гнев обратил в большей степени на Дерптское епископство.

Обо всем этом, по приказу Шуйского, сотники в полках и рассказали ратникам, кото-

рые поклялись отомстить немцам за их насилие над русскими в Дерпте.

Было получено известие, что магистр Фюрстенберг, узнав о падении Нейгаузена, пожег свой лагерь и бежал из Киррумпа, местечка близ Дерпта.

Вскоре войско Шуйского увидело в поле большой отряд всадников с обозом.

Татары под началом Василия Грязного бурею налетели на этих всадников и гнали их до самого Дерпта. Взятые в плен немцы рассказывали, что отряд был послан дерптским епископом в помощь магистру, стоявшему в Киррумпе, но так как магистр не захотел сражаться с русскими и отступил, то и всадники епископа решили вернуться в Дерпт. Русские захватили большой обоз с пушками, военными припасами и продовольствием и вернулись снова к своим главным силам.

Воеводы без боя взяли город Курелавль в десяти верстах от Киррумпа. В этом городе были оставлены две сотни с двумя стрелецкими головами «для бережения».

По пути следования войска из городков, замков, сел и деревень выходили латыши — городская беднота и крестьяне — и добровольно отдавались в подданство русскому царю. Воеводы приводили всех их к присяге. Некоторые даже становились под знамена русского войска, желая участвовать в походе против немецких владык.

IV

Днем и ночью на стенах и башнях Дерпта изнывали латышки епископа в мучительном ожидании появления московского войска.

Вокруг города и в предместьях, между гостинным двором и замком, копались в земле отогленные до пояса, потные, загорелые русские пленники и латыши, согнанные сюда из соседних деревень. Под присмотром ландкнехтов рыли новые окопы и рвы. Особо много трудились над возведением укреплений у величественного здания собора епископа, по ту сторону реки Эмбаха, среди поблекших от зноя садов и огородов. Сам епископ руководил работой. Собор готовился к отчаянной обороне. Сюда свозились бочки со смолою, пушки и кадки с водою — на случай пожаров.

Тревога парастала с каждым часом. Вдоль городского рва, наполненного зеленою вонючею водою, где находились кузницы и всякого рода мастерские, расставляли пушки. Высокие, серые, узкие дома были набиты вооруженными жителями.

Река Эмбах плавно катила свои воды среди застроенных домами и покрытых садами и огородами берегов. Дерпт слыл крупным

торговым городом. Через него с востока шли товары в Ригу и другие приморские города Ливонии. Своим богатством он славился на всю Ливонию.

По реке медленно подплывали к Дерпту плоты и ладьи с оружием и продовольственными припасами из ближних замков и селений. Дерпт — важнейшая крепость — прикрывал собою путь к сердцу Ливонии, к Риге, поэтому Рига не поскупилась на посылку оружия и продовольствия дерптским жителям. О военной помощи людям пока шли только дружественные переговоры. Вельможи и купцы дерптские потихоньку ворчали на магистра, на всю Ливонию. Многие стали соображать, как бы, навьючив на коней наиболее ценное имущество, золото и драгоценности, незаметно уйти из крепости в более безопасное место.

Масла в огонь еще подлили дворяне, приискавшие из-под Киррумпа в Дерпт с расстрепанными знаменами, на взмыленных конях и без обоза, брошенного на дороге, в добычу русским.

Прискакали, да и то не все. Бегство было такое поспешное, что и не заметили они, как товарищи их попали в плен. К ним бросились с расспросами, а они отдышаться не могут, твердят, как помешанные, одно: «Москва! Москва!»

С глубоким огорчением в Дерпте узнали, что магистр, так много кричавший о непобедимости рыцарей, не оказал никакой помощи Нейгаузену, что и сам он до крайности напуган победою русских, — недаром отступил в глубь страны, к городу Валье.

Теперь омрачились не только обыватели, но и вся городская знать. Видно велика сила московского войска, коль сам магистр не решился вступать в бой. На всех перекрестках рыцари втихомолку осуждали своего Вильгельма Фюрстенберга и очень обрадовались, когда узнали, что на место Фюрстенберга выбран новый магистр — молодой храбрый рыцарь Готгард Кеттер.

Легче от этого, однако, не стало.

Гроза надвигалась. Русских всадников уже видели в окрестностях Дерпта. То были ерзульские Шуйского, посланные разведать о местонахождении магистровых полков. Слухи в городе посыллись самые страшные. Беглецы из Нейгаузена рассказывали о несметных полчищах москвитов; говорили, что в русском войске тысяч триста человек, что в Нейгаузене ими перебиты все жители и что сила русских день ото дня увеличивается.

Однажды утром крестьяне принесли епископу в замок письмо от князя Шуйского. Предлагалось сдаться на милость царя, при-

саянув ему в подданстве. Была и угроза: «Если не сдадитесь, сами возьмем, будет хуже!»

Из ближних усадеб в замок набивались толпы вооруженных дворян и охотников. На людях и смерть красна, да и надежда на помощь гермейстера все же не покидала. Как-никак, страшновато сидеть у себя в фактории, и не только русских боязно, а и своих черных людей. Зуб имеют они против господ. Шатание в крестьянах началось явное. Многие еще до этого уехали в московский стан, покидая своих господ.

Что же делать? Какой ответ дать князю Шуйскому?

Пошумели, покричали, побряцали оружием — стало веселее. Согласиться на предложение московитов? Позор! Мы им покажем! Они еще нас не знают! Отказать! Отвергнуть! Разве мы не немцы?!

С башен епископского замка увидели черную точку вдаль. С каждым часом она становилась все ближе и больше, разветвляясь в длинную черную ленту. Вскоре можно уже было различить осадные башни, коней, людей, телеги с пушками.

Поднялась тревога. Загудел набат. Во всех уголках слышался полный ужаса шопот: «Москва!» Матери с младенцами набились в замок, попрятались в его каменных подвалах.

В окрестностях воздух был пропитан дымом от лесных пожаров, и московское войско в желтой удушливой мгле то скрывалось из глаз, то снова появлялось. Шло, надвигалось властно, неотразимо.

День клонился к вечеру. Епископ не велел зажигать огней. Этим воспользовались многие из дворян. Они собрали все свои деньги и драгоценности и, подкупив стражу, во-время сумели исчезнуть из замка.

Одиннадцатого июля на заре московское войско вплотную подошло к Дерпту и обложило его со всех сторон. Ловко заработали «гулейные» люди, расставляя осадные башни и щиты «гуляй-города» совсем вблизи Дерпта. Чешуйчатой лавиной двигались московские ратники в обход крепости, оцетинились густым лесом холмов. Твердым шагом, безо всякой суетливости ходили между рядами ратных людей спешившиеся воеводы, обсуждая порядок осады. У Шуйского в руках был план Дерпта, в который воеводы то и дело заглядывали.

Утомившись, князь Шуйский сел у своего шатра и стал переобуваться, разматывая портянки.

— Убери, Мирон, сапоги... Посажу босой... Пушай нога отдохнет.

Пробежавшие и проезжавшие на конях мимо шатра люди низко кланялись князю, некоторые останавливались, докладывали ему об исполнении его приказаний. Он смотрел на них исподлобья, начальнически.

— Э-эх, кабы нам деньков бы в десять тут управиться!.. — вздохнул Шуйский, протирая портянкой пальцы на ноге.

Мирон, рыжеусый, рябой казак, улыбнулся:

— Дай, боже, трое разом: щастя, здоровья и души спасенья.

— Каждую крепость тебе бы «трое разом»! — рассмеялся Шуйский. — Вона, гляди, она какая! Это тебе не прежние...

Первым открыл стрельбу Дерпт.

Шуйский стал босыми ногами на землю. Покачал головой.

— Вот те и «трое разом»! Гляди! — он усмехнулся, проворчав: — Круто тнут, не переломилось бы. Знаю я немцев, любят петушиться... Ух, какие задористые. Пускай побалуют, потешат себя, а мы игру закончим. Испокон века водится так.

Подъехал верхом на белом коне князь Курбский.

— Переняли дворян, убежавших из крепости, — сказал Курбский, дергая за повод коня, гарцуя на месте. — Пять сотен пушек у рыцарей, — указал он кнутовищем в сторону Дерпта, — а у нас три сотни.

Шуйский нахмурился.

— С такими дворянами и тыща пропадет бестолку... Пусть их, не держи... Пушай гуляют! Торопиться не след... Обождите лезть на замок... Скажи там дяде Феде!.. Обождем. Дайте им позабавиться! Валы насыпайте по росписи. Последи, Андрей Михайлыч, чтобы порядок соблюдали.

Посошные люди невозмутимо работали заступами и лопатами, возволя валы, где им указали воеводы, для осадных пушек. Уребты валов усыпали щебнем и камнями, уминали трамбовками. Пушкирни втаскивали на них колоды, ставили орудия. Главные силы русских войск расположились против ворот «святого Андрея». Отсюда легче было пройти в замок.

В этом месте собрали большую часть наряда и поодаль нарыли глубоких ям для отневых запасов. Накрыты те ямы досками с дерном и мокрыми овчинами, чтобы «от порохового, исходящего от пушки, духа и от непрестанно горящих фитилей безопасно быть».

Петр Иванович сапоги отбросил. Велел Мирону обуть его в лапти. Мирон живо раздо-

¹ Другой главный воевода — Федор Иванович Трескуров.

был олучи и лапти, быстро и ловко обул воеводу.

— Коня!

Появился конюх, ведя под уздцы послушного вороного, широкозобого, мохнатогого жеребца.

— Эк-кий зверь!— залюбовался своим конем Шуйский.— Ну-ка, братцы, помогите!

Конюх и Мирон посадили воеводу. Опытным взглядом полководца князь осмотрел свое войско, облеглае кругом городские стены.

— Ну, господи благослови!— сняв шлем, широко перекрестился Шуйский.— Покормил быка, шуба кожа была гладка! А теперь его в котел.

Андрейка, устраивавший на колодах (станках) на валу свои пушки, оглянулся. Кто-то его окликнул. Ба! Сам воевода!

— Вот что, добрый человек, ты, я вижу, меток... Полно тебе, как баба с тряпьем, тут возиться... Наведи-ка, господи благослови, вон на ту, на кругленькую... больно уж бедова! Сама на тебя глядит! Бей, да побойстее! Пушка хорошо поставлена, будь меток.

Шуйский указал обнаженной саблей на одну из городских бойниц-башен.

Андрей деловито нахмурился, стал подводить дуло. Выстрелил.

На глазах у Шуйского сбило огненным ядром полверхушки башни, посыпались кирпичи, задымил, зачадил...

— Гоже, молодчик!— приветливо улыбаясь, крикнул Андрею Шуйский.— Любо смотреть!— и поехал дальше, вдоль туров.

После того поднялась пальба по всей линии московского войска.

Андрей, каждый раз закладывая новое ядро, горделивым взглядом окидывал родное войско. Везде мокрые от пота рубашки на спинах ратников, усердно осыпающих крепость стрелами и пулями. Конники свели в табуны своих коней поодаль. Сами, укрывшись за турами, за «гулевыми» щитами, начали тоже палить из пищалей и пускать стрелы внутрь города.

Дерпт отвечал обильною пальбою из пушек.

Одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого июля продолжалась непрерывная стрельба с обеих сторон.

Неоднократно распахивались городские ворота, и немецкие кнехты, под командою храброго рыцаря, бургомистра Антония Тиль, бросались на русские укрепления. Под напором звеневшей железом, бурно наседавшей толпы русских немцы, отбиваясь, снова отступали в город.

Четырнадцатого июля Петр Иванович при-

казал войску поднять валы еще выше, сделать их так, чтоб видно было нутро города и чтоб вернее было брать наводку на обывательские строения. Снова закипели земляные работы. Умолкли пушки. Пошли в ход заступы и лопаты. Обнаженные до пояса, запыленные, волосатые бородачи работали азартно, соперничая друг с другом.

— Вот мы тут копаем...— сказал один из мужиков, подмигнув глазом,— а там,— кивнул он на крепость,— сидит Микит и свозы стены глядит...

— Уж ты не позавидовал ли тому Миките?— пошутил Андрей.

— Всяк своему дому поровит, а коль у них дела нет, пушай сидят... ожидают... За нами дело не станет...

Послышался окрик просевшего стрелцего сотника:

— Гей, вы, ратнички! Поспешите!.. Время! Чего болтаете?

Валы были быстро подняты еще на пять локтей против прежнего. Стали видны дощатые и соломенные крыши домов.

Сигнальные рожки, набаты дали знать о начатии нового штурма. Андрей видел, как с толпою отважных конников, несаясь впереди всех, выскочил с саблей в руке Василий Грязной к воротам замка, как начали там перебрасывать громадные доски через ров.

О русских пушках в городе говорили с ужасом.

А тут еще рыцари поймали несколько человек, заподозренных в тайных сношениях московским воеводой. За них стали было заступаться некоторые бюргеры. И тех, и других бросили в тюрьму, стали мучить. Огнем и плотью выштыли. Оказалось действительно,— сторонники присоединения Ливонии к Московскому государству. Некоторые из них много раз возили товары в Москву. Они поминали имя Крумгаузена. До поры до времени таились, прикрывались, а во время осады пошли в открытую. «Чем мы хуже нарских кушцов?»— говорили они.

Плохо было на душе у жителей Дерпта.

Вернулись из лагеря гермейстера под Валком гонцы. Ночью с опасностью для жизни прокрались в город. Принесли письмо гермейстера, который писал:

«Очень сожалеем о печальном состоянии города Дерпта, а равно и о том, что дворяне и ландзассы покинули своего господина, епископа: это не делает им чести. Постоянство епископа и почтенного гражданства очень похвально. Желательно, чтобы все остальные исполнились такого же геройского духа и записали бы город мужественно. Я бы очень желал оказать городу помощь,

но изо всех сведений мне известно, что у неприятеля большая сила в поле, и потому я не в состоянии вступить с ним вскорости в битву. Остается мне усердно молиться за вас богу и помышлять денно и нощно об умножении своего войска...»

В подземельях замка ходило по рукам это письмо, а на кровли домов, на улицы сыпались огненные и каменные ядра, пули, стрелы.

Деревянные стены и кровли загорались, обваливались. Целый день и целую ночь яростно ревели русские пушки, грохали падающие в город ядра, так что людям трудно было слышать друг друга. Гудела земля, металось эхо взрывов по пустынным улицам и между башен.

.....
Настало солнечное утро шестнадцатого июля. Московские пушки разом замолкли, но грохоты их выстрелов все еще продолжали звучать в ушах. Не верилось, что пальба москвитов кончилась. И только когда перед воротами Дерпта стража увидела смело шедших к крепости нескольких русских с белым знаменем мира в руках — осажденные поняли, что Шуйский хочет начать переговоры о сдаче крепости.

Посланцы Шуйского передали страже грамоту с условиями, на которых должен сдать-ся Дерпт.

Совет городских общин принял эти условия; отрядил нескольких старшин совета к епископу просить о принятии условий воеводы. Они находили их достаточно мягкими. По мнению старшин, московитский начальник — муж добрый, благочестивый и ему можно довериться, хотя черномазый, глазастый, похожий на цыгана, молодец, вручавший страже грамоту (Василий Грязной), и не внушал особого доверия.

Магистрат города предложил собраться всем членам совета и их старшинам в залах замка. Там было разъяснено собравшимся, в каком безвыходном положении находится город. Была прочитана и грамота Шуйского и безотрадный ответ магистрата. Начальник гарнизона заявил, что у него слишком мало людей, чтоб защищать замок и город. Борьба беспелна.

Протестантские проповедники прислали из своей среды двух человек; они тоже были согласны на перемирие, но только просили магистрат при заключении договора с Шуйским обеспечить сохранность и безопасность протестантских церквей.

Два дня длились горячие споры. Большинство было за сдачу, — возможно ли сражаться с такою силою, какая у московита?

Шуйский, услышав о несогласиях в зам-

ке, объявил, что он никого не принуждает силою принимать подданство царю. Каждый может жить так, как он хочет. Те, которые против Москвы, могут безопасно выйти из города и удалиться, куда им угодно. Московское войско не будет мешать. Те же, что захотят перейти в русское подданство, пускай остаются со своим имуществом на месте. Никакого худа им причинено не будет.

Ровно в восемь часов утра восемнадцатого июля князем Петром Ивановичем была утверждена перемирная грамота. Отворились городские ворота.

Первым выехал епископ. Он избрал путь к городу Фалькенау. Его сопровождала охрана численностью в двести всадников. Епископ плакал, благословляя из своего возка провожавших его горожан.

За епископом потянулись нагруженные до краев обозы бюргеров с женщинами, детьми, с домашним скарбом, со скотиной. Шествие замыкали обезоруженные кнехты.

Для охраны ливонцев Шуйский выделил сильный отряд детей боярских и стрельцов. Они должны были проводить граждан Дерпта до Фалькенау.

Когда ливонские караваны медленно, подняв клубы пыли, ушли на запад, Шуйский потребовал, чтоб к нему явились из замка бургомейстер, ратманы и выборные от городской общины для проводов его самого с подобающим почетом в город.

В стан воеводы вскоре прибыли в повозках и верхами представители оставшихся властей Дерпта, среди них лица римско-католического духовенства. Они почтительно кланялись Шуйскому и всем другим воеводам, выражая полную покорность и готовность честно служить Москве.

После того московские отряды тронулись в путь. Впереди поехал один из воевод с мирным знаменем. Громким голосом он кричал встречавшимся по дороге немцам, чтоб они жили в городе спокойно и ничего не боялись. Лицо его от натуги было красное, потное, глаза блестели властной усмешкой, вся его, прямо сидевшая на коне, широкая фигура говорила о том, что он посланник победителей.

За этим воеводой последовал другой воевода, во главе отряда детей боярских и дворян. Им приказано было занять замок.

Третий воевода поехал со стремянными стрельцами, чтобы расставить караулы на улицах, рынках и на стенах города.

После занятия города в замке торжественно, под гул труб и набатов, тронулся в путь верхом на коне и сам князь Петр Иванович Шуйский со своими товарищами, воеводами Троекуровым, Курбским и Адашевым.

Член капитула Ордена в белой мантии с крестами, ратманы и выборные от городской общины поехали впереди князя. Они, как хозяева, показывали Шуйскому дорогу и делали знаки руками, что они отдают во власть московского царя город и замок.

У городских ворот Шуйского встретили члены капитула, посланные от магистрата и общины, и, одерживая рыдания, подносили ему на серебряном блюде ключи от города и замка.

Обыватели, видя доброе отношение к себе московских воевод, с любопытством разглядывали въезжавших в город русских воинов.

Тут же бирюжи возвестили населению о том, что князь-воевода запрещает кому-либо, под страхом смерти, обижать мирных жителей. Бюргерам и торговцам строго-настрою было запрещено продавать русским воинам вино и другие напитки, в предупреждение несчастий.

Ратников разместили в замке, в садах и в опустевших домах, брошенных жителями.

Двух московских ратников, по приказу Шуйского, позорно выпороли на площади за то, что они присвоили себе оставленные жителями в одном из домов серебряные кубки. Ничего брать самовольно в домах Дерпта русским воинам не разрешалось. За этим особо следили люди, назначенные Шуйским.

Князь поручил нескольким боярам со стрельцами объезжать улицы города и предместья, забирать нетрезвых и всех, кто вел себя «неподобающе». И тех и других арестовывали.

В государеву казну собрали по городу и замку такие богатства, что Шуйский невольно воскликнул:

— Дивлюсь неразумности людей! Да это-кое богатство давно бы с лихою покрыло дань, которую требовал у Ливонии царь!

У одного только дворянина Фабиана Тизенгаузена, по доносу горожан, было отобрано восемьдесят тысяч деньгами, то есть на двадцать тысяч более суммы дани.

Когда Петр Иванович окончательно обосновался в замке, магистрат и община прислали ему в подарок корзину с вином, пивом и разными другими припасами; прислали свежую рыбу и зелень. Все это он сначала дал попробовать людям, которые доставили ему припасы. Шуйский объявил представителям магистрата, чтобы со всякой жалобой на ратных людей жители обращались прямо к нему. Он сумеет наказать виновного и защитить невинного. А спустя несколько дней он пригласил к себе в гости весь магистрат, общину, эльтерманов, старшин и угостил их обильным дружеским обедом.

Воевода Шуйский приказал Дерпт считать

русским и называть его по-старому — городом Юрьевым.

.....

Весть о падении неприступного, хорошо вооруженного Дерпта напугала всех его соседей. Первым бежал из своего замка Витгенштейн фогт Берент фон Шмертен. Он бежал без оглядки со всей своей дворней, оставив совершенно открытым хорошо защищенный кренкими стенами и крупными орудиями замок. За ним стали бросать свои владения и другие фогты. Зажиточные граждане оставляли все свое имущество и в страхе бежали куда глаза глядят.

Зато «черные люди» — латыши и ливы с большою радостью встречали в деревнях и селах продвигавшихся дальше московских воевод и ратников. Воеводы обещали им защиту и поддержку царя всея Руси Ивана Васильевича, который знает о всех них — латышах, эстах и ливах, и печалуетса об их горькой участи под лихою властью жестоких орденских владык. Шуйский помнил наказ царя и всемерно стремился привлечь на свою сторону черный, подневольный люд.

Он созывал их на работу: рыть окопы, насыпать валы, ставить частоколы, где требовалось. Оплачивал их труды щедро, давал хлеба, соли, мяса.

По войску вышел приказ: отнюдь не чинить в селах и деревнях никакого угнетения крестьянам. Виновным грозила смерть.

Василий Грязной прочитал этот приказ пушкарям.

Не всем он пришелся по душе. Особенно тем, кто до завоеванных девок и баб был охоч.

Андрей спорил с товарищами, втихомолку роптавшими на воеводскую строгость.

— Не от себя приказывает воевода — царь так велел! — сердито заявил Андрей, поглядывая в сторону Василия Кречета. Этого было довольно, чтобы все присмирело.

V

Ревель.

Ночные сторожа (Nachtwachter'ы) уже просвистели два часа.

Неширокие, ломаные и гнутые улицы; узкие многоэтажные дома с высокими фронтонами под крышей, с выюпными лестницами, с колымаж ворот для постукивания вместо колокольчиков, с окнами во двор; небольшие площади с фантанами объаты густым зеленоватым мраком безлунной приморской летней ночи.

Древние башни револьских твердынь, поросшие на уступах мхом и кустарником, грозными теньми высятся над окрестностью. На гребнях городских стен осторожно пере-

кликаются караульные кнехты. А совсем рядом шуршит сдержанный ропот седых морских волн, омывающих гряды подводных камней близ рейда.

Изредка в тишину ночи врывается тяжелый ляг цепей подъемного моста, опускаемого к ногам нетерпеливых всадников, звонкая дробь взбегавших коней по зыбким железным перекладинам громадины-моста, снова скрип цепей и опять тишина и несомлажаемый ропот морских волн.

Недалеко от Рыцарского дома в небольшом каменном флигеле ратмана Георга Смита, при слабом свете единственной восковой свечи, при тщательно завешенных окнах, происходило важнейшее собрание. Только что прибыл в Ревель из Або от королевича Иоанна, наместника шведского короля Густава в Финляндии, посол Генрих Блассон Горн.

Его лицо, освещенное бледным огоньком свечи, было серьезно. Мужественная самоуверенность чувствовалась во внешнем облике посла и в его манере говорить. Поглаживая рукою в драгоценных перстнях свою рыжую бороду, он с небрежной неторопливостью докладывал, что у Ревеля нет иного спасения от русских, как перейти в подданство финляндскому королю Иоанну. Тонкие, подкрашенные черным брови Горна, необычайно подвижные во время разговора, выразительно подчеркивали значение тех или иных его доводов. Говорил он, что его приезд в сущности не имеет официального значения, что сам король Густав, отец Иоанна, против вмешательства Швеции в ливонские дела, но для Ливонии явится не бесполезным, если шведский король будет больше знать, чем датский, о трудностях, переживаемых Ревелем. Германский император, покровитель Ливонии, находится далеко, и не он вступает за Ливонию, а Швеция и Финляндия рядом. Тот же самый император Фердинанд пишет королю Густаву письма с просьбой заступиться за Ливонию. Он бессильен сам это сделать. А уж кто ближе-то к Ревелю, как не Финляндия?!

Горн, с крошечным сочувствием в голосе, стараясь убедить магистрат Ревеля в том, что истинное желание короля Иоанна клонится к сохранению совершенной самостоятельности Лифляндии, что он не потерпит утверждения в ней какого-либо иного королевства, и особенно Дании. И если ливонские власти не в силах будут отстоять самостоятельность и неприкосновенность Ревеля, то что же остается ему делать, как не отдаться под власть надежного соседа. Что касается короля Густава, то его можно будет уговорить, ибо кто его обижал более московского царя?!

Последние слова Горна произнес с великою осторожностью, шопотом.

При упоминании имени московского царя во всех углах раздались тяжелые вздохи. Громадная, неотразимая опасность, как навязчивый призрак, как страшный сон, вновь со всею силою легла на сознание ревельских правителей.

— Царь!.. Да, царь!..— тихо, с убитым видом, как-то невольно повторил ратман Смит.

Произнесенные им слова странным образом оживили Генриха Горна. Он, не глядя ни на кого и перебирая свои четки, с каким-то не то самодовольством, не то со злорадством, тихо, с улыбкой, сказал:

— Вот вам и варвар, и дикарь!.. Как часто люди тщетно негодуют в то время, когда надо действовать. Московит обязан своей силой не тому, что он варвар и дикарь... Нет! Он заставляет всех удивляться своей жывой находчивости,— он выстрелил именно тогда, когда ему подставили лоб. Этот дикарь не такой дикарь, как вы думаете; он не глуп, а жестокость его не может затмить в этом славы иных христианских государей... Болтовня про его жестокость уведит королей в сторону от горькой правды...

И вдруг неожиданно он задал вопрос:

— А что делает в Ревеле офицер датского короля Христоф фон Мунихгаузен и его брат Иоанн Мунихгаузен? И почему он именует себя штатгальтером датского короля в Эстляндии, Гаррии и Вирланде? Откуда он такую власть взял? Из чьих рук? Что же говорить о русском царе, когда у вас, в Эстляндии, хозяйничает чужой король?

Один из ратманов робко ответил, что оба брата Мунихгаузена хлопочут о том, чтобы найти денег путем передачи острова Эзеля молодому брату датского короля герцогу Магнусу в епископство. Дания предьявляет свои древние права на остров Эзель. Этим и пользуются Мунихгаузены. Оба они из Эстляндии так же уйдут, не получив от датского короля за услуги денежную награду. Магистр против захвата Магнусом острова Эзель с городом Аренсбургом. Будет борьба между Магнусом и магистром Ливонии.

Горн неодобрительно покачал головой и сердито забарабанил пальцами по столу.

— И вы терпите таких мошенников?

Никто ему не ответил. Страшно было сказать что-либо плохое о Христофе Мунихгаузене. Недаром он марширует со своими кнехтами ежедневно по улицам Ревеля. Каждый знает, с мала до велика, что кнехты, эти ссрви-головы, принесли ему присягу в верности. Среди ревельских обывателей уже ходили слухи о скорой высадке на берегах Эстляндии и войск короля Христиана.

Сам Мунихгаузен объявил однажды во всеуслышание, что он дал обязательство датско-

му королю не допускать в Ливонском ордене перемен, не соответствующих интересам датской короны.

Хитрый посол финляндского короля угадал в этом молчании ревелских правителей трусость, тайно сочувствие своим словам и подавленную обиду ревелцев на датчан.

С этой ночи между Горном и городским советом установились тесные дружеские отношения. Георг Смит дал слово тайно доносить ему все о датских и польских интригах в городе, обдумывал с ним вместе новые политические планы, возникавшие в среде ратманов, делился известиями с театра войны... Ратманы приняли все расходы Горна на свой счет; наперевы один перед другим доставляя ему съестные припасы, заботились об удобствах его жизни, стараясь всячески доказать ему свою искреннюю преданность. В его лице они хотели найти себе полезного сообщника в интриге против датчан.

Горн не сидел сложа руки. Он завел себе сыщиков, которые ходили по площади и рынкам, по гавани, везде подслушивая, о чем говорят между собою ревелцы, какое их настроение. Иногда он лазил на крепостные стены, подкупал кнехтов веселыми беседами и вином, узнавал о вооружении города. Особенно же внимательно изучал Горн торговлю Ревеля, этого богатейшего порта на берегах Балтики. Вскоре у Горна появился, как будто случайно встретившийся в Ревеле, другой швед — Фриснер. Приехал он якобы из Дании, где учился печатному художеству. Мунихгаузен и Фриснер стали прогуливаться по городу и его окрестностям вместе. Всегда веселые, всегда шутливо настроенные, были очень добры к нищим и убогим и поэтому заслужили репутацию «добрых христиан». А что может быть выше этого в глазах верующего ревелского обывателя?

Фриснер оказался художником. Он с большою охотой рисовал стрельницы крепостных стен, дома видных граждан, окрашенные зеленой краской, железные решетки, окружавшие их; тщательно изображал фасады домов, обращенных к морю, усердно обводя черными и белыми полосами, как в натуре, оконные рамы. Готические колокольни, почерневшие главы церквей, аркады ворот — все привлекало его внимание.

Мало-помалу верным слугам Иоанна удалось добиться у ревелских властей симпатии к финляндскому герцогству. Особенно подружились с Горном и его товарищем ратманы города Иоанн Шмедман и Герман Больман.

Часто можно было их видеть в «Розовом саду» на высоком месте у Больших морских ворот, недалеко от городской башни «Длин-

ный Герман». Сад этот был любовно взращен богатыми ревелскими купцами, которые отсюда любовались видом на море и окрестности, а больше всего на свои нагруженные богатыми товарами корабли, плавно, под распушенными парусами, подхлывшими к ревелскому рейду и отплывавшими от него. Сад был обведен невысокою стеною, сложенною из необтесанного камня с прозеленью.

В будни здесь было очень пустынно, безлюдно и поэтому беседа друзей приобретала более приятный, интимный характер.

Оба ревелских ратмана тяжело вздыхали о том, что в происходящей в мире сумятице их родному, свободолюбивому городу ни на кого нельзя опереться, кроме как на Финляндию. Она совсем рядом с Эстонией, и никто не может оказать ей помощи скорее, нежели герцог Иоанн.

Одно смущало ратманов: из Ревеля уехал в Германию фогт города Тольсбурга Генрих фон Колленбах, он ярый сторонник немецкого владычества в Ливонии. Как бы не собрали там войско, да не высадился бы с ним в Ревеле.

Шведы посмеялись над этим — слишком слаба сама-то Германия.

Но вот однажды эта мирная дружная беседа была нарушена тревожным завыванием сигнальных труб.

На площадь к ратуше толпами шовали народ. Туда же почти бегом устремились и финляндские послы. Оказалось, пришло известие о падении Дерпта. Непрístupная крепость, ключ ко всей Ливонии находится уже в руках Москвы.

Воздух огласился плачем, проклятиями.

К великому удивлению ратманов, шведские друзья их встретили это известие не только с молчим равнодушием, но даже и с некоторой долей удовольствия в глазах.

— Так и должно быть! — с дьявольской улыбочкой сказал Фриснер. — Орден заслужил это.

Напутанные падением / Дерпта, ревелцы послали к магистру письмо, в котором писали:

«Мы должны пить и есть, на нашей обязанности укреплять стены города, закупать порох и оружие, занимать кнехтов и стрельцов, средства же наши все истощены; мы много потеряли, послав осажденной Нарве 12 больших орудий, порох и провианта. Каждый день мы должны быть готовы к встрече русских. Отстоять город собственными силами мы не в состоянии. К нам все обращаются за помощью, мы же вынуждены всем отказывать. Раз у человека на руке отбиты четыре пальца, пятому уж нечего делать. Пример Дерпта всего поучительнее. Как

дети, покинутые своим отцом, мы вызываем к вам, ко всем прелатам, господам и дворянам, помогите нам, иначе, доведенные до крайности, мы примем помощь от иноземных государств!»

Это письмо писалось под диктовку датского представителя в Ревеле Мунихгаузена, заранее уверенного, что Ревель теперь отойдет к Дании. Затем письмо было тайно прочитано шведско-финскому представителю Горну, который его вполне одобрил, так как он был твердо уверен, что Ревель отойдет Швеции.

И тот и другой радовались неудачам ливонцев в Нейгаузене и Дерпте и при всяком удобном случае напоминали ревельцам, что ныне граница московских владений проходит совсем недалеко от Ревеля. Всего каких-нибудь сто верст от Тольсбурга, в котором хозяйничают русские.

Торговый богатый город Ревель стал любимым местом для датских и шведских путешественников.

В Ревеле были убеждены, что падение Дерпта — следствие измены епископа! Уже давно многие подозревали его в тайных сношениях с Москвой. Поминали при этом опять-таки купца Крумгаузена и канцлера епископа, уже ездившего тайком от всех в Москву. Говорили, что епископ Герман давно на стороне царя, который порицал ливонцев за измену католичеству и за приятие лютеранства. А епископ — католик. Отсюда все и ведется.

После этого стали искать и у себя, в Ревеле, сторонников царя Ивана. Оказалось, что и тут уж они объявились среди купечества. Хватали некоторых, бросали в тюрьмы. И когда только успел москвит соблазнить столько неразумных людей?! И чем он привлекает их к себе?! Пытали узников и не допытались; кое-кого спустили на дно морское.

VI

Обрадованные взятием древнейшей царской вотчины Юрьева-Дерпта, воеводы послали в Москву к царю с воеводским донесением лучших воинов из боярских детей и дворян, а к ним в придачу и двоих пушкарей. Старшим над гонцами были поставлены Василий Грязной и Анисим Кусков. Попал в число посланных к царю и лучший из пушкарей, Андрей Чохов. На него указал сам Василий Грязной.

Запасшись грамотой, едой, фуражом и копейками, а также захватив с собою связку немецких знамен, гонцы весело двинулись в путь.

Полю был на исходе. Родные луга и поля ласкали глаз. Ливония осталась далеко позади, — теперь была своя, родная, горячо любимая земля!

Грязной дорогой шутил, смеялся, вспоминая про схватки с неприятелем под Нейгаузеном и Нарвой. Видно было по всему, что он с большой радостью вырвался из военного лагеря, что его тянет в Москву. Он подъезжал временами к Андрею и дружелюбно спрашивал его:

— Ну как, добра ли была к народу боярыня?

— Добра и уветлива, батюшка Василий Григорьевич. Любил ее народ.

— Вот, поди ж ты, такому старому барсуку этакая краля досталась. Обидно! Ну, жаль тебе ее, что ль? Как она одна-то там теперь?

— Бог ведает! Плохо, гляди, ей, плохо!..

— Ну, а жаль тебе, боярыня-то?

— Сперва-то было вроде как жаль, а теперь ничего... Господь с ним, с Никитой Борисычем... Лют был, покойник, лют! Что уж тут! Добрым словом едва ли помянешь.

— Хлебородна ли земля-то у вас?..

— Благодарение господу-богу! Жаловаться грешно. Земля добрая.

— Любил ли народ боярыня-то?

— Нет! Нет! Куды тут! — сморщившись, покачал головой Андрей. — Медведь за ним гонялся... Так и думали — прощай боярня! Ая нет! Вывернулся! Бедовый был.

Кусков много молился. Андрею удивительно было такое большое усердие его. Сам Андрей тоже обращался с молитвою к иконе, которую носил в кармане, но Кусков молился на свою икону беспрепятственно, украдкой, стараясь, чтоб не заметили другие. В самом деле, не шуточное дело явиться пред грозные очи царя. Так уж повелось, что у царя очи обязательно «грозные». И то считалось в порядке обычая. «Царский глаз далеко сияет!» — говорили про Ивана Васильевича.

Однажды Кусков заметил, что Андрей за ним наблюдает, смутился:

— Земля плоха округ моей усадьбы... Молюсь, чтоб лучше она стала и умножилась... А ты, парень, о чем молишься?

Андрей большею частью молился о боярыне Агриппине и об Охиме, и чтоб бог простил ему прегрешения его, а им обеим дал здоровья и счастья, да еще о пушке о большой, чтоб ему ее сделать, молился он. Ну, как тут ответишь на вопрос Кускова? Он с любопытством ждет ответа.

— Я и сам не ведаю, о чем молюсь... Так! Обо всем!

Лукавая улыбка заиграла на лице Кускова.

— Молись, чтоб царь был милостив ко мне, — первым человеком сделаю тебя после войны на своей усадьбе. Люблю таких горячих до работы, как ты.

Андрейка вздохнул:

— Ладно, помолось. Ох, ох, господи! Прости грехи наши тяжкие!

Дорогою Кусков не раз начинал размышлять, что он будет говорить царю? О чем его просить? Всяко думал, но, как бы там ни было, он надеялся выслужиться; у него есть о чем донести царю, дабы не было порухи государеву делу. Из бояр кое-кого приметил он. Про царя неладно в лагере судили и его, государеву, волю к войне охаживали, бражничали во Пскове, не хотя идти в поход, и сжижали сложа руки в шатрах, когда надо было врага истреблять; с врагом милостивы были не по чину. Да разве только это?! Слышал он, Кусков, от людей, будто со псковскими и новгородскими купцами бояре тайно сносятся и посулы от них берут! И у самого Петра Ивановича Шуйского рыло в пуху, а уж про его родственничка Александра Горбатого и говорить нечего. Всем им по душе и Новгород и Псков. Любо им, что и по сию пору эти города считают себя выше Москвы, богаче, славнее ее и что дух мятежный, независимый силен там. Со шведами, Литвой и немцами у Новгорода и Пскова старинная дружба. Своенравные, дух независимый и богатство новгородцев и псковичей по душе боярам да князьям. Долго ли тут и до измены! И кто знает, чего ради воеводы так уж милостивы с лифляндскими дворянами и командорами? Правда, царь не приказал учинять насилий в завоеванной стране, но и обниматься с врагами-немцами приказа тоже не было. Нет ли и тут чего? Нет ли какого злоумышления? И что во вред, что на пользу — как понять? Да и татар стали воеводы обижать и над царевичами их насмеяться... И все по злобе к царю.

Многие незнатные дворяне думают то же. Вон дворянин Курицын из Пущечной слободы уже кое про кого словечко молвил. А царь сотником его сделал и ласковым словом одарил, хотя не тронул и тех, на кого слово было сказано.

«Держай, Аписим! Ведь недаром же бояре говорят, что царь «новых» людей ищет, недаром Курбский в шатре говорил Телятьеву, что «писарям князь великий зело верит, избирает их не из шляхетского рода, не от благородна, но чаще от поповичей или от просто-го всенародства, и, ненавидяче (бояр), творит вельмож своих, подобно по пророку глаголющу, хотяще один веселиться на земле». Накипело па душе у бояр. Такие речи не раз вылетали из их уст в походе. Вдали от Москвы язвы и развязались, да еще на чужой-то земле, за рубезом.

«Господь-бог что ни делает — все к лучшему!»

— Эй, Аписим, ты о чем задумался?—

окрикнул Грязной Кускова.— Конь-то у тебя в канаву свалится!.. Не горюй — всем будет, кто чего заслужил: кому чин, кому блин, а кому просто шиш... Не унывай, блин будет!

Глаза Грязного сверкали лукавством.

— Ну, а ты, пушкарь, чего приуныл?— обратился он к Андрею.— Аль о боярыне задумался?.. Грешно! У тебя уж есть... Помнишь? Я к тебе на свадьбу жаловал? Такова была государева воля. Чай, уж все зажило, прошло давно?

Андрей вздрогнул, сердце загорелось гевом, но он сдержался. Обернулся лицом к своему начальнику. В колокольих глазах — мгла.

— Да вот... думал я... не теми бы пушками крепости разбивать. Ужели люди все так и будут долбить хилым боем крепостные стены? Ужели мы сильнее ветра не станем? И сколь велик убыток государю от верхового кидания! Нешто велика честь, коли из десятка ядер осьмерка попусту перескакивает... Вон под Дерптом бапню разбивали, срамно думать о том! Пять десятков ядер и каменных и огневых полбашни насилу расклевали... Гоже ли это?

— Ишь ты о чем! Мудрить грешно. Будь доволен малым — над многими тебя поставят, — рассмеялся Василий Грязной.

— Оно так! — через силу улыбнулся Андрей.— Да вот море-то веслом не вычерпашь, токмо воду замутишь. Шуму много, а толку мало.

Кусков нахмурился, подозрительно, исподлобья посмотрел на пушкаря.

— Уж ты не ропщешь ли? Царь-батюшка о всех нас печется и в меру сил своих обоброжает нас и, согласно воле божьей, всяческая творит... Не нашего ума то дело... Помолчи! — сказал он вразумительно.

Андрей покраснел. Некоторое время ехал молча, а затем спокойно сказал:

— В чужом доме не указывают, а в своем бог велит... Коль пушку такую царю дадим, чтоб бапню сбивала, так от того никому не приключится беды, кроме врага...

Кусков надулся. Неужели с мужиком спорить? Унизительно! А Василий Грязной рассмеялся и отъехал прочь. Кускову было невыразимо досадно, что воеводы послали к царю вместе с ним человека «подлого рода» так ровню. А главное, «этот лапотъ» совсем не ценит того, что рядом с дворянами едет и что дворяне беседую его уластывают, не брезгуют. Довольно! В походе повольничали; с дворянами из оных луж воду лопали! Довольно! Теперь не на поле брани. «Пожалуй, с боярами легче справиться, нежели с этими! Их ведь целая земля! Мажь мужика маслом, а он все дегтем лахнет. Кровь!.. Кровь!.. Другая кровь, чем у нас!»

Чтобы немного рассеяться, Кусков соскочил с коня и, сдав его Андрею, стал собирать цветы по канаве около дороги.

Собирал и думал: «И цветы-то не для них растут? Разве поймет он приятность цвета?»

Июмав себя на том, что снова стал думать о смердах, Кусков плюнул и со злостью бросил цветы в канаву.

На востоке вспыхивали зарницы, яркие, неожиданные, грома слышно не было.

— Эй вы, молодчики! — крикнул Кусков, — поторапливайтесь! Гроза бы шю захватила. Доехать бы до села нам...

— Гроза в Москве... А тут только молнии... — усмехнулся Грязной и, подыхав к Андрею, спросил:

— Ты о чем все думаешь?.. Ишь, губы растрепал. Сказывай!

— А беда вот в чем... Не свезут такую пушку ни кони, ни волю, никакая тварь. Чем ее двинуть-то?

— Какую пушку? — удивился Грязной.

— Такую... большую... большущую!..: Чтоб ядро каменное не менее пяти десятков весило, а чугунное и все бы сто..

Кусков покосился на парня с легким испугом: «Не рехнулся ли дядя с радости, что к царю едет!», прищипорил коня: «Бог с ним!» Отъехал далеко в сторону.

— Какое же весить будет та пушка? — интересовался Грязной.

— Тыщи две с приварком.

— Слезь с коня, парень, помолись богу! Пускай отгонит от тебя бесов... Довольно блудословить! Не смейши людей!

Андрей громко рассмеялся, глядя на Грязного. Тот в изумлении тарачил на него глаза.

— Помочи голову, пушкарь! Вот моя бабка! Не думай о пушках... не надо... с ума сойдешь. Думай, как бы нам боярыню колычевскую сберець да землю ту к рукам прибрать.

— Любо ту пушку на Москве поставить, чтоб о силе она говорила. Пушки, что и человек, расти могут. И вырастут. И большущие будут! И всяк недруг струхнет, коли будут они у нас.

Грязной махнул рукой, плюнул и, напевая себе под нос, лоскакал вперед. Ему показался очень забавным Андрей. Василий Грязной не гнушался простым народом, как Кусков. Напротив, он всюду прислушивался, присматривался к черному люду и любил вступать в разговоры с мужиками, подшутить над ними. «Глупо не знать рабов, когда собираешься властвовать!» — так рассуждал он, когда его начинала упрекать жена за панибратство с конюхами.

Кусков вздохнул, притих, оглядываясь в

сторону Андрея. Мелькнуло: «Заговаривается! Бог с ним!»

Грязной опять повернул коня к Андрею. Начал расспрашивать его, как же так можно подобную пушку отлить? Андрей с увлечением принялся рассказывать Грязному о том, о чем он давно уже думает, — «об убойных пушках, с которыми удобнее осаду чинить».

Начинало темнеть, зарницы сверкали все реже и реже. Неумолчно стрекотали кузнечики в траве. Усталые кони шли тихо. На пригорке обозначилось село с ветряными мельницами, с церковью. Тянуло ко сну.

Грязной сказал с усмешкой, дослушав Андрея до конца:

— Ну, сам посуди! Зачем нам крепости долбить? Скучно. Надобно легкую пушку, чтоб душа в поле разгулялась...

Царь встретил гонцов просто, по-домашнему — в голубой шелковой рубахе, подпоясанной шестрым татарским кушаком, в темносиних бархатных шароварах. На голове его была шитая золотом тафья.

Лицо его светилось приветливой улыбкой.

Гонцы опустили на колена, положив к ногам царя отягтые у ливонцев знамена. Василий Грязной вручил ему воеводскую грамоту. Царь со вниманием прочитал ее, а затем стал разглядывать полотнища знамен. После того поднял за руку каждого из гонцов и поочередно поцеловал.

В это время из внутренних покоев вышла Анастасия с царевичем Иваном.

Гонцы низко поклонились царю; Анастасия ответила им также поклоном. Царевич Иван, держа мать за платье, улыбался. На голове его был шлем, а в руке деревянная сабля.

Кусков и Грязной начали было прославлять царскую мудрость и доблесть русских воинов, но Иван Васильевич остановил их: — «Обождите! Спасибо за службу, но хвалиться обождите, неровен час и сглазите!»

Он с улыбкой принял знамена от гонцов, сказав жене:

— Вот в левой руке — Нейгаузен, а в правой — Дерпт... Мои люди знают, какие подарки я люблю. Спасибо им!

И тут же он приказал кравчему Семенову отнести знамена в государеву переднюю шалату. Сел в кресло. Рядом с ним Анастасия. Постельничий Вешняков и другие царедворцы стали по бокам царской семьи.

— Ну, поведайте нам, добрые молодцы, что про что знаете, что про что слышали, да и что видели? Храбро ли защищались орденские люди, немцы, в Дерпте?

Грязной рассказал про осаду Нейгаузена и Дерпта, упомянул и о смерти Кольчева. Царь,

как показалось Андрею, одобрительно кивнул головой.

И царь и парца слушали Грязного с большим вниманием. Царевич Иван, и тот притих, с любопытством разглядывая воинов.

Иван Васильевич особенно подробно расспрашивал о командоре Пейгаузена Уксиль фон Паденорм и о бургомистре города Дерпта Антонии Тиль. Много рассказов слышал он о них и прежде. Знал, что Тиль был яростным противником Москвы, и тем не менее Иван Васильевич сказал с улыбкой восхищения:

— Иашлись, однако, храбрецы! Хвала им и честь! Хвала и честь тому войску, которое имеет таких противников!.. Легкие победы не могут радовать истинного воина. Боюсь, не возмнили бы о себе мои люди и не ослабли бы! Война впереди! Вот о чем бы надо вам всем подумать. Воины должны даже перед концом войны думать, что она только начинается. Тогда мы всегда будем непобедимы...

Кусков сказал, что войско по одному мановению руки его великой царской светлости готово в любую минуту лечь костями во славу своего мудрого государя.

Иван Васильевич посмотрел в его сторону, хмуро, неодобрительно покачал головой.

— Не лобы мне твои слова! Мне надобна сила и победа, а не похвальба и не кости! На что мне кости? Видел я их!

Кусков покраснел, растерялся подумав: «Зря сунулся. Пускай бы говорил Грязной!»

— А что молвите мне, други, о нашем наряде? Примечлив ли он! К осаде удобен ли? И много ль попусту ущерба нашей казне от недолета и шерелета ядер? Об этом думали ли вы?

И вдруг указал пальцем на Андрея:

— Сказывай!

Парень вздрогнул, смутился: царь спрашивал именно о том, о чем он постоянно думает.

— Ущерб государевой казне, батюшка-царь, преведикый от худого стреляния... А того скрывать, ради верности, не буду.

— Говори, прями, не бойся!— ободряюще кивнул головой Иван Васильевич.

Грязной метнул недружелюбный взгляд в сторону пушкаря.

Андрей посмотрел на дворян, помялся-шомялся да и сказал:

— Соломиной не подопрешь хоромины... то ж соломиной и не разобьешь хоромины... А камень в Ливонии крепкий, столетний кирпич, неуступчив огневному бою.

Иван удивленно посмотрел на Андрея, на жену. Та улыбнулась. И ей понравилась смелость парня.

Андрей продолжал:

— Неубойные выстрелы чинятся от многих неустройств как в самом стрелянии, так и от малости пушек... Огонь простора, дальнего боя, силы просит, а мы не даем...

Кусков побледнел, грозно покосился в сторону пушкаря. Но вот он заметил, что царь наклонился в сторону Андрея, со вниманием слушает его, и тогда Кусков изобразил доброе выражение на своем лице.

— Каквы же причины неубойного стреляния?— продолжал царь.

— Коли сердечник нехорошо и непрямо вставлен, либо при литье сдвинулся, либо при просверливанні погрешность была... Бude пушка неалано в станке лежит, да мост если под нею покат, либо не крепок и нагибается... Бude пушка пристойного заряда не восприяла, отчего либо высоко, либо низко выстрелится. Аль середина не прямо сыскана, аль расстоянне неведомо...

Царевич, облокотившись ручонками и головой на колени матери, задремал под мерную, спокойную речь пушкаря. Его маленький шлем давно в руках парцы. Анастасия слушала пушкаря со вниманием. Она смотрела на него ласково, ободряюще.

Андрей говорил и о разной тяжести ядра, о ветре, о дожде и снеге... Это все тоже влияет на точность выстрела. И порох неодинаковый— тоже нехорошо.

Царь с нескрываемым любопытством слушал Андрея. Он задал ему вопрос о том, какие ядра лучше оказались: литые или кованные, угластые или круглые.

Андрей ответил, что круглое ядро лучше воздух разбивает, нежели угластое. Литые и кованные ядра Андрей хвалил и говорил, что они государю дешевле стоят, нежели свинцовые или каменные, ибо от них больше пользы в бою. Свинцовые ядра и тяжелы, и разбиваются, и расплющиваются,— они обходятся государю вдвое, а то и втрое дороже железных.

— Да и что в каменном ядре? Оно само разбивается о каменную стену, а стена от них лишь поцарапана...— говорил Андрей раскрасневшись.

Иван рассмеялся.

— Каменное ядро пообветшало, истинно!— проговорил он.— Им ворон бить, а не замка. А про то, чем плохи пушки наши, ты мне и не сказал... А ну-ка.

— Невелики они, государь, в них той ярости нет, коя надобна... Заморские мастера у нас на одной мере стоят... Далее не двигаются... У немчинов видел я великие пушки... А нам нахо еще больше, еще убойстее...

— То же и я думаю, молодец,— нам нужны такие пушки, чтоб врагу неповално было... Однако от великости ли одной убойс-

тость? О том поспорить можно. Но речи твои любы мне. Кусков, гляди, какой у тебя литец знатный!— и, обратившись к остальным гоним, проговорил:

— Что скажете, дворяне? Побольше бы вам таких холопов!

— Есть они, батюшка-царь, у нас, есть, и немало: и в вотчинах, и в поместьях...— ответил Грязной, вытянувшись перед царем.

— Слушайте их и в руках держите, чтоб гордынею ума не восхитились бы, и более того, что богом определено холопу, не возмнили бы о себе. Мудрость и покорливость иной раз не уживаются вместе.

— Постоим, батюшка-государь, за порядок дворянского обычая!— сказал Грязной. Кусков опять выскочил вперед:

— Голову сложим, батюшка-государь, за тебя.

Царь строго посмотрел на него:

— Голову сложить, храбрец, тоже не велика мудрость. Дстойнее голову обратить на пользу государю и родине. Такую голову, как его,— Иван кивнул в сторону Андрея,— надо беречь; мы оставим его при нас, в Москве, на Пушечном дворе. А ты, Кусков, отправляйся вспять к Шуйскому, прикажи ему от царского имени, чтоб всех мастеров-литцов, что есть у него, гнал в Москву... Буде, погуляли! Пора в литейные ямы... Готовиться надо к большой войне. Ну, идите. Господь с вами! А ты, Василий, останься.

Все опустились на колени, поклонились царю и, сопровождаемые постельничьим, вышли из палаты, кроме Грязного.

Царь поднялся с кресла.

— Ну, что ты скажешь, царица?

— То ж, что и ранее говорила. Велика земля твоя и многими полезными людьми удобрена...

— Ну, теперь ты иди, погуляй в саду с паревичем, а мы тут побеседуем о делах литейных.

Царица поклонилась царю; отвесив преуважительно низкий поклон и очнувшийся от дремоты паревич, вызвав улыбку на лице Ивана Васильевича. Любовным взглядом проводил он жену и сына.

— Ну, докладывай,— кивнул он Грязному, когда они остались одни.

.....

На следующий день царь Иван собрал в своей рабочей палате мастеров-иноземцев и лучших литцов пушечного дела из московских людей, а с ними был и Андрей. Царь пожелал знать, нельзя ли, не увеличивая размера и веса пушки, сделать ее дальнобойнее, а может быть, порох и зажигательные составы удастся сделать злее, пускачее. О ядрах царь

желал знать: можно ли ковать их легче весом, но могущественнее в действии? Царь знает, что камень летит быстрее пера, коли их бросать рядом, а стало быть и тяжелое ядро пускачее, нежели легкое, но, быть может, его заострить наподобие копыя и тем облегчить лёт? Нужно, чтобы легкие пушки были разрушительны, ибо тяжелые пушки великая обуза войску в походе...

В сильном смущении слушал Андрей царя, беседовавшего с немецкими и свейскими мастерами. Вчера ведь он доказывал царю, что нужны большие орудия, что они разрушительнее и приметливее, а сегодня царь настаивает на малости орудий.

Чем больше вслушивался Андрей в разговор царя с иноземцами, тем яснее для него становилось, что царь озабочен улучшением полевой артиллерии, а не осадной.

Иван Васильевич рассказал иноземным мастерам, как велики были трудности с большим нарядом при походе на Казань. Пришлось разбросать орудия на части и везти их к Казани водой... Благо, коли над Казанью одержали победу, и пушки остались при войске, ну, а случись иное — войску пришлось бы все орудия побросать на добычу врагу...

Кто-то из иноземцев сказал с подобострастием:

— Вашего царского величества войско непобедимо... Вам тут нечего опасаться...

Иван Васильевич посмотрел на него, нахмурившись. Немного подумав, он покачал головой:

— Нет большей опасности, нежели та, когда ты хочешь казаться сильным, не обладая истинною силою. Не о том нам стараться, чтоб о нашей силе повсеместно болтали, а о том, чтоб она у нас в руках была, а тебя бы почитали слабым...

Опять царь опровергает мысли его, Андрея,— ведь ему хочется сделать такую пушку, чтоб при виде ее все приходило в ужас, и поставить эту пушку на самом виду. Пускай, глядя на нее, иноземцы думают о том, какую великою силою обладает Москва. А царь говорит — не надо казаться сильным. Вот и пойми!

Когда беседа закончилась, Иван Васильевич, отпустив иностранных мастеров, остался с московскими пушечными литцами. Он сказал им, чтобы они изготовили одну пушку пудов на пять, с длинным дулом, и другую, такую же пушку,— широкодульную, но короткую. Ядра он также велел для этих пушек сковать и шарообразные и угластые.

«Будем добиваться своего!— сказал он.— Не все чужими головами жить!»

Он приказал держать все это втайне от иноземцев.

Вечером царское семейство молилось в пророчной церкви. Митрополит Макарий служил молебен по случаю взятия ливонских крепостей.

В полночь царь потребовал к себе князя Воротынского.

В открытое окно дворца виднелась освещенная луной Москва-река. Сосны, церкви, избы Замоскворечья — все было объято сном, даже не слышалось обычного твояканья псов.

Иван Васильевич остановился против окна, всю грудь вдохнул в себя легкий после дождя воздух. Пахло липовым цветом. «Люди спят спокойно, спят потому, что бодрствует царь!» — подумал он, прислушиваясь к кремлевской тишине. В саду робко шептались деревья, повеяло втагой полноточного тумана со стороны Москва-реки. Прохлада скользнула по лицу, задувала свечи. Большой своей рукой царь прикрыл ставню.

Постучали в дверь.

— Входи! — громко сказал Иван обернувшись.

Низко калаясь, вошел Воротынский, помолвился на иконы. Засыпанное лицо выражало недоумение.

— Садись, Михайла Иванович. Пошли-ка там гонца за Телятьевым. Пускай из войска едет в Москву. Нужда тут в нем; понадобится царю.

Воротынский, не садясь на скамью, поклонился:

— Слушаю, государь!

После этого Иван Васильевич развернул чертеж расположения русского войска в Эстляндии¹.

— Гляди! Надобно сильную, храбрую стору́жку разверстать у берега моря, вот, глянь! Отсюда и досюдова, от Нарвы до Тольсбурга... Пошлем туда князей Одоевских, Темкиных, Хованского, Лобанова да дворян: Грязного Тимошку, Старкова Яшку, Татищева Гришку с казаками и стрельцами... Скажи, я приказал! Слушай! Берегите море, крепко сторожите земля по Нарове... Объяви: испомещены будут в той земле и денежно жалованы те, что усторожили. Беспоместные дети боярские на моей стороне стоят крепко. Да из простых людшек примечай к пожалованию, дадим по двадцати четей на человека... Чтоб каждый был о двух быстротных конях, ае казбуй! Разезды частые с нарядом от Нарвы и до моря учини; станцы раскянъ, стояли бы все за государево дело крепко. Табуны добрых коней стоните из Новгорода в приморье, нужды чтоб в них не было; харчевников из Новгорода и Пскова сведите туда же. Довольно уж нам пьяных новгородских

купцов ублажать и непотребных жонок!.. Со всех земель навезли они их. Увы мне — оны златолюбцы! Доберусь я до них! Хлеба, се на возьми у них. Не щади! Кто же, как ты, о сторожах позаботиться мочет? Они наша защита... Обездолили их в бывшие времена... не думали о них... На полевых сусликов да на лесного зверя рубежи оставляли. Мысль я имею: пе в это лето, так в другое, созвать засечных голов с рубежей в Москву и порядок единый, твердый, с ними обсудить, а тебя поставлю воеводою над ними... Говорил не раз о том и сделаю так. Служил правдою!

Воротынский дал боярское слово царю предложить все свое старание к устройству крепчайшей охраны приморской земли, отвоеванной у ливонцев, поклонился и ушел.

Царь Иван после его ухода снова распахнул окно. Глубокими вздохами вобрал в себя прохладу. Близка заря. Слышны одинокие удары кокошка. Бледнеет небо. Под самым окном, на набережной, сонными, хриплыми глотками выкрикивают сторожа:

— Слу-ша-й!.. Тула!

— Гля-ди!.. Москва-а-а!

Удары в «билло», дребезжа, таранят торжественную тишину Брэмля.

.....

Беззаботно переключаются новгородские пехухи на берегу Балтийского моря.

После нескольких дней ненастья наступила хорошая погода.

В шатре душно от первых же лучей восходящего солнца. Герасим подыется с ложа, поцеловал спящую Парашу, оделся и вышел на волю.

Над взморьем играли белые орлы.

Они то сталкивались грудь с грудью, нахлывшись и часто взмахивая своими серебристыми крыльями, то начинали делать бесчисленные круги сверху вниз, как бы догоняя один другого, и плавно разлетались в разные стороны, чтобы через несколько минут снова начать эту свою игру.

Палевые пески пышными косами расклянулись в тихой воде. В заливчиках между ними дымилась клячя едва заметного тумана.

Под навесом у коновязи стоял Гедеон; приветливо заржал, увидев хозяина.

Давно бы надо было встать и напоить коня.

Герасим ласково погладил его теплую шелковистую шею: «Недаром тебя Паранька любит! Ишь, гладкой!» И тут же поймал себя на мысли: «О чем бы ни думал, всегда приходит на ум Параша!» Ну, что ж! Теперь она его жена. Поп в Тольсбурге обвенчал их похристиански. Теперь он оседлый, порубежник.

¹ В Эстляндии, — область близ Ревеля.

Вчера ночью к сторожке подобралась толпа всадников, пыталась враспloh напасть на станинников, да не тут-то было... Герасим вовремя вышел тм навстречу. Произошел копейный бой на конях. Вот когда вспомнил Герасим московского стрелца, обучавшего его копейному бою. Ой как пригодилось! Он один выбыл из седла несколько всадников, оказавшихся ревельскими конными кнехтами-датчанами. И остальные ратники пороботали на славу. Только пять человек было ранено в засеке. А когда датчане обратились в бегство, в преследовании их приняла участие даже и Параша... Она ловко стреляла в них из лука. Стрелецкая дочь!

В Москве, на Печальном дворе, все оставалось попрежнему. Иван Федоров и Мстиславец с товарищами продолжали трудиться над «Апостолом».

Охима похудела. Андрея встретила она бурно. Сначала с восхищением осмотрела его статную в кольчуге и шлеме фигуру, затем крепко его обняла и поцеловала, а потом стала ругать... За что? Ей думалось, будто он ей изменил... Она пристально глядела ему в лицо и со слезами в голосе говорила:

— У-у, бесстыжие глаза! Ишь, как смотрят!.. Пошто они у тебя красивые?

— От дыма, от пыли, от ветра...

— От какого дыма?

— Постреляй из пушки, в те поры узнаешь!

Охима подозрительно покачала головой.

— Много баб видел?

— Ни одной!

— Вот ты и насмеяешься надо мной! Прежде того не было... Ты надо мной никогда не смеялся... Неужели ты не видел ни одной бабы?

— Видать видел, да што в том!—как-то неестественно зевнул Андрей.

— А чего ж тебе еще надобно?

Глаза Охимы почернели, округлились, как у хищной птицы, и голос ее стал похож более на шипение разгневанной орлицы.

— Охима!.. Никак слезы?

— О, Нургина¹, накажи его!

— Чего ревешь? Чай, я не Алтыш! Не-чего меня пытати!

Охима мгновенно перестала плакать.

— Не поминай Алтыша!

— Что так?

— Мне жаль его. Он мордва, он не такой, как ты.

— Вестимое дело, кабы он был такой, как я, звали бы его Андреем, и глаза у него были бы такие же, как у меня, и волосы...

Охима вдруг набросилась на Андрея, опять стала его целовать.

— Задушишь!—нарочито испуганным голосом закричал Андрей.—Что ты? Опомнись! Нусти!

— Бестолковая я, не сердись! Нет! Нет! Ты все такой же, как и был... Такой же хороший!

— Ну, вот! А я уже собрался уходить. Изобидела ты меня!

— Ужели ты, Андрей? Ужели это ты?

— Я самый!—гордо произнес парень, довольный тем, что его любят.

— О, спасибо богу, спасибо!

Охима прижалась к Андрею. Он слышал ее взволнованное дыхание. Ему почему-то сделалось жаль ее. Почудилось даже, что он и впрямь в чем-то провинился перед ней.

Он крепко поцеловал ее.

— Сам царь приходил ночью к нам, будто стрелец... Думати ночной обход... но то был не стрелец... Все узнали его... Смотрел на работу Федорова и благодарил его, сказал, чтоб скорее сделали книгу... А меня уцелил на дворе... Ох, какой он! Глаза. Страшные глаза!

— Ты что? Уж не полюбилась ли ему?

Охима, как бы дразня Андрея, с улыбкой произнесла:

— Не знаю... Федоров сказывал — полюбила! Что же ты теперь на меня уставился? Не ради меня приходил царь. Из-за моря станки и бумага в Нарву идут... На коленах мы благодарили его.

Андрей задумался: «Рано радоваться! Бог ведает, что будет? Дадут ли парю владеть морем? Против него и против моря уже в воеводских шатрах втихомолку ропщут. Надежи, мол, нет на такое дело. Справиться ли Ивану Васильевичу со всеми царствами? А уж опохмелиться слезами придется. Пугают людей шептуны. Вот и выходят, постой да подожди! А пушки лить надо не мешкотно, а с усердием. Нужны хорошие, убойные пушки! Нужно много таких пушек. И удивления достойно, как о том не думают люди!»

— Ты чего нахмурился?—толкнула Охима парня.—Столь долго не видались, а ты каким-то бьючком сидишь!

— Эх ты, Охима!.. Ничего ты не понимаешь!—вдохнул Андрей.—Сердце мое неспокойно... Нерадивы мы!

— Алтыш теперь, чать, долго не придет? Чего же ты кручинился?

Андрей грустно покачал головой в знак согласия:

— Долго... Боюсь, что и совсем спшет... твой Алтыш!

Охима вскочила от удивления.

— Што ж ты! Никак разлюбил меня?

¹ Гром.

— Полно, Охимушка, садись!.. Не о том я!—вспыхнув, стал оправдываться Андрей.— Попусту не шуми.

— Нет! Нет!... Говори... Надоела я тебе?— плачущим голосом затараторила Охима, теребя его за руку.— Вот какой ты! А я думала ты хороший! Я думала...

— Постой!.. Постой!.. Полно тебе! Уймись!

— А я-то!.. Я-то, глупая!.. День и ночь тебе все о тебе думала!

Андрей совсем растерялся.

— Да слушай!—громко крикнул он, зажав уши.— Чего не чаем, то может сбыться. Вот о чем!.. Вчера из Посольского приказа подьячий Егорка приходил, сказывал такое, што я и по сию пору не могу опомниться... Охима села за стол, закрыв лицо руками.

— Все, видимо, идет по божьему велению, а не по нашему хотенью,—продолжал Андрей тихим, печальным голосом.— Войне, болтал подьячий, и конца не предвидится... Пушек много будем ковать и лить. И народу будут верстать видимо-невидимо. Будто царь имел совет с боярами, а на том совете царь так разгневался, что стало ему плохо и под руки его увели в государевы покои... Несогласие! А врагу того только и надобно... Вот что! Горла берем, а что из того выйдет, коли несогласие?

— Стало быть тебя опять угонят?—взволнованно дыша, вцепилась в Андрея Охима.

— Да разве я о том? Глупая! Худых людей много около царя! Вот что! То одного воеводу посылает он в Ливонию, то другого, а иных в Москву возвращает...

Шопотом Андрей передал Охиме на ухо, что боярина Телятьева, того, что заставлял Андрейку стрелять плохим ядром, царь вернул с войны, и будто в подклети у себя держит, пытается. А советники царские отстаивают Телятьева, наказаньем божьим царя пугают. Особливо Сильвестр.

— Ты меня-то пожалей... меня... глупый! Что тебе боярин? Нужен он нам!

Андрей махнул рукой:

— Бабе, хоть кол на голове теши, она все свое.

Обнял ее крепче прежнего.

— Давно бы так-то!—прижалась Охима к нему оживившись.— О тех делах пусть старики судят да бояре, а ты со мной...

— Чего?

— У тебя иные дела есть. Ты молодой.

Рассмеявшись, Андрей сказал:

— Эх у тебя сердце,—что котел кипит!.. Еще тот на свете не народился, чтоб ваш норов угадать...

— Буде! Ровно ребенок малый... Не угадать! Чай баба я...

Уходя на заре от Охимы, Андрей, смеясь, сказал:

— Кто с вами свяжется, тот уж царю не слуга...

Охима, стукнув его по затылку, сердито проворчала:

— Опять балаболишь? Приходи вечером... Вот и все!

Андрей вздохнул:

— Э-эх, нам царь урок задал! Вся Пущечная слобода над ним потеет... Выйдут ли такие пушки, какие требует царь, не знаю!

— Придешь, што ль?

— Ладно, приду!

— Не «ладно», а приходи. На баб не смотри! Коли увижу—худо тебе будет!

— Какие бабы?—с невинным видом переспросил Андрей.— Кроме пушек, я ничего не вижу. Пушку больше всех люблю!

Охима так сердито покачала головою, что Андрею показалось, будто и на пушки ему нельзя смотреть.

С тяжелым вздохом, потный, утомленный беседой с Охимой, озадаченно почесав затылок, Андрей ушел: «Ну и ну! Хоть бы Алтыш бы скорее, что ли приехал!»

За одним изморось. Серенький денек. Иван Васильевич спит в своей рабочей палате, окруженный посольскими дьяками. Перед ним на широком шарядном пергаменте крупными черными завитушками раскиданы строки письма датского короля Христиана. В них тревога, гнев, мольба.

Лицо царя хранит суровое спокойствие.

— Думайте, что описать королю?

Висковатый смотрел куда-то в угол и вздыхал. Никто не решался начать говорить первым.

— Изобидел меня король, но обиды не надо казать. О чем он просит? Пощадить немцев?

Царь улыбнулся. Зашевелились дьяки.

— Великий государь,—произнес Висковатый.— Христиан его величество пишет, что где Нарва издавна принадлежит Дании? Будто датских королей признавали своими владыками Эстония, Гаррия, Вирланд и город Ревель. Дерзкое, несправедное сомнение!

— Ныне поднимется в королях алчность, ненависть, вражда...—сказал Иван Васильевич.— Будут заирать они нас, неправдою и насилем досаждают нам, но... блажен миротворец! Не станем чинить обиды, скажем твердо: Нарва была и будет нашей! Воля божья отдать ее нам, и никто не должен стать нам на дороге.

Висковатый заметил, что лучше самому Ивану Васильевичу не отвечать на письмо короля Христиана. Ответить должен наместник Нарвы.

Царь одобрил это и продиктовал Висковатому, как надо королю ответить.

— Чужих пределов и чести не изыскиваем, но, уповая на бога прародителей наших, чести и вотчин своих держимся и убавить их никак не хотим. Еще великий государь и князь Александр Храбрый на лифляндцев огонь и меч свой посылал, и так было из поколения в поколение до мстителя за неправду, деда нашего государя Ивана и до блаженные памяти отца нашего великого государя Василия, а мне, смиренному преемнику их, подобает ли забыть их великие труды и заботы и пролитую кровь народа нашего и отдать землю ту неведомо кому, неведомо зачем? И пускай наш брат Христиан подумает о том и отстанет от бездельного писанья, ибо мы не скупости ради держим лифляндские города, но ради того, что они наша извечная вотчина. И огонь, и меч, и расхищение на лифляндцев не перестанет, покуда не исправятся, но мы, как и ты, у бога-сотворителя милости просим, чтобы дал бог промеж нас бранной лютой перестать и доброе дело чтоб учинилось. Так ему, Иван Михайлович, я отпиши.

На лице царя было выражение довольства. Он поднялся с своего места, вскочили со скамьи и все дьяки.

Иван Васильевич вслух прочитал псалом: «Хвалите имя господне!..»

Псалом длинный, восхваляющий мудрость бога, «из праха поднимающего бедного, из борения, возвышающего нищего, чтобы посадить его с князьями народа его...»

Дьяки в непосильном усердии отбивали поклоны, разлохматились, вспотели, искоса, с подобострастием поглядывая на царя.

После молитвы они обратились за земным поклоном в сторону царя и один за другим, склонив головы, вышли из палаты.

Наедине Иван Васильевич долго рассматривал письмо Христиана. Мял пальцами пергамент, смотрел через него на свет и с видимым удивлением покачивал головою. «Хитры немцы! — думал он, — вот бы нам такую бумагу!»

А в это время в приемной царя стоял у окна в ожидании приема хмурый Сильвестр. Косо посмотрел он на выходящую из покоев Ивана Васильевича толпу дьяков, поклонившихся ему холодно, вяло.

Узнав от окольного, что его хочет видеть Сильвестр, царь поморщился:

— Пусти!

Сильвестр, войдя, усердно помолился на икону, затем поклонился царю. Иван Васильевич холодно ответил ему поклоном же.

— Прошу прощения, великий государь!.. Осмелюсь обратиться к тебе, как и встарь, с добрым советом на пользу государства и твоей царской милости... Дозволь правду молвить!..

— Все вы ко мне приходите с правдой и говорите мне о ней. Но может ли правда моих поданных нуждаться в том, чтобы ее называли правдой?! И найдется ли кто из моих людей, который бы, придя к царю, сказал: «Я пришел тебе говорить неправду?»

Иван Васильевич смеющимися глазами смотрел в растерянное лицо Сильвестра:

— Когда я был дитею, меня восхищали слова о правде в устах моих холопов. Было отрадно их слушать. Но, когда у меня выросла борода и после того, как довелось мне видеть несправедное, злое, обличенное в слова честнейшие, я захотел видеть честь и правду в делах. Однако говори, слушаю тебя! Садись.

Сильвестр опустился на скамью в простенке между окон, чтобы лицо его оставалось в тени. Он заговорил тихо, в голосе его слышалась обида:

— Святой псалмопевец царь Давид рек: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззакония, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут... Уповай на господу и делай добро...»

Царь поморщился:

— Опять ты, отче, поучаешь меня?

— Сам господь-бог призвал меня охранять благоденствие и покой моего возлюбленного государя...

— Чего же ты хочешь?

— Волю дал ты малым людям, незнаемо откуда появившимся, безродным, невоздержанным, своевольникам, не почитающим древности... А старых бояр, подобных Телятьеву и покойному Кольчеву Никите, позоришь, в опалу низводишь...

— Добро! — царь метнул гневный взгляд в сторону Сильвестра. — Ранее пугал ты меня чародейством, какими-то «детскими чуящам», сатанинскими проказами, ныне ты пугаешь меня моими верными слугами, преданным мне дворянством... Мнится мне, волшебство не столь страшно вам, как мои служилые люди...

Глаза Сильвестра расширились от удивления. Он почувствовал свое бессилие перед доводами царя.

— Мы тоже служим верою и правдою...

— Плохо стали служить... Худо! Не вижу дела! Слышу одни укоризны. Скажи, что ле-

лает Владимир Андреевич, мой брат и князь? На охоту ездят да на богомолье... А о чем вы в монастырях молитесь? Ты любишь правду, так скажи мне: о царе ли своему молитесь вы, о победах ли нашему войску? Спроси и матушку князя Евфросинию... сколько раз проклинала она меня на молитве? Молви честно... Ответь мне! Ведаю тебе то?

Сильвестр поднялся со скамьи и, указав рукой на икону, сказал:

— Бог видит, нет против тебя умыслов у князя Владимира Андреевича, нет грешных мыслей против царского трона... Не верь изветам ласкателей! Чести добиваются они себе, губя других. Такое передо мной вижу кругом, государь!

Иван внимательно смотрел в лицо Сильвестру, перебирая нитки на руке.

— Слова свои ты считаешь правдою?

— Да! — смело сказал Сильвестр.

— Тот человек, который, видя тяжкий недуг царя, пытался перебить у его сына, законного его наследника, престол и не добился того, волен давать любую клятву в верности, но царь ему не поверит! Не его ли родительница, княгиня Евфросиния, говорила тогда: «Присяга невольная ничего не значит». И не один мой брат почитает ту присягу неправедной, вынужденной, навязанной... Знаю я!

Сильвестр хотел что-то возразить царю.

— Государь! — воскликнул он.

Но Иван Васильевич перебил, шахмурившийся:

— Полно! Не хочу я слушать вас... Не пугайте, не грозите — не малое дитё я!.. Бог царей в нужде не оставит! Не по своей воле владычествую я, а согласно воле всевышнего. Людей, преданных государю, есть много и без вас! Иди!

Сильвестр, побелев от гнева и обиды, поклонился и вышел из покоев царя, пошатываясь, дыша с трудом.

Первый раз так резко и властно говорил с ним Иван Васильевич за всю его службу при царе.

В эту минуту Сильвестр со всею ясностью понял, что время его ушло, что никогда уже более не быть ему тем вельможею, каким был он два-три года тому назад. И в первый же раз у него появилось недоброе чувство к царю. Захотелось, чтоб царя постигло какое-либо горе, какое-то большое несчастье, чтобы Иван Васильевич вновь обратился бы к своим советникам. Не так ли было одиннадцать лет тому назад, когда сгорела Москва. Пожар! Да, пожар! Мысли пришли в смятение. Хоть бы ливонская война потерпела ущерб! На ум пришла и хворь царицы Анастасии... Может быть, умрет? Ее братья, Ро-

мановы, немало зла принесли и ему, Сильвестру, и Адашеву, и Курбскому, и всей «иностранной раде».

Жаль царя, по что делать? Только беды его направляют на праведный путь!.. Это испытано. Надо поднять все силы против Романовых, против выскочек-дворян, окружавших царя... Или победа — или поражение, позор и смерть! Все силы, чистые и нечистые, земные и небесные, надо призвать на борьбу с царем.

Охваченный такими мыслями, возвращаясь к себе в дом, ничего не видя перед собой пироккой, размахнутой походкой по Сильвестру.

.....

В столовой избе брусняной, близ Благовещенского собора в Кремле, где в царевом обычае было вершить посольские дела, сошлись царь Иван Васильевич и Алексей Адашев.

Царь и Адашев затворились в государевой горнице.

Первым повел речь Адашев. Лицо его было невосное, унылое, не как всегда. Он даже как-то пожелтел. Пышные светлые волосы беспорядочно выскокочены.

— Не узнаю тебя, государь Иван Васильевич! Суров ты ныне и недоступен для своих первых советников, то заметили даже и литовские посланники. Возвеличиваешь ты людей Посольского приказа выше меня и помимо меня вельшь совет с Висковатым, с Федором Сукиным и другими, словно бы у Посольского приказа главы, кроме них, нет... Их возвеличиваешь, меня унижаешь...

Иван Васильевич перебил Адашева с усмешкой в глазах:

— Зеленые листья лавров, возложенные рукою царя на колопа, украшают главу его, кровь колотыего рода не меняют... Из гнонца, снизу, призвал я тебя веселить меня, бражничать со мной, помогать мне, но возвеличивать я тебя и не думал. Сны вам так снятся, что вы — первые люди в царстве, и что царь живет, как то угодно вам... Разбудил я вас, прогнал сновидение! Прощу простить! Возвеличиваю только сам самодержца, а людшек своих перебираю, как то мне вздумается... Старые мы с тобой друзья, а понять ты меня так и не можешь!

Низко поклонился Адашев:

— До самой кончины дней моих буду молиться за оказанную мне тобою, великий государь, честь. Но чести для верных холопов твоих мало. Им надобно оправдать ее великими, угодными царю делами, которые бы он признал, и вот я вижу, что дело, порученное мне, не по моей вине, делается иными рука-

ми. У меня — честь, у Висковатого да у моих дьяков — твое доверие и твои поручения... Остался я с одной честью, но без дела... Непривычно мне так. Надо, чтобы ты видел мои хорошие дела.

Иван Васильевич весело рассмеялся:

— То я и вижу! Честь тяготит вас начала, ибо на одном месте она, лукавая, застоялась!.. Честолюбцы подобны пьянице... Тот пьет вино, выпьет чарку, берет сулею — мало! Хватается за жбан, а после за кувшин — опять мало! Лезет к бочке и, слава тебе господи, тут и опивается. Стали опиваться и вы, дружки мои!.. Жалко мне вас, а как помочь? Коль спьянщизну отгащать от бочки, он бесится, — то ж и с честолюбцами... Трудненько царю с вами! Пожалейте его! Не задуйте на обиды!

— Честолюбцем я никогда не был, — вспыхнув от негодования, громко возразил Адашев. — Я думал и ныне думаю лишь о благе государства и о твоём, Иван Васильевич, благе!

— Думает о благе государства и о моем благе и простой мужик, и черный люд из Дорогомилова... Тем сильно наше царство, но не велика в том заслуга царедворца!.. Как же не думать царедворцу о благе царя, коль из его рук он получает богатство и славу? Умный ты человек, Алексей, а говоришь дурость! Дела мне нужны прямые, полезные, а не словословие и клятвы.

— Тяжко, государь, ближнему к тебе сызмальства человеку слушать это... Был ли я когда-нибудь льстецом? С малых лет ты меня любил за дела, а ныне отвернулся от меня, малым даешь большие дела, мне малые...

Нахмурившись, царь произнес строго:

— Добрый человек к благополучию не пристрастен. Человек, имеющий силу, здоровье, легко сносит жар и холод, и поднимает тяжелое, и не гнушается поднять легкое... Так и истинно добрый, правдивый слуга царя, любящий родину, с одинаковым усердием делает малое и большое, ибо забота его лишь об одном, чтоб то дело было лучше сделано. Но обиды он в том не видит никакой. Будь и ты оным мудрецом!.. Скоро ты узнаешь, дам я тебе другое дело... Выполний его честно, во имя блага родины... Не гневайся на меня, Алексей, и не ропщи! Какое бы малое дело не получал ты от меня, знай, что оно — государево.

Царь повернулся и вышел из горницы.

Адашев низко поклонился ему вслед.

.....

Никогда в Успенском соборе не горело столько свечей и лампад, как в эту суббот-

нюю службу. Никогда так много не собиралось духовенства и народа в соборе, как в этот вечер прибытия в Москву послгов от цареградского патриарха. Царь и царица стояли на своих местах: Иван Васильевич у правого столба, на троне Владимира Мономаха под золоченым шатром, поддерживаемым четырьмя резными столбиками с государственным гербом; царица под другим шатром, с левой стороны.

Службу отправлял с особым воодушевлением митрополит Макарий.

Послы вселенского патриарха привезли в Москву соборную грамоту, подтверждавшую наследственные царские права византийских владык за московским великим князем Иваном Васильевичем.

Грамоту прочел сам митрополит, а в ней говорилось, что великий государь Иван Четвертый должен «восприяты власть, как и прежде царствовавшие цари, и быть святейшим царем богоутвержденной земли, быти и зватися ему царем законно и благочестно, быти царем и государем православных христиан всей вселенной от востока до запада и до океана, быти надеждою и уюванием всех родов христианских, которых он избавит от варварской тяготы и горькой работы».

Далее грамота гласила, что цареградский собор молит бога об укреплении Московского царства, которое должно явиться сменю Византийской империи, и о возвышении руки государя «да избавит повсюду все христианские роды от скверных варваров, сыроядцев и страшных язычников агарян!»

В Успенском же соборе в эту субботу молился богу печатник Иван Федоров и Андрей Чохов.

Они только издали могли наблюдать за царем и видели лишь его спину, но во всей осязке его могучей фигуры чувствовалось спокойное, властное внимание к патриаршей грамоте. Царь держался так, будто все это он принимает как должное, не умножающее и не уменьшающее его величия.

— «Да не погрязнет корабль великого твоего державства в волнах бесчестия!» — громко закончил Макарий, обведя хмурым взглядом боярскую знать.

Иван Федоров шепнул на ухо Андрею: — Иосифляне победили! — На лице его была радость. Андрей теперь хорошо понимал, в чем суть борьбы между нестяжателями и иосифлянами; уже не раз говорил Иван Федоров, что если бы не митрополит Макарий, Печатного двора не было бы. Митрополит главный заступник, он защитник его, Федорова, от нападок «нестяжателей», вассаловцев, заволжских старцев и их покровителей из боярской знати.

Когда Макарий вручил грамоту приближившемуся к амвону Ивану Васильевичу, монахи, стоявшие рядами по обе стороны амвона, зашепи громкую «осанну».

Привяв благословение от митрополита, царь приложился к евангелию и иконам. Все это делал он с величественной неторопливостью, останавливаясь перед каждой иконой и некоторое время внимательно вглядываясь в нее. Духовенство и бояре в эти минуты стояли не шелохнувшись, смиренно поникнув головами.

Но вот к царю подошел митрополит и возвел ее на амвон. За царцей рында нес большой, расшитый шелками самой Анастасией, образ святого Никиты, в честь своего старшего брата, который был ближе всех к царю. Она тем самым снова подчеркнула дружбу и сплоченность семьи Юрьевых-Зархарьных, против которой злобствовали бояре. Она принесла эту икону как дар, на память о знаменательном событии — признании вселенским цареградским собором святителей ее мужа, царя Ивана полным самодержцем, главою православных христиан всех земель, своих и иноземных.

После службы бояре расходились по домам молчаливые, утрюмые. Надежды на оспаривание самостоятельности государя и его «державства», якобы перешедшего от последнего византийского императора к московскому великому князю, рухнули. Сам патриарх константинопольский и вселенский святительский собор из-за рубежа подали голос свой в пользу царя Ивана.

Федоров торжествовал. Всю дорогу он расхваливал царя и митрополита Макария, которые сумели мудрым смирением привлечь на свою сторону византийское духовенство и даже самого патриарха. Начитанный и бывалый Федоров сказал, весело улыбаясь:

— Не могут служители церкви одни управиться и оборониться от еретиков и супостатов!.. Цареградские монахи и попы ныне сиротами стали. Кто защитит мечом слово божие? Константин потерял не только императорский сан, но и Византию. Попусту глумятся нестяжатели над нашим благодетелем батюшкой-митрополитом. Царь обороняет божию церковь и дарами награждает ее служителей. Тем она и сильна. Тем крепок и царь. Вассиан укорял царя, что-де «тебя патриарх не признал», патриарх-де был выше императора в Цареграде... И все болтали об этом по всей Мокве, по всей земле, а ныне...

Иван Федоров рассмеялся.

— Поди, старец Вассиан теперь ума рехнется.

Андрей сказал равнодушно:

— Ему и помереть пора. Чего он там? А царю без них вольготнее будет. Хушь бы

войне, дьяволы, не мешали! Воевать ведь мешают!

— Вестимо, вольготнее... да и нам лучше. Печатать учнем многие книжицы. И «Апостола» кончим скорее. Царь ждет, торопит митрополита, а святитель меня.

Так незаметно, в беседе о царе, о печатном деле, о войне, Федоров и Андрей добрались по осенней распутице до Никольской слободы.

На следующее утро в Посольском приказе Висковатый в торжественной обстановке объявил созванным в Приказ иноземным послам о грамоте византийского патриарха, прося их написать о том своим правительствам.

Висковатый особо выделял слова грамоты о том, что русский царь отныне является не только главою русских православных христиан, но и всех православных людей, живущих в других государствах, за московскими рубежами. Всем им он отец и защитник, а потому может ли государь сложить оружие и не воевать Ливонию, коли там происходили и происходят надругательства над православными христианами, находящимися в подданстве у знавшихся немецких владык?

Еще и еще раз Висковатый повторил свою просьбу к послам, чтобы они довели до сведения своих государей, что Иван Васильевич — защитник своих единоверцев во всех странах.

VII

Сильвестра не стали узнавать даже его друзья. Похудел, высох, глаза стали беспокойными, временами злыми. Раньше он старательно расчесывал волосы на голове, слегка подстригал бороду, одевался опрятно, часто менял шелковые рясы, теперь оброс клочкастой бородой, ходил со спутавшимися в беспорядке косами, а рясы, как будто нарочно, носил выцветшие, с заплатами.

Сплетничали, будто царь недавно при всех вельможах назвал его невеждою. И теперь, если его спрашивали о каком-либо государственном деле, он отвечал тускло, неопределенно, заканчивая свой ответ одними и теми же словами:

— Не нашего ума то дело. Поклонитесь царю Ивану Васильевичу. Он скажет. Я — невежда.

А когда говорил он это, на губах его появлялась улыбка. Злая, насмешливая. Скорбные глаза не могли скрыть затаенного озлобления.

Раньше Сильвестр был общителен, ходил в гости к излюбленным князьям и боярам. Ныне стал избегать и их. Впрочем, многие князья и бояре сами стали всячески его сторониться. Особенно после того, как он заступился за Телятьева, у которого по причине

опалы отписали вотчину на государя, точно так же, как и у покойного Никиты Колычева, после смерти впавшего в опалу. Его вотчину царь отдал во владение полутора десятка дворян. А в первую очередь испоместил в ней врага колычевского — «выскачку» Василия Грязного, а Телятьёва сослал в монастырь замаливать «какие-то грехи», и, говорят, сам царь пытал его, а Телятьёв, по малодушеству и спасая свою шкуру, наговорил нивесть чего на многих. Вот к чему привело заступничество Сильвестра.

Большую часть времени первый царский советник проводил в молитве, посте и прогулках по кладбищам, где покоились прежде жившие вельможи и знатные иноки.

К царю его звали все реже и реже, а когда он и появлялся в государевых покоях, то был излишне смирен и почтителен и со всем, что царь говорил, соглашался. Это раздражало царя еще более, чем прежние споры.

И вот однажды Сильвестр сам явился во дворец, попросив доложить о нем. Иван Васильевич обрадовался тому, что наконец-то Сильвестр сбросил с себя свою замкнутость и гордыню и первый обратился к нему.

Он принял радушно первого советника в своей рабочей комнате. Налил ему чарку только что полученного фряжского вина. Но Сильвестр был темнее тучи и от вина отказался.

— Пришел я, государь, просить твое величество, чтоб оказал ты мне свою царскую милость — отпустил бы меня за тебя богу молиться на вечные времена в Кирилло-Белозерский монастырь. Послужил я тебе в прошлые годы верою и правдой, а ныне также послужу и за монастырским алтарем.

Иван с удивлением взглянул на Сильвестра.

— Российское самодержавство было всегда сильно тем, что почитало благочестие превыше всего. Могу ли я чинить противность в том своим ближним слугам, хотя бы служба их была полезная, доброхотная и прямая? Однако чарку царского вина ты выпьешь. Без того не уйдешь в монастырь.

Он взял своей большой рукой чарку с вином и порывисто, так, что вино немного расплескалось, подал ее Сильвестру, который и поспешил ее принять своей дрожащей рукой. (Ему вдруг пришло в голову: не отраву ли подносит царь?)

— Во здравие твое, государь, за правду и счастье! — произнес Сильвестр в сильном волнении.

— Нет! — прервал его царь. — За победу нашу над немцами пей!.. Победим — и царь будет здоров, а коль в беду впадем — и царь занедужит!

Сильвестр черешитительно, маленькими глотками, выпил вино.

Царь настороженно, с трудом сдерживая гнев, следил за ним.

— Но хотел бы я знать, — тихо сказал он, — до сего дня разве ты не молился за своего самодержца? И неужели мои вельможи лишь уйдя в монастырь возносят молитвы о своем царе? Не иная ли причина послужила твоему челобитью?

Выражение испуга и растерянности застыло на лице Сильвестра. Его мучила мысль: что он вымил? Яд или вино? Собранный с мыслями, он сказал:

— Воля твоя, государь, думать, как тебе твое сердце, умудренное божией милостью, внушает, но у нас тоже есть сердце, исполненное преданной любовью к своему земному владыке, любящее крепко и горячо родину.

— Не такое нынче время, дружэ, чтобы царю забавлять себя слушанием ласковых речей. Огонь и меч должны быть у нас перед очами, а не любезные поклоны паредворцев. Не украшенная фарисейским смирением речь и не убогое речение мытаря, а крепкое слово воителя надобно нам ныне, завтра и далее того!

Сильвестр поблдепел: «Кажется, яд!» Тяжело дыша, слегка охрипшим голосом сказал:

— Не слушаешь ты своих советников. Раньше слушал, теперь нет. Ласкатели твои стали между нами и тобой. Царь должен быть только главою и любить мудрых советников своих, яко свои уды¹, ничего не предпринимать без глужочайшего и многого совета.

Сопуренные глаза царя впились подозрительно в лицо Сильвестра:

— О ком ты говоришь? Кто те «ласкатели» и кто есть «между нами»? Между кем?

— Между тобой и избранною радою, в которую введены мы тобою же, — осмелел Сильвестр. («Нет, не яд!»)

— Кто «мы»?

— Адашев, я, Курбский, Челяднин и другие твои преданные слуги.

Царь с сердцем хлопнул ладонью по столу.

— Молчи! Знай одно: слушал я вас долее, чем того заслужили вы и чем то было полезно государству нашему. Иди в монастырь! И молись там не обо мне, а о себе и своих товарищах. Держать тебя не буду. Прощай!

Сильвестр низко поклонился и вышел из царских покоев.

После его ухода царь окликнул Вешнякова:

— Гони Ершку! Куда побрел поп Сильвестр? Проследите!

После того Иван Васильевич вызвал к себе Данилу, Никиту и Григория Романовичей За-

¹ Члены своего тела.

харьных и рассказал им о размовке е Сильвестром.

— Давно бы пора ему!..— вздохнул с недоброй улыбкой Никита.— Пускай молится!

Иван Васильевич посмотрел на него с грустью:

— Ни один владыка не знает, когда наступит час расставания его с любимым вельможею, бывшим полезным ему в то или иное время! Сам бог указывает,— государству полезнее станет, коль Сильвестр отойдет от нас! Таких умных и добрых людей, как Сильвестр и Адашка Адашев, немного... Но бывают времена, когда малоумный царедворец меньше вреда принесет царю и государству, нежели умный. Алексея тоже надо удалить. Жаль мне его, но далее ему на Москве делать нечего.

Братья переглянулись.

— А Сильвестру,— продолжал он,— оставлю я все его имущество; ему и его сыну. Царь помнит старое доброхотство. Анастасия просила меня не обижать попа. Они ее носят всяко и называют Продиадой, а кто же более нее охлаждал мой гнев против них? Слепые! Как много неразумного творят они с той поры, что пошел я своей дорогой... Так тому и быть надлежит: ступив ложно на иную тропу, нежели я, они стали все дальше и дальше удаляться от меня. Оправдываясь и клянясь в верности, они обманывают и себя и меня... Не тем ли путем дошел до гефсиманского сада и предатель Иуда?!

В это время в царской палате появился Вешняков. Низко поклонившись, он сказал:

— Великий государь! Отец Сильвестр поехал к дому Курлятихи. Там же с полдня бражничает его светлость князь Владимир Андреевич...

— Спасибо, иди!— кивнул Вешнякову царь.

После его ухода царь задумался.

— Предвижу я великую свару,— вздохнул он.— Но было того в мире, чтоб противные стороны кончали борьбу свою молитвами друг за друга. Не верю я молитвам Сильвестра.

Царь тихо рассмеялся.

Романовы почтительно молчали.

— Правителю нужна рука Гошафа, чтоб разметать противную партию, а я слаб... слаб... Не чувствую силы в себе. Но бог милостив! Добрые люди помогут. Одних слуг у царя господь-бог прибирает, других дает... Радостную весть сегодня поведал мне Висковатый: Данциг, Гамбург и другие немецкие города отказались давать Ливонии оружие... Нам легче станет.

Поднялся Данила Захарьин:

— Батюшка Иван Васильевич, надежен ли ныне Курбский? И не опасно ли то, что

ты его поставил на старшим надо всеми в войске?

Оба других царских шурина вздохнули, покачали головами, как бы подчеркивая тем самым свое единомыслие с братом.

— Вот уже два года, как мы воюем... Двадцать городов и замков в наших руках... Попытки германского императора, Литвы, свейского короля, Дании и Крыма помешать нам разбиваются о наш меч... И, как вижу, этот меч искуснее всех держит Курбский. На кого же я могу иметь надежду, как не на него? Сам я ему сказал: «Либо я, либо ты». Кроме, кого поставлю хозяином того великого дела? Курлятев и Репнин дозволили десяты тысяч лифлянцев взять в виду всего нашего войска Ринген и истребить защитников твердыни. Не хочу думать, что то измена, а похоже.

Все трое Захарьиных опять вздохнули.

— Нашего войска впятеро было больше, как же так?!— развел руками Никита.— Михаил Репнин неспроста отказывался идти на войну.

Иван Васильевич, ничего не сказав в ответ на это, налил всем вина.

Дружно выпили Захарьины, поднявшись со скамьи, за здоровье царя.

Иван Васильевич был молчалив. Иногда только отрывисто, как бы отвечая сам себе, он говорил: «Ну что ж! Добро, коли так!»

Самый смелый и расторопный из братьев Захарьиных, Никита Романович, приложив руку к груди, громко сказал:

— Мудрое слово молвил, государь! Есть верные рабы у царя. Вот мы!.. Скажи мне царь: влезь на колокольню и бросься отсюда головою вниз — и не буду думать я, и в сей же час богу душу отдам за пресветлого государя...

— Мы тако ж!.. Слово царя для нас равно божьему слову,— проговорил Григорий, приложив в знак преданности руку, украшенную перстнями, к груди.

Иван еще и еще налил вина. Видно было, что он сегодня хочет много пить. Слова «Никитичей» ему пришлись по душе.

— Да и то сказать... Добрые люди не перевелись на Руси, и они составляют опору великую державе российской. Государя любят, государя славят, за государя умирают... Война народом моим подержана.

Иван Васильевич выпил один, не дожидаясь никого, свою чарку, стремительно поднялся из-за стола. Заложив руки за спину, он принялся ходить из угла в угол просторной палаты.

— Стало быть, вы думаете, худо не будет от расставания с такими людьми, как Сильвестр и Адашев?— тихо спросил он.

И, не дождавшись ответа шурьев, сам ответил себе:

— Не легко. Тяжко! И вот теперь, в ту минуту, когда я наложил на них опалу, мне чувствуется, что превысил я тнев свой... Ищу я му им, и с трудом нахожу ее, а найдя, не вижу тяжести в ней... Но знаю, чую — расставаться нам надо!..

— Батюшка-государь, но ведь есть же добрые слуги, честные, преданные тебе люди... Они заменят их! — воскликнул Григорий.

— Кто? — быстро спросил царь, остановившись среди палаты. — Уж не Алешка ли Басманов? Не Васька ли Грязной? Иль, может быть, Афонька Вяземский? Их много таких-то. Их жалую! И буду жаловать, но рядом с Сильвестром и Адашевым никогда не поставлю! Никогда!

Захарьины притихли. Царь с пренебрежением перечислил всех своих новых приближенных, своих любимчиков. Слава тебе, господа, что не упомянул их, Захарьиных!

Иван Васильевич подошел к столу:

— Что же вы?! Ну-ка, Гриша, наполни нам чарочки... Фряжское вино, из далеких стран привезли мне его.

Стоя выпил свою чарку и опять стал хохотать из угла в угол по комнате, искоса поглядывая в сторону «Романовичей».

— Ты, Григорий, мужик не глупый, однако же все не то говоришь. Угодничаете, а тебе того не надо: ты — брат царицы! Пошто тебе угодничать? Да разве правому делу в государстве одни хорошие, честные люди пользу приносили?.. Никогда не было того ни в одном земном царстве... Вот у Эрика швейцарского Георг появился Перссон. Хорош ли он? Христианин ли он в человечество? Нет такого пса, который бы не постыдился назвать его своим братом, и, однако же, он у Эрика первый человек, в канцлеры смотрит... А кто же тот Перссон? Весь мир знает, что сыщик он, кровосмеситель и кат, и христианского ни кровинки в нем нет, человеческого тоже. Им же сильна швейцарская держава! А ему и всего-то три десятка годов... Так-то, Никита! Не одни добрые христиане и преданные государю люди помогают добрым государственным устройствам... такого бы, как Перссон, и я бы не прочь иметь. Васька Грязной, Гришка — его брат, Федор — сын Басманова и много их, молодчиков, воровских дел не чуждаются, девок портят, без содомства не обходятся... Но уже немалую пользу принесли они не только мне, а и всему народу. Государь должен быть справедлив во всем и, хуля врагов, не думать о добродетелях своих друзей больше того, что они имеют.

Захарьины смущенно переглядывались между собою. Им показалось, что царь о них думает так же. Стало жутко. А главное, никак не угадаешь, что сказать, чтоб государю понравилось. Ни так, ни этак! Все невпопад!

— Два года войны с немцами, — продолжал царь, — многому научили меня. Война помогла мне разглядеть истинных друзей и разгадать своекорыстных. Мои воеводы, увы, думают, что скоро кончится война и настанет мир... Они жгут села и деревни и убивают безоружных, — это легче, нежели покорять. Не один раз мы били немецких рыцарей-воров, а шокорешною страной Ливонию не назывет и глупец! Но я поклялся всем государям, что мир настанет лишь тогда, когда наша истинная вотчина, Лифляндия, со всеми городами, со всем нашим добром, отойдет к нам! Когда это будет, один бог ведает! Моего терпения хватит на всю войну, но хватит ли его у моих воевод? Наиболее тверд Андрей Михайлович. Ему я и доверил свое войско, хотя он и адашевский друг. Он тверд, и воинское дело любо ему. Ошибаюсь я или нет, но доверять ему буду.

В доме дьяка Сатина, родственника Алексея Адашева, глубокое уныние. Оправдалось предсказание одного прохожего странника, ночевавшего в сатинском доме, что 1560 год будет несчастным для Федора, Андрея и Алексея Сатиных. Долго тогда думалось: почему несчастье должно постигнуть всех трех братьев, а не одного?

И вот случилось...

Неужели князь Андрей Михайлович Курбский, победоносно ведущий новое наступление в Ливонии, взял крепость Феллин для того, чтобы в нее на воеводство был сослан его ближайший друг Алексей Адашев? А случилось именно так! О, этот несчастный для всех адашевских родственников и друзей июль 1560 года!

Братья Сатины, а с ними князья Ростовские, Шаховские, Темкинны, Ушатые, Львовы, Прозоровские и многие другие горько оплакивали в молитвах перед иконами попавших в опалу Сильвестра и Адашева.

Вся Москва заговорила об этом событии с удивлением и страхом. Кажется, нашествие на Москву крымского хана так бы не взволновало москвичей, как это.

Федор Сатин, от природы живой, ловкий человек, теперь не вылезал из своей горницы, стал пить. К нему присоединился сначала Андрей, а потом и младший Алексей. Пили и ворчали на царя. Всею виною Ливонская война! Не захотел Иван Васильевич послушаться своих советников! Что будет он делать без Адашева и Сильвестра? Пронадет!

Погубит все государство! Много ли еще таких умных голов сыщешь?!

Митрополит будто бы ходил просить о помиловании Сильвестра и Адашева, но ничего не добился. Будто бы царь сказал, что Сильвестр «по своему желанию» удалился в монастырь. Алексея Адашева он, государь, почтил саном воеводы: постыдно такому мудрому человеку во время войны быть писарем, сидеть в Посольском приказе.

Вот и пойми тут, смеется царь, или впрямь честит Алексея?!

Но и малый ребенок видит, что царь охотно расстался со своими первыми советниками.

Князь Семен Ростовский под хмельком залез на колокольню, хотел броситься с нее вниз головой, однако пономарь Никишка стащил его вниз, только ногу ему немного вывернул. Хромать стал князь на другой день.

Не лучше случилось и с князем Василием Прозоровским. Ушел рано из дому и бросился в глубокий богац Москва-реки. Стал тонуть, испугался. Закричал о помощи. Как раз царь Иван Васильевич возвращался со стрельцами с рыбной ловли. Велел спасти князя. Насилу вытащили.

— Ты как попал в сей ранний час в воду и в рубахе и портах?— спросил он князя Прозоровского.

А тот буркнул в ответ:

— Аз, батюшка-государь, ума рехнулся!

Царь приказал его схватить и запереть в «безумную избу» и оттуда его не выпускать, «докедова вновь не поумнеет».

Обо всем этом много толков было в доме Сатиных. Осуждали они царя и за его «демонское упрямство».

Приезжали в Москву послы из Литвы и Польши, из Дании, из Свейской земли и все просили от имени своих королей прекратить пролитие крови в Ливонии. А он наладил одно: «Ливония — извечная вотчина государей российских и буду биться за нее, докудова нам бог ее даст!»

И всем боярам и князьям казалось это смешотворным. Ради моря столько крови проливать! На что оно Москве? Ну, если бы кто-нибудь обидел, оскорбил бы его род, или жену его; или царевичей, а то извольте... море ему понадобилось, как будто своей воды мало! Чудно! Не поймешь его! Все делает в ущерб державе. А главное... Сильвестр и Алашев! Без них теперь все погибнет: и бояре, их друзья, и воеводы, и дьяки, ими оставленные, и вся Россия!

Да одни ли Сатины так думали?! Во всех Приказах со страхом шептались о том же. Многим казалось, будто все хорошее, что в государстве делалось, — все это от них: от Адашева и Сильвестра, и от их друзей бояр;

а царь за их спиной и вся родина благоденствовали, жили весело, беспечно. А вот, когда царь стал сам править, так и началась эта проклятая война, а вместе с нею и поборы, и увод людей на поля сражений, и неурядицы на южных границах, разоряемых крымскими татарами... Если бы царь по-старому слушался своих советников, ничего бы этого не было. Жил бы он спокойно, радовался бы на своих деток, ездил бы по монастырчм богу молился, веселился бы в своих царских хоромах с ближними боярами, на охоту бы ездил... Господи, чего ему нехватало? Нет! Все что-то придумывает, мудрит. Вишь, за море его потянуло, торговать, плавать в иные страны, будто своей земли мало! Гибель! Гибель грозит государству без мудрых правителей Адашева, Сильвестра и таких бояр, как Челяднин, либо Курлятев, а уж теперь, после удаления Сильвестра и Адашева, какие они слуги государю!

Только вид будут казать услужливый, чтоб царя не обидеть, а дело свое по-своему выполнять станут. Страх ради — не служба! «Что-то будет?!» — многих мучила эта мысль. В церквах молились, дабы бог помиловал родину, не допустил бы внутренних смут, измены и охранял бы родину от враждебных ей королей.

Потянулись дни, недели, месяцы, овеянные постоянной тревогой за судьбу государства, в сомнениях и полной придавленности.

Юродивые и клекуши на базарах и перковых дворах предсказывали кончину мира.

Были нападения на Печатный двор: многим казалось, что во всем виновата сия «сатанинская хоромина». Стрельцы хватили нападших, пороли, запирали в тюрьму.

То и дело извещали Ивана Васильевича его зарубежные друзья о совещаниях, происходивших в Германии, направленных против Москвы. Всякий раз, получая донесения о том, он сердито говорил:

— Спать не дает немцам Москва.

Третьего марта 1559 года — рейхстаг.

Первого мая 1559 года — Аугсбургский рейхстаг.

А в скором времени немецкие владыки собирались созвать обширный депутатсионстаг в Шпейере, и все по поводу «московской опасности».

Шведские политики под влиянием Фердинанда стали вновь предлагать европейским державам свой старый план нападения на Россию. Вопрос теперь только в Англии, с которой у царя установились дружественные отношения. Шесть лет тому назад шведский король Густав Ваза склонял Марию Английскую, Данию, Польшу и Ливонский орден к

одновременному нападению на Московское государство. Сам он предлагал вторгнуться в Россию со стороны Финляндии. Польша, соединившись с Ливонией, должна была напасть с запада. Густав Ваза проповедывал отнесение России от моря далеко на восток. Он говорил, что от Москвы надо отгородиться «китайской стеной».

В ответ на слухи, доходившие из-за границы, Иван Васильевич стал еще более укреплять прирубежные города, строить новые, связывать их между собою земляными валами и рвами и увеличивать стражу. Он обратил особое внимание на улучшение вооружения засечников. К рубежам сгонялись породистые конские табуны для скорой связи между засеками и внутренними городами России.

Посольский приказ тоже работал дни и ночи. Сам царь принимал участие в составлении писем иностранным государям. Он стал стремиться к еще более тесной дружбе с Англией. Постоянная распря между Швецией и Данией давно привлекала его внимание. Его симпатии были на стороне Дании. Он послал лучших своих дьяков для налаживания союза с датским королем.

Иван Васильевич с пышной торжественностью принимал в Кремле германских послов, прибывших в Москву с целью заступничества за Ливонию.

Во время приема царь жаловался на коварство немецких правителей в Прибалтике, постоянно обманывавших его, причинявших его стране большие убытки. Они мешали Москве сношениям с европейскими государствами.

— Коли они почитают себя немцами,— говорил Иван Васильевич,— надобно бы им прежде всего обратиться за советом и добрым посредничеством в распре с нами к своему исконному главе, к императору римскому, цесарю Фердинанду, но не так, как делают они... Прежде того они поклонились польскому Жигимонду, потом дацкому Христиану, после того свейскому Густаву... Передайте моему брату, великому цесарю, что ливонские земли не перестать нам достигать, доколева нам их бог даст!..

В честь германского посольства во дворце состоялся богатый пир, на котором с начала и до конца присутствовали сам царь и даже с парницею, вопреки обычаям.

На другой день Иван Васильевич передал послам собственноручное письмо на имя императора Фердинанда.

Это письмо было доставлено послами лично императору.

Письмо Ивана Васильевича написано было в таких загадочных, неясных выражениях, что даже при помощи двух знатоков русского

языка император Фердинанд не мог вполне разобраться в смысле царевой грамоты. Царь писал, что, если императору угодно, то пусть он пришлет в Москву кого-нибудь из своих светников; ему царь докажет свои права на Ливонию.

Висковатый подмигивал дьяку Писемскому после написания этого письма, шепнув ему, что батюшка-царь хитрит, будто он сторонник католицизма, в угоду Габсбургам, ибо в наследственных землях их господствует «папская вера». Фердинанда по губам «медом мажет». А царь писал о ливонцах, что раз они так легко изменили католической вере, то нетрудно им стало изменить и своему владыке-императору.

Германский император не на шутку испуган был успехами русского оружия. Выпустить из рук прибалтийские земли, отдать вновь Москве захваченное предками у русских богатство и море?

Он писал письма не только царю Ивану, но и королям Дании и Швеции. Он писал им, что война России с Ливонией касается не одной только Германии, но и всех соседних с Орденом государств. Он обращался к королям Дании и Швеции за советом и помощью и просил их «пожалеть бедных ливонцев». «Дании и Швеции,— писал он,— тоже будет грозить опасность, если московский царь утвердится на берегах Балтийского моря. Одной Ливонией вряд ли царь удовольствуется. Он захочет идти дальше на запад, начнет воевать прусские земли, а там придет очередь и за Данией». Всем соседям Ордена он советовал подумать над тем, как сохранить за империей ее форпост на востоке.

Датский король и шведский отвечали императору Фердинанду в тусклых, неясных выражениях, из которых было видно, что они не намерены ввязываться в войну.

.

Нарва становилась самым оживленным портом на Балтийском море.

Со всех концов Европы потянулись сюда торговые люди. На пристанях, у амбаров, купеческих палашей звучала речь на разных языках. К услугам приезжих купцов были настроены «немецкие избы». Здесь они получали и ночлег и еду. Здесь же находились и толмачи-переводчики.

Днем и ночью, распустив паруса, к пристаням подплывали красавицы-корабли. Они везли в Россию не только товары, но и розмыслов, ученых, врачей, рудопрокателей, корабельных, пушечных мастеров и многих других, нужных Москве людей.

Сукно, медь, олово, соль, оружие и прочие товары перегружались с кораблей на телеги.

Громадные обозы уходили в Москву и в иные русские города.

Московские купцы продавали иноземным купцам кожевенное сырье, лес, мед, пеньку, лен и хлеб.

Наехали в Нарву, боясь утраты прежнего влияния в торговле, новгородские купцы. Им хотелось быть первыми и в Нарве. С Новгородом соперничали псковские гости. Но трудно было им бороться. Иноземцы высоко ценили новгородский лен, разбирали его нарасхват; денег не жалели, чтобы закупить его побольше. Он был длиннее и чище, чем у других. Нужды нет, что цена несколькими рублями с пуда выше остальных.

Московская торговля с трудом завоевывала признание на рынке, хотя московским гостям покровительствовал сам царь. Трудно Москве было бороться с Новгородом и Псковом. Еще ее и на свете не было, а новгородцы да псковичи на всех морях уже известны были своими товарами.

Однажды приплывшие на многих кораблях любчане подняли невообразимый шум около воеводской избы в Нарве. Чуть ли не со слезами на глазах кричали они вышедшему к ним дыку, что до них дошел слух, будто англичане добиваются у царя монополии на нарвскую торговлю.

— Свокорыстию англичан нет пределов! — говорил с возмущением один немецкий купец, рослый, бритый человек, размахивая кулаками. — Мы будем топить их корабли, коль они будут к вам плавать! Мало им Студеного моря! Захватили они его! Хотят захватить и Балтийское... Не дадим! Не пустим!

Вышел сам воевода и заявил, что великий государь Иван Васильевич никому не мешает торговать в Нарве, и что это болтовня досужих людей либо врагов Москвы; английская королева первая послала своих купцов в Москву с дружеским посланцем. Ей и первое место.

Воевода, однако, знал, что английские купцы действительно добивались у царя монополии в торговле с Нарвой, но промолчал.

«Нарва для всех!» — такой приказ пока получил нарвский воевода из Москвы.

Слова воеводы успокоили любчан и других немецких купцов.

VII

Во второй половине июля на Арбате вспыхнул пожар.

Лето было знойное, засушливое. Нагретые солнцем бревна в домах быстро воспламенялись. В течение нескольких минут были охвачены огнем десятки домов.

Над Москвой проплыли клубы зловещего черного дыма. В нем утонули очертания кремлевских стен, соборов, башен.

Оседая в узких улочках и переулочках, дым сгустился, прилеп к земле. Только крики и плач обезумевшей толпы, взлеты огня и треск загоравшейся древесины вносили оживление в это непроходимое царство дыма.

Временами на землю шлепались с шипением горящие головни, выброшенные силой пламени вверх.

Иван Васильевич в это время сидел в опочивальне жены. Накануне она почувствовала себя плохо и теперь не оставала с постели. Побывали у нее все английские и немецкие врачи, но лучше ей от этого не стало.

В открытое окно царь вдруг увидел тучи дыма, медленно растекавшиеся в безветренном воздухе над зубцами кремлевской стены у Тайницкой башни.

Охваченный тревогой, он вскочил с места, подошел к окну, и сразу все понял. Опять пожар, большой пожар! На кремлевском дворе раздались частые, тревожные удары в билью и громкие выкрики дворцовой стражи.

В паричьну опочивальню вбежала мамка Варвара Патрикеевна и, упав перед парией на колени, истонным голосом вскрикнула: «Матушка-государыня, горит!»

Анастасия испуганно вскочила с постели. Затряслась, стала шептать про себя молитвы.

Царь грозно нахмурился и с силой вытолкнул Натюю фон из опочивальни.

— Не бойся, красавица-царица! Не бойся! Все обойдется.. Патрикеевна ума лишилась! Дура!

Он осторожно помог Анастасии снова улечься в постель, прикрыл ее одеялом, поцеловал и, приоткрыв дверь, крикнул Вешнякова:

— Вели позвать царицину повозку. Да зови митрополита! Лекарей тоже! В Коломенское отведем государыню!..

Вспрыгнув к постели, он сказал:

— Чтоб докупи и беспокойства тебе не было, поезжай-ка ты, Настенька, с митрополитом в Коломенский дворец.. Там отдохнешь!.. Скоро и я там буду.. Взглянуть мне надобно на огонь да наказ слюдам дать.. чтоб еще больше беды не случилось.

В окно стал проникать запах гаря. Иван Васильевич захлопнул ставни.

Анастасия умоляющим взглядом смотрела на мужа:

— Поедем со мной!.. Не оставайся один!.. Боюсь я за тебя!.. Страшно! Не они ли опять подожгли Москву? Да и тебя хотят погубить!.. Не ходи туда!.. Горяч ты!.. Погибнешь! Намрасно ты опалился на «силывестрову орду».. Не они ли?!

— Полно, государыня, не кручинься!.. Царь я! Кто смеет стать против меня? А кто станет — того и самого не станет!.. Лютой казнью уничтожу!.. Не бойся, матушка, ныне не так, как в те времена. Ваську Грязного возьму с собой! А робят малых заберу, вези тож и их в Коломенское же!..

— Иван Васильевич! Батюшка!.. Сердце мое болит!.. Недоброе ты задумал!.. Худа бы не приключилось! Несчастья!

В дверь постучали.

Царь отворил. Вошел Веняжков.

— Игнатий! Ваську да Гришку Грязных същите. На пожар поскачем!..

— Повозка подана, батюшка Иван Васильевич! Митрополит в ожидальной палате!.. Лекаря тож.

— Ну, Настешка, полымайся!.. Игнатий, клич баб!..

Веняжков ушел.

Вскоре в опочивальню на носках, испуганно озираясь по сторонам, вошли Варвара Нагая и любимая царичина мамка Фетинья. Сопных девушек и боярышек царца отослала обратно. Варвара и Фетинья одели царшу. Иван Васильевич внимательно следил за тем, как они ее одевают. Иногда помогал им.

Поддерживаемая Варварой и Фетиньей, Анастасия Романовна усердно помолилась на икону. Потом взглянула на Ивана, несколько минут смотрела на него с грустной улыбкой.

— Непослушный ты! — тихо сказала она. В глаза ее были слезы.

— Можно ли царю, бросив стольный град в несчастья, бежать, словно зайцу?.. Государыня, не склоняй к малодушию! Люблю тебя, но... Москва! Подумай! Москва горит!..

Голос его дрогнул, он, крепко обняв жену, поцеловал ее, оттолкнул Варвару Нагую и Фетинью, поднял царшу на руки и понес ее через покои дворца к выходу.

Находившиеся на крыльце и около него люди низко опустили головы, не смея взглянуть на царшу. Видны были только их согнутые спины и руки, касавшиеся кончиками пальцев земли. Стало так тихо, словно толпа придворных и дворцовых слуг сразу окаменела.

Около повозки, тоже согнувшись, стоял митрополит Макарий. Иван Васильевич сам усадил ее и детей в повозку. Еще и еще раз поцеловал ее и детей, помог сесть митрополиту и двум лекарям. Окна плотно завесили занавесками. Царшу никто не достоин видеть.

Полсотни стремянных стрельцов на лихих скакунах под началом Алексея Басманова окружили повозку.

Царь приказал Басманову не пать копей, ехать тихо, не беспокоить царшу криками и шлепачьем блячей, соблюдать тишину, а в Ко-

ломенском дворце поставить крепкую стражу. Басманов, сидя на коне, в шелковом голубом кафтани, расшитом золотыми жгутами, почтительно поклонился, слушая распоряжения царя.

— Ну, с богом!

Иван Васильевич озабоченно осмотрел копей и отряд стрельцов и, найдя все в порядке, махнул рукой.

Запряженная восьмеркой сильных вороных лошадей, большая шестиколесная повозка, привешенная на ремнях вместо рессор, тихо выехала в раскрытые ворота.

Иван Васильевич долго смотрел с крыльца вслед возку, пока он не скрылся из глаз, затем помолчал, окинул строгим взглядом людей, собравшихся около крыльца.

Григорий и Василий Грязные уже были тут с толпою своих стражников, ожидая приказаний царя.

— Коней! — громко крикнул Иван Васильевич. — На пожар поскачем! Берите колья, батры, кадушки с водой! Провернее! Проворней!.. Где горит?

— На Арбате, великий государь! — отчеканил Василий Грязной. — Шибко горит!

Быстро собрали обоз с бочками, с баграми, лестницами.

Царь, переодетый в простое платье, мало отличавшееся от одежды простолюдина, вскочил на своего коня.

— Гайда! — крикнул он.

Всадники и обоз помчались к Троицким воротам!.. Впереди всех скакал на коне с гланьем, размахивая плетью, вихрастый, горластый Василий Озорной, как звали Грязного в Кремле. За ним два стрелецких охотника, потом сам царь, а позади всех Григорий Грязной с десятком конных жюлейщиков.

На Арбате творилось что-то страшное.

Дышать нечем, дунуть смрадом, конотью; раскаленный воздух обжигал лицо, а царь скакал все вперед и вперед, в тот конец свободы, где еще огонь не успел распространиться с той силой, что посреди Арбата. Поперек дороги удручившей стеной перекинулась мутная, непроницаемая мгла пожарница. Василий Грязной осадил коня, оглянулся на царя. Тот выхватил саблю и указал ему скакать дальше.

Не задумываясь, Грязной нырнул в смрадное море, за ним стрельцы, а затем сам Иван Васильевич. Ударило жаром, стиснуло глотку, голова одеревядела, в ушах гул, кони полезли на дыбы, но еще, еще несколько скачков!.. и снова простор бушующих огней и клубы уходящего столбами к небу неистопного дыма.

В иных местах строения догорели, в иных уже сгорали, а местами только еще загорались. Туда-то и отправил царь свой обоз.

Толпившиеся здесь бояре и дворяне, увидев царя, низко поклонились ему.

Подъехав к пожарщику, Иван Васильевич соскочил с коня, выхватил у стрельца багор и побежал к ближайшему, только что вспыхнувшему дому.

Василий Грязной приставил лестницу к крыше. Пламя билось под крышей. Надо было дать огню выход. Царь крикнул Грязному, чтобы тот разворотил тесины. Сам тоже полез на крышу, приказал, чтобы ему подавали воду.

Стрельцы поднимали бадью за бадьей. Царь выхватывал их и, приближаясь к раскрытым Василием Грязным местам в крыше, обдавал их водой.

На это со страхом взирали бояре, оцепеневшие внизу при виде царя. Огонь полыхал рядом с царем, казалось, он уже коснулся его одежды. Но вот царь скинул с себя кафтан и рубаху и бросил их вниз, оставшись по пояс обнаженным. Народу, возвышемуся внизу с бочками и растаскивавшему горящие башки, бросилась в глаза могучая волосатая грудь царя, его широкие плечи и мускулистые руки.

Среди пламени и дыма видно было, как царь и Грязной с двух сторон обдают огонь водою из подаваемых им снизу бадеек.

Устыдившись, бросились в лучину огня и дыма спасать от огня соседние строения бояре и дворяне.

Кое-кто срывался с горящих домов, разбивался; иные проваливались в горящие здания и погибали там.

С почерневшим от копоти лицом Иван Васильевич обернулся к суетившимся внизу людям и велел им оканчивать Арбат. Вмиг побежал народ с лопатами, мотыгами: мужчины, женщины, дети.

Царь потребовал копые, стал копыем сбрасывать на землю еще продолжавшие гореть башки. Внизу их засыпали землей, топтали ногами.

Большой, грозный, покрытый сажей и копотью, размахивая копыем, царь привел в движение всех, кто только находился здесь. Малые ребята, и те стали копотиться около огня, помогая старшим.

Василий Грязной лазал по самому карнизу высокой хоромины, как кошка; казалось, вот-вот он сорвется и упадет.

Погушив огонь в этом доме, царь остановился, разгладил рукою волосы, провел ладонью по груди, выпрямился, осматривая другие горевшие в соседстве дома, и крикнул что есть мочи хриплым голосом:

— Васька! Айда вон в ту хоромину!..

Блеснули большие, страшные белки под густой бахромой почерневших от сажи ресниц.

Царь быстро слез на землю и побежал с копыем в руке к соседнему дому.

Пожар бушевал несколько дней. И все время сам царь принимал участие в тушении пожара.

— Нет такого огня, который мог бы сжечь Москву!— сказал царь с гордостью, когда кончили с пожаром.— Москва мир переживет!..

А через несколько дней царь со своими телохранителями, кавказскими горцами, под началом князя Млашиши, поехал за Анастасией Романовной в село Коломенское.

В кремлевских домах страх и тишина.

У всех ворот конная и пешая стража; на кремлевских стенах караульные пушкари; площади и улицы в Кремле опустели; свирепо таращат глаза, держа наготове арканы, псаря,— они ловят бродячих собак.

В боярских теремах перешептываются, вслух не говорят. Из уст в уста передается весть, будто в ночь, когда царицу привезли в Кремль из села Коломенского, под окнами царичьих покоев черная косматая собака вырыла глубокую яму.

Царь велел изловить провинившегося пса и сжечь его живьем в печи, а сторожей-воротников посадить в земляную тюрьму и пытать: откуда взялась та негодная тварь, чья она, и кто об этой яме пустил слух; да и собака ли вырыла ту яму, могла ли она изъять столько земли из недр? Сам Иван Васильевич осматривал яму, и ему показалось, что рыло не собачьими лапами, а либо мотыгой, либо лопатой. Но все же пса должны сжечь, чтоб злодеи знали, что с ними будет поступлено так же.

В расспросе сторожа-воротники крест целовали, что они тут ни в чем не повинны, и что собака та, по их мнению,— нечистая сила, которая пробралась на царский дворик невидимо и неслышимо, а не собака. Оборотень!

Когда царю донесли о том, он задумался. Велел, чтоб собаку жгли при нем. Он, царь, по естеству сразу увидит: настоящая та собака или наваждение. Так и было сделано. Царь взял в руки обгорелые кости и шерсть сожженной собаки и деловито осмотрел их. Кости как кости,— он остался при своем убеждении: собака настоящая, никакого волшебства в ней нет, визжала она так, как визжит всякая тварь, если ее жгут. И мясо, и кости, и шерсть— все земное, плотское; а сторожей за то, что они хотели обмануть царя, Иван Васильевич приказал бить нещадно, пока «голоса не станут».

Все это делалось в полной тайне от паршвы. Под страхом лютой казни запрещено

было передворцам, слугам, парничьим бабкам рассказывать Анастасии Романовне о собаке и об яме.

Дошло до царя, что Сильвестр обмолвился в монастыре, куда удалился на покой, про Анастасию: «Пезавель печестивая, не царица она кроткая! Все прикидывается. А сама крови так и жаждет, так и просит от обезумевшего супруга и царя своего!»

В хорме Владимира Андреевича и вовсе молились о том, чтобы бог прибрал «болящую рабу Божию Анастасию». Особенное усердие к тому прилагала его мать, княгиня Евфросиния. Она даже свечи в своей моленной ставила зажженным концом книзу, а когда огонь с шипеньем угасал, придавленный к подсвечнику, она говорила: «Упокой, господи, душу новопреставленной рабы Анастасии».

То же самое делали боярыни во многих боярских домах. Проклинали там не только Анастасию, но и весь род Захарьиных, ее братьев — Данилу, Григория и Никиту, говорили, что все через них. Швойна с Ливонией, и опасности на бояр, и то, что царь променял бояр на иностранцев, татарских князьков, казаков, дворян незначитных и дяков-шесарей, — все ставилось в вину Анастасии и ее родичам.

Борьба не кончилась!

Она будет в страшных, позорящих тебя и твою семью сплетнях, в измеле людей, на которых ты больше всего надеешься, в запугивании тебя разными знаменьями и приметами, в тайных молитвах о наказании недугами и несчастиями царской семьи, в воеводском самоуправстве и неисполнении московских приказов по областям и уездам, в поругании твоей церкви заволжскими старцами, и во многом, где царь бессилен не только найти виноватых, но где он бессилен все это сыскать, узнать, услышать. Глухой да пьяный проговорится, а лукавый никогда.

Кто кого — еще посмотрим!

И хотя царю никто так не посмел сказать, но он часто читал эти мысли в глазах неугодных ему людей.

И в самом деле, так думали многие князья и бояре, так рассуждали они в своем тихом, замкнутом кругу под сенью дворцовой кровли князя Владимира Андреевича.

Сильвестр и Адашев удалены, но этим дело не кончится.

.....

С невероятным трудом бояре и их жены скрывали свою радость, которая охватила их, когда внезапно раздался печальный звон всех кремлевских колоколен, известивших о кончине царицы Анастасии.

Случилось это в пятом часу дня седьмого

августа тысяча пятьсот шестидесятого года.

Сначала у царицы сильно болело под сердцем, потом ее начало рвать, она бросилась на пол, каталась по полу. Иван Васильевич не мог ее удержать, а когда притихла, он поднял ее с пола и на руках донес до лежка, склонился над ней и, едва дыша, обезумев от ужаса и горя, тихо спросил:

— Голубушка, царица!.. Я здесь... с тобой!.. Что же это такое?!

Она открыла глаза.

В комнату, волоча по ковру куклу и переваливаясь, вошел крохотный царевич Федор. Он остановился, с улыбкой стал следить за отцом и матерью. Вбежал царевич Иван в шлеме и с мечом через плечо, и тоже остановился. Он сразу заметил, что произошло что-то неладное с матушкой, какое-то худо, и заплакал: «Матушка!» Глядя на него, принялся плакать и малютка Федор. Оба вцепились ручонками в одежду отца.

Они, забившись в угол, подняли громкий плач.

— Анастасия! Юница моя!.. Очнись!.. — сложившись еще ниже, — кричал Иван Васильевич.

— Дети!.. Государь!.. — тихо, едва слышно, проговорила Анастасия, на мигу остановив на лице мужа тусклый, полный ужаса взгляд.

Иван Васильевич схватил обоих детей на руки и поднес их к царице, подавляя подступившие к горлу рыдания.

Дети вцепились ручонками в холодящее тело матери: «Матушка!» Шлем с царевича Ивана со звоном упал на пол.

— Нет! Уйдите! — задыхаясь, проговорил царь, сняв с постели детей. — Уйдите! Эй, Варвара, уведи их!..

Вбежала старая мамка Варвара Патрикеевна Нагая, схватила плачущих детей и понесла их из опочивальни.

Царь прильнул губами к лицу жены. Оно было неподвижно, глаза полуоткрыты, черные ресницы перестали трепетать.

Мрак смертельной тоски навалился на согнувшегося, растерянно смотревшего в лицо покойницы царя Ивана.

Невольно поднялся, вытянулся, как бы страхивая с себя какую-то тяжесть, сделал неуверенными движениями руки крест над телом Анастасии.

Иван блуждающим взором оглядел царичьню опочивальню. На круглом столике лежало некопечинное царичьино рукоделье, два больших румяных яблока. Одно из них уже откусенное.

Толстые стены дворца в его глазах расплылись. Вечерние тени бесшумно склизли, ткали серые пятнистые кружева за окном.

Затяжким, тягучим, медленным воем наполнилась опочивальня царицы. Царь крепко припал к этому любимому, такому дорогому для него телу.

— Прости, Анастасия! Прости! — вскрикнул царь, крепко стиснув холодеющую руку жены.

Оторвавшись от постели, он на посах, как всегда, когда находился в опочивальне, чтоб не разбудить царицу, подошел к столу. Яблок! Яблочный Спас!.. В кремлевских садах много яблонь... Сегодня он сам сорвал и принес царице несколько румяных крупных яблок.

Осторожно, дрожащей рукой Иван взял откушенное яблоко и долго смотрел на него.

Царь оглянулся: бескровные губы сжаты, никогда уже не будет на них той солнечной, весенней улыбки, которая покорила буйное сердце его, Ивана... Но... яблоко!

— Душно мне, Анастасия! Душно!.. Он облокотился на косяк окна, трясая в лихорадке. — Анастасия! — вырвался у него из груди дымящий, полный отчаянья вопль, и большой, сильный Иван Васильевич грохнулся на пол, забывшись в припадке.

Вслед за кремлевскими печально загудели колокола всех московских «сорока-сороков». Весть о кончине царицы Анастасии быстролетела всю Москву.

Когда переносили тело царицы из дворца в Девицкий Вознесенский монастырь, толпа народа собралась на пути следования похоронного шествия; с трудом пробивалось шествие вперед гроба духовенство сквозь толпу. Все плакали, а неутешнее всех бедный люд, называвший Анастасию матерью. Нищие отказывались от милостыни в этот день, избегая всякой корысти.

Царь шел за гробом, поддерживаемый своими двумя братьями, князьями Владимиром Андреевичем и Юрием Васильевичем, и татарским царевичем Кайбулой. Он с трудом сдерживал рыдания, делая мучительные усилия над собой, чтобы не показаться народу слабым.

Андрей с Охмой находились в толпе. У обоих по щекам текли горячие слезы. Андрей не узнал царя, — так он изменился. Высокий, широкоплечий, он теперь согнулся, стал каким-то жалким, не похожим на того царя, которого Андрей не раз так хорошо, так близко видел. Царских детей несли на руках ближине бояре.

Унылое шествие монахов, плач провожающих женщин и серый ненастный день еще более усугубляли печальную картину похорон.

Под тяжелыми сводами Вознесенского мо-

настыря в мрачной торжественной тишине уныло звучали слова псалтыря.

Царь Иван каждый день ходил в монастырь и подолгу вместе с царевичем Иваном простаивал около гроба Анастасии, горячо, со слезами молясь «об упокоении души нечистой юности, благоверной, праведной царицы Анастасии».

Кроме ближних родственников покойной, по распоряжению царя, в его присутствии до погребения в собор никого не допускали. У дверей собора стояла почетная стража, над которой начальствовал Алексей Басманов.

Удаление от двора Сильвестра и Адашева порадовало многих из бояр, особенно родственников покойной царицы. Бояре Шереметевы весело встретили известие об этом, и теперь Иван Васильевич Шереметев, после кончины царицы Анастасии, был приближен к царю, как и другие близкие роду Захарьиных. Но больше всех выдвинулся теперь боярин Алексей Басманов, сын его — краветий Федор, князь Афанасий Иванович Вяземский, Василий Григорьевич Грязной, Малюта Скуратов и другие. Вокруг царя собиравшиеся новые люди, к которым он на глазах у всех был весьма милостив.

В первые дни после похорон супруги Иван Васильевич посетил своей сестры безвыходно во дворце, играл со своими детьми, ласкал их. И четыре раза в день вместе с ними ходил в домовую церковь молиться об упокоении души покойной Анастасии Романовны. Паныхиды служили любимым парашею настоятель Чудова монастыря архимандрит Левкий.

Наконец после горестных дней траура по царице Иван Васильевич выехал из дворца. Первым делом он посетил Пущечную слободу, затем занялся посольскими делами.

Он велел Висковатому послать английской королеве составленное им самим во время сждения во дворце письмо:

«...ладобны нам из Италлии и Англии архитекторы, которые могут делать крепости, башни и дворцы; доктора и аптекаря и другие мастера, которые отыскивают золото и серебро. Послали мы тебе нашу жалованную грамоту для таких, которые захотят прибыть сюда служить нам, и для таких, которые захотят послужить нам по годам, как те, которые прибыли в прошлом году, и для таких, которые захотят служить нам навсегда; чтобы и те, которые захотят приехать к нам служить здесь навсегда, и чтобы всякого рода твои люди: архитекторы, доктора и аптекари — по сей нашей грамоте приезжали служить нам, и мы пожалуем тебя за твою великую милость по твоему хотению; а тех, кто захочет

служить нам навсегда, мы примем на свое содержание и пожалуем их чем они захотят; а тех кто не захочет долее служить нам, мы наградим по их трудам, и когда они захотят пойти домой в свое отечество обратно, мыпустим их с нашим жалованьем в их страну без всякого задержания по сей нашей жалованной грамоте. И писана сия наша жалованная грамота в государственных нашего двора града Москвы».

В следующем письме царь просил королеву, чтобы она дозволила своим купцам возить в Нарву из Англии всякого рода пушки, снаряды и оружие, нужные для войны, а также корабельных дел мастеров.

Ночи не спал царь Иван, думая о том, как бы усилить свое войско, чтобы оборониться от готовящегося на него нападения со стороны других государств. Ему всегда казалось, что он что-то упускает из виду и что время у него уходит бесплодно, что бояре его слишком ленивы, беспечны.

По мере подготовки к большой войне умножились ссоры его с боярами, усиливался и ропот бояр...

В ответ на развивавшуюся между Москвой и Англией торговлю увеличилось число немецких, датских и шведских корсаров в Балтийском море. Торговые корабли из Англии, а также из Любека и других ганзейских городов стали приходить в Нарву хорошо вооруженные артиллерией. Немало разбойников погибло от купеческих пушек. В Балтийском море происходили целые сражения между купцами и пиратами, среди которых были пираты и немецких бурфюрстов.

Король польский Сигизмунд вслед за владетельными немецкими князьями тоже стал покровительствовать разбою.

Он начал писать письма английской королеве.

Первое письмо

«Ваше пресветлейшество, видите, что мы не можем дозволить плавание в Московию по причинам, не только лично до нас касающимся, но и относящимся к религии и ко всему христианству; ибо, как мы сказали, враг посредством пропусков¹ научается, — что важнее всего, — владеть оружием, необычным в его варварской стране; научается, — что почитаем наиболее важным, — самими мастерами, так что даже если бы к нему ничего более и не привозили, то уже одними трудами этих мастеров, которые, при существовании этого

плавания, будут иметь свободный к нему доступ легко будет в одно и то же время выделывать в самой варварской стране его все те предметы, которые требуются для ведения войны и которых даже употреблении до сих пор там не знают».

Второе письмо

«Мы видим, что благодаря плавантию этому, весьма недавно учредившемуся, Москаль — этот не только временный враг королевы нашей, но и враг наследственный всех свободных народов, — чрезвычайно преуспел в образовании и в вооружении, и не только в вооружении, в снарядах и в передвижении войск, что, хотя и много значит, но что, конечно, легко возбранить, но и в других предметах, против которых нельзя достаточно предостеречься и которые могут оказать ему большую помощь: говорю о самих мастеровых, которые не перестают перделывать врагу оружие, снаряды и разные тому подобные предметы, доселе не виданные и не слышанные в его варварской стране. Кроме сего, следует обратить величайшее внимание на то, что знание всех наших, даже современнейших, предприятий, немного времени спустя доставит ему возможность, зная, что у нас нет, изготовить погубель всем нашим (союзникам). Подлинно не считаем возможным, чтобы можно было ожидать, что мы потерпим такого рода плавантию остаться свободным...»

Третье письмо

«...как мы писали прежде, так пишем и теперь к вашему величеству, что мы знаем и достоверно убеждены, что враг всякой свободы под небесами, Москаль, ежедневно усиливается по мере большого подвоза к Нарве разных предметов, так как оттуда ему доставляются не только товары, но и оружие, доселе ему неизвестное, и мастера, и художники; благодаря сему он укрепляется для побеждения всех прочих (досударей). Этому нельзя положить предел, пока будут совершаться эти плаванья в Нарву. И мы хорошо знаем, что вашему величеству не может быть известно, как жесток оказанный враг, как он силен, как он тиранствует над своими подданными и как они раболопны перед ним! Казалось, мы доселе побеждали его только в том, что он был невежественен в художествах и незнаком с политикою. Продолжись это плавание в Нарву, что останется ему неизвестным? Поэтому мы, лучше других знающие сие, будучи с ним в пограничном соседстве, не можем, по долгу христианского государя,

¹ Разрешение английским купцам плавать в Россию.

во-время не присоветовать прочим христианским государям, чтобы они не продали в руки варварского и жестокого врага свое достоинство, свободу и жизнь свою и своих подданных; ибо мы ныне предвидим, что, если другие государи не воспользуются этим предостережением, Москаль, тшеславясь тем, что ему привезли эти предметы из Нарвы, и усовершенствовавшись в военном деле орудиями войны и кораблями, сделает этим путем нападения на христианство, чтобы истребить и поработить все, что ему воспротивится, от чего до сохранит бог! Некоторые государи уже послушались этого нашего предостережения и не посылают кораблей к Нарве. Прочие же, которые будут плавать этим путем, будут захватываемы нашим флотом и подвергнутся опасности лишиться жизни, свободы, жен и детей. Итак, если подданные вашего вел-ва воздержатся от этого плаванья в Нарву, им ни в чем нами не будет отказываемо. Пусть ваше вел-во взвесит и обсудит поводы и причины, побуждающие нас останавливать корабли, идущие к Нарве. В оставшке этой, как мы уже писали к вашему вел-ву, нет никакой вины со стороны наших подданных».

Королева английская Елизавета оставила эти письма, так же как и письма других королей о том же, без внимания, продолжая покровительствовать торговле английских купцов с Россией. А в одном из своих писем, которое, по словам королевы, являлось «тайной грамотой», известной, кроме королевы, только самому королевскому тайному совету, она уверяла царя Ивана в своей искренней дружбе к нему, закончив письмо следующими словами: «Обещаюсь, что мы будем единодушно сражаться нашими общими силами противу наших общих врагов и будем исполнять великую и отдельно каждую из статей, упоминаемых в сем писании дотеле, пока бог дарует нам жизнь, и сие государским словом обещаем».

IX

В густой зелени ясеней, кленов и дубов на берегу величественного Рейна приютился этот маленький чистенький городок Шпейер. Шпейер — место постоянных всегерманских съездов и всяких иных соборий, где стальные вались в отчаянных схватках государственные и церковные партии. Немногие другие немецкие города могли бы в этом поспорить со Шпейером.

Здесь вот и открылся одиннадцатого октября 1560 года всегерманский депутативстаг. Здесь были и представители императора: граф Карл фон Гогенцоллерн, Цезнум и Шо

бер и посланники шести курфюрстов, епископов мюнстерского, оснабрюгского и падербарийского, герцогов померанских и брауншвейгского, аббата Верденского, графа насауского и городов Любека и Госляра.

На имя депутативстага поступили письменные заявления от многих владельцев особ Германии, не приславших своих представителей. В числе таких был Иоанн Альбрехт Мекленбургский, Генрих Младший Браншвейгский и Люнебургский, Иоанн-Фридрих Саксонский, архиепископ рижский и др.

Сюда же явился и Ганс Шлитте. Его звали как человека, бывавшего в Москве и хорошо знающего повадки царя.

Этот человек, которого считали: кто шпионом Москвы, кто шпионом Германии, был невзрачного вида, пожилкой, серьезный человек, худой, болезненный на вид, плохо одетый.

Он скромно приютился в углу, на самом конце обширного, в форме полукруга, стола, стараясь быть незаметным.

Громадный мрачный купол с узкими готическими окнами, застекленными желтыми, синими, красными стеклышками; почерневшие от времени, в резных инкрустациях, пропитанных пылью, стены; желтовато-синий полумрак — все это придавало собранию курфюрстов, герцогов и епископов какой-то таинственный, сказочный вид.

На дворе был день, — правда, день пасмурный, осенний. Свечи в массивных бронзовых подсвечниках тускло освещали коричневую суконную поверхность стола.

Председательствовавший на депутативстаге уполномоченный немецкого императора граф Карл фон Гогенцоллерн, пожилой, статный мужчина, сказал, что император созвал представителей князей в Шпейер с тем, чтобы сообща обсудить, как помочь ливонцам. Предметом обсуждения данного собрания высородных господ будут также заявления некоторых правителей соседних с Московией государств о быстром усилении Москвы и ее военной мощи, и о происходящей от сего опасности всем имперским землям великого императора и его вассальным королевствам и княжествам.

Прежде всего депутаты князей и императора заслушали письма магистра Кетлера и епископа рижского Вильгельма. Кетлер жаловался на Любек и другие немецкие города, которые, во вред всему христианству, не прекращают свое плавание в Нарву, многие свои личные выгоды предпочитают общему христианскому делу. В Нарву везут они русским оружие, порох, дробь, селитру, серу и военные снаряды, провиант: сельди, соль и многое другое. Вот почему московский царь так

успешно ведет войну с Ливонией. Кетлер просил запретить торговлю с русскими. Он жаловался на то, что Ливония бедна, а немецкие государи ей не помогают. Все лето 1560 года русские сотысячным войском громили несчастную Ливонию, предавая все огню и мечу. Почти все крепости Эстонии, Гаррии и Вирланда в руках врагов. Борьбась с русскими нет более сил. Восставать стали кнехты, не получающие жалованья, бунтуют крестьяне... перебегают в лагерь русских...

Письмо епископа Вильгельма говорило о том, что московский царь намерен осадить Ригу. Всем должно быть понятно, что это будет равно полному покорению царем Прибалтийского края. Он упрекал Гамбург, ослепленный выгодой торговли с русскими. «Московит», подобный леопарду, или медведю, стремится подмять под себя все. За Ливонией та же участь ждет и Пруссию и остальные балтийские княжества.

Затем собрание выслушало письмо герцога Иоанна Альбрехта Мекленбургского. Герцог выражал сердечное сочувствие депутатам-стагу и пожелание успеха его работам.

От лица герцога выступил его прелат, бледный, безволосый человек. Тоненьким женским голосом он восклицал:

— Зверь-царь погубит христианский просвещенный край земли! Многоплеменными ордами он вторгнулся в мирную ливонскую епископию... В его войске мы видим турок, татар и многих незнаемых диких языческих всадников, жестокосердые коих превосходит все слышанное нами доселе. Они не щадят ни возраста, ни пола, они разрубают на части маленьких детей и употребляют их в пищу... Поджаривают на кострах и тут же едят их... Пленных убивают без различия сословия и положения. Зимой русские возьмут Ригу и Ревель — и все будет кончено! То же ждет Прусское, Померанское и Мекленбургское княжества и Вестфалию.

Прелат захлебнулся слезами и порывисто сел в кресло, закрыв лицо руками. В зале среди депутатов пронесся шопот, послышались крики возмущения и гнева.

Поднялся молодой рыцарь в легких, нарядных латах, надетых на бархатный камзол. Он также от лица мекленбургского герцога заявил:

— Нашему герцогству грозит явная опасность. Московское нашествие и на герцогство его светлости — неизбежно. Московиты уже строят у Нарвы флот. Торговые суда, принадлежащие городу Любеку, они захватили в свои руки и обращают их в военные корабли... Управление кораблями царь передает испанским, немецким и английским командирам. Необходимо настоять, чтобы все европей-

ские государства перестали доставлять московским дикарям оружие, порох, селитру и другие товары. Истинно, что московиты — враги всего христианского мира...

Последние свои слова рыцарь громко прокричал и стукнул изю всех сил кулаком по столу. Звякнув доспехами, сел на место. Раздался голос, что надо обратиться за помощью к Испании, Франции и Англии, а также к герцогам Баварии, Вюртемберга и Померании.

В тишине, наступившей после этого, звучал густой бас старца-великана, обросшего пышной седой бородой, — представителя Ливонского ордена. Он был одет в серый бархатный костюм, поверх которого накинута была белая плащ с черным крестом. На пальцах у него сверкали драгоценные камни. Во всем его облике и одежде видна была сановитость, пресыщенность роскошью и усталость. Он сказал:

— Сотысячное войско Москвы разоряет и порабощает нашу страну, а кругом все государи спокойно созерцают это. Лучшие рыцари Ордена убиты или томятся в плену... Балтийское море в руках Москвы! Слышанное ли это дело! Московит на море! Подумайте! Мы исполнили свой долг перед немецкими государями. Как честные немцы, мы сдерживали эту дьявольскую силу. Мы мешали Москве, пока было можно. Но держаться далее у нас нет сил: восставать стали наемные кнехты... волнуется чернь... эсты... Не получая жалованья, кнехты грозят перейти на сторону московского Иоанна... Буйствуют и не повинуются нам. Мир христианский гибнет! Хотелось бы умереть, не видя сего позора!

Старец чинно поклонился на все стороны, приложив руку к груди, и сел на свое место, смахнув с бархатного рукава пылинку.

Синие и желтые отсветы из окон зажигали лучистые огоньки радуги в хрустале бронзовых бра на консолях по стенам.

Померанский депутат, высокий, светлорусый юноша в голубом костюме, отделанном темпосившей тесьмой, и в таком же трико, сочным молодым голосом сказал:

— Не вижу я искренности во всех негодующих словах, кои здесь слышу! Мы проклинаем Москву и плачем о Ливонии, но думаем не о спасении ее, а о том, как бы нам самим овладеть тем, либо другим приморским местечком, гаванью для себя... Честно ли поступают Пруссия, Мекленбург, Швеция, Дания, Польша и сама империя, коли сами все ищут дружбы с Москвой? Зачем она им нужна? Не хотят ли они с Москвой поделить несчастную страну, находящуюся в когтях у московского медведя? Когда же про-

снется в нас совесть! Когда же христианские чувства будут выше своей выгоды!

На молодом лице выступили пятна волнения.

— Или дело Москвы правое, а наше ложное, и оттого мы топчемся на месте, не решаясь ни на что?!

Среди депутатов произошло замешательство.

Посланец рижских властей, угрюмый человек в колете из полосатого шелка, тихо загудел, жалуюсь на московского царя. Когда он говорил, то остроконечную бородавку подымал вверх, запрокинув голову назад, ибо ему мешало непомерно пышное, накрахмаленное жабо. Ничего нового он не сказал. Как и предшествовавшие ему ораторы, описывал успехи русского оружия и говорил, что как скоро русские успеют занять Ригу, — всякая помощь будет уже напрасна, и Ливония и Германская империя погибнут!

Совсем неожиданно со своего места поднялся депутат рыцарства эстонских провинций — форт замка Тольбург фон Колленбах.

Он воскликнул пронзительным голосом:

— Смерть москвитам! Смерть варварам!

Он обвинял русских в отвратительных насилиях над немецкими, латышскими и эстонскими женщинами и девушками. Тут же он клялся в том, что немцы не позволяли себе никаких насилий и неправд в отношении к русским людям и их женщинам.

— Ливония падает. Она падет — горе тогда будет всей благородной немецкой нации! — закончил он свою речь.

Представитель императора граф фон Гогенцоллерн слушал запугивания ливонских депутатов с нескрываемой улыбкой, ибо он знал, что император Фердинанд, посвятивший ливонскому вопросу несколько сотен тысяч, не склонен вмешиваться в войну Москвы с Ливонским орденом, ибо он ни на минуту не забывал о все возрастающей дружбе между Москвою и Англией. Он боялся своим вмешательством в войну поспособствовать еще большему сближению этих двух стран.

Карлу фон Гогенцоллерну, кроме того, был дан наказ не решаться и на какие-либо меры, могущие потребовать расходов и жертв людьми от империи.

Поднялся с места коренастого сложения, ярко и богато одетый депутат города Любека, купец Рудольф Мейер.

Он громким, сердитым голосом сказал:

— Кто может запретить торговцу торговать? Где такой закон? Царь-варвар, он тот понимает это и покровительствует торговым людям. Посмотрите, в какой он дружбе с английскими купцами! Царю, этому могу-

щественному государю, тяжело быть отрезанным от общения с Западом и видеть, как вся русская торговля сделалась монополией ливонцев. Вначале он надеялся на мирное соглашение, но в Ливонии не захотели этого. Они начали тайные переговоры с Польшей о войне с Москвою. Магистр Кетлер даже скрыл от своего народа заключенные договоры с королем Сигизмундом. Обманул свое государство! Ливонцы стали захватывать немецкие, нидерландские и английские корабли с товарами, закупленными царем... К царю едут немецкие мастера на службу, а ливонцы их задерживают и сажают в темницы... Царь посылал молодых людей учиться в зарубежные страны, а ливонцы их не пускают, заковывают в кандалы... Вот где несправедливость, высококордные господа! Настала пора, когда нам самим надо добиваться дружбы с русскими!.. Нет никакой причины для вражды с Россией. Варварство большее мы видим и во Франции, и в Испании, и в Нидерландах...

Разразился дикий шум. Представители Ливонии ревели, в ответ потрясая в воздухе кулаками. Посыпались возгласы: «Торгаш!», «Христопродавец!», «Негодяй!», «Иуда!».

Рудольф Мейер оглядел всех с насмешливой улыбкой, приложил руку к груди, поклонился на все стороны и сел.

Вскочил другой представитель ганзейских городов, лохматый толстяк, который, ударяя себя в грудь, закричал неистовым голосом:

— Не верьте ему! И я купец! Кто же более нас опасается захвата берегов моря русским варваром? Кому это на пользу? Английским торговцам!.. Вы забыли об Англии! Наша торговля погибнет, коль то случится! Пускай уж лучше Польша, нежели Англия.

Когда стихло, Карл фон Гогенцоллерн назвал для всех загадочное, крайне любопытное, прославленное по всей Европе имя Ганса Шлитте. Всем было известно, что этот авантюрист, кажется, был близок к московскому царю и, кажется, хорошо знает московскую политику...

Ганс Шлитте с невинной, почти детской улыбкой поднялся, поклонился. Все взгляды были обращены в его сторону. Исключительное внимание присутствующих к его особе смутило его.

— Господин Шлитте, мы будем рады услышать ваше суждение, — с некоторой долей проники произнес Гогенцоллерн.

Шлитте скромно, тихим голосом, ответил:

— Я хвораю. У меня стала плохая память после того, что я испытал в любекских и ливонских казематах. Я бы просил господа депутатов извинить меня!.. Мне трудно го-

ворить... а тем более — мне трудно лгать... можно солгать перед лицом депутационстага, но нельзя обмануть (Шлитте указал рукой на небо) того, кто надо всеми нами, — вечного судью!

Тяжелый вздох вылетел из груди Шлитте. Депутаты стали удивленно перелглядывать и перешептываться. Чей-то голос прозвучал недовольно: «Богу ответим все вместе».

Гогенцоллерн ласково обратился к Шлитте: — Депутационстаг создан во имя правды, а не во имя обмана и лжи. Вы можете быть стойкими за слова правды... Моя честь — честь слуги императора, честь немца, — тому порукой. Не бойтесь! Говорите смело!

Ганс Шлитте поклонился Гогенцоллерну. — После всевышнего, для меня нет никого на земле достойнее императора!.. Да будет все согласно воле его римско-кесарского величества!

Шлитте опять остановился; на лице его застыла какая-то фальшиво-блаженная улыбка.

Нетерпение присутствующих возросло до крайних пределов. Тогда Шлитте громогласно и смело заявил:

— Сказать правду вам, господа, царь Иван действует так, как его заставляют обстоятельства жизни Московского государства, а к немецким государям и народу немецкому он питает искреннее расположение. То могут подтвердить все бывшие у него на службе наши мастера. Царь постоянно расширявал нас о немецких обычаях и правах, о наших дворянах и крестьянах, о горах и лесах, об охоте... Даже в те времена, когда император Карл отказался от дружбы с Москвою, Иван внимательно выслушивал немцев, выражая свои похвалы немецкой нации... Митрополит хотел насильно одного немца обратить в православие, но царь воспротивился, заставил митрополита уплатить несколько тысяч рублей штрафа за это.

Гогенцоллерн перебил Шлитте: — Да не будет то неясным, господа Шлитте, — какие же обстоятельства вынуждают царя завоевывать ливонские города?..

Шлитте, не моргнув, ответил: — Турция, крымские ханы, Польша и Литва теснят Москву с юга и юго-запада на север и северо-запад, но и туда ему нет дороги: Ливония и Швеция не пропускают в Московию идущие морем корабли с закупленными царем товарами и военными и иных дел мастерами... Много убытка Польша и Швеция с Финляндией учинили московской торговле... Судите сами, высокородные господа, что было бы с Московским государством, если оно не стало бы воевать?! Да и почему винят одну Москву? Судьбу Ливонии стре-

мится решить также Польша, Дания и Швеция!

Гогенцоллерн улыбнулся:

— Но ведь немецкому Ревелю немалое огорчение видеть, как торговые корабли из разных стран проплывают мимо! Если вы немец, вы должны это понять.

Вдруг раздался пронзительный выкрик какого-то любекского кушца:

— Шведские и ревельские пираты не дают нам плыть к Нарве! Разоряют нас! Топят немцев в море!

Носыпшались выкрики:

— Мы приветствуем союз Москвы с Данией! Мудрый союз!

— А мы за союз Польши с Москвой!

Поднялся сильный шум.

Кто-то и вовсе заорал на весь зал:

— Лучше продать кому-нибудь Ревель, нежели отдать Москве!..

Гогенцоллерн стучал ладонью по столу, стараясь остановить расходившихся депутатов, а когда стихло, он сказал строго и внушительно:

— Франции никогда не видать Ливонии... Кто из вас, господа, желает говорить дальше?

На усталых лицах депутатов выразилось безразличие.

— Тогда я позволю себе, господа, познать депутационстаг с письмом, полученным императором от герцога Альбрехта Баварского. Альбрехт пишет императору, что он находит необходимым союз империи с Россией в виду турок. Императору, по мнению Альбрехта, не следует обращать внимания на Польшу и другие государства, не одобряющие союза с Москвой, а напротив, поддерживать сношения с могущественным восточным государем.

Гогенцоллерн добавил:

— Сближение России с империей не может пугать ливонских немецких правителей, — Ливонии от того будет лучше. Всем известно, что этого сближения опасаются Польша и Швеция, что не может не вызвать удивления у благоразумных господ. При всем том я должен заявить, что император не предпринимает никаких шагов к союзу с Москвой. Испуг некоторых персон не обоснован. Мы слишком умны для того, чтобы поступать с Москвой по-христиански. Москва не достойна этого.

Началось совещание: что же теперь делать? Какие меры принять против Москвы?

Гогенцоллерн был хмур. Он понимал, что папский престол уже не тот, что был при крестовых походах, что слово римского первосвященника уже не может двигать сотнями тысяч людей на край света для распростра-

нения римской церкви. Да и сами крестоносцы, познакомившись с арабскою ученостью, во многом разочаровались и разуверились. И не это ли породило Гогенштауфена, Гуса, Лютера и Кальвина! Пришла в упадок папская власть — пало и ее творение: духовные рыцарские ордена. Гогенцоллерн знал и мнение своего императора о «последних рыцарях». Ливонское рыцарство тоже обречено на гибель: не русские, так поляки, датчане и шведы сделают Ливонию своею провинцией.

Он прочитал письмо императора Фердинанда, адресованное депутационстагу. Император часть вины слагал на самих ливонцев. В письме он особенно подчеркивал их беспечность, указывал, что они заняты междуусобными распрями и политическими интригами, несвоевременным тяжбами и своекорыстием. Он удивлялся их безучастному отношению к опасностям, которыми окружена их страна. «Если внутри Ливонии такие смуты и беспорядок, — писал он, — то всякая помощь напрасна!» При своем письме Фердинанд приложил копии с писем ему Гамбурга и Любека. Оба города отказывались от денежной помощи Ливонии.

— Я бы хотел, чтобы, обсуждая то, для чего мы съехались сюда, — сказал Гогенцоллерн, — мы не забывали о могуществе Оттоманской империи. Знаменитый вождь турок Салиман подобен глыбе, которая каждый день грозит задавить Европу и Азию новою славою побед своих, и не в нашей воле ручаться за то, что ему не помогут некоторые из христианнейших соседей наших. И упаси боже, если он войдет в союз с Москвией... Мы не должны допустить этого. Есть слухи, что они обмениваются дружественными письмами...

Бывший епископ дерптский, вестфалец Йодек фон Реке, рассказал депутатам, столпившимся после собрания на галлерее замка, о распущенности и отсутствии государственного порядка, которые царят в Ливонии. Судьба ее предрешена. Он сожалел о том, что, будучи немцем, будучи дерптским епископом, не смог ничего сделать для исправления прав Ордена.

Много было разговоров и о личности московского царя. Суждения были крайне противоречивые. Кто сравнивал его с Чингизханом, говорил о нем как о человеке, стремящемся к завоеваниям, честолюбивом, окружившем себя льстецами, искателями приключений всякого рода дельцами. Другие, сравнивая его с Нероном, утверждали, что он кровожадный тиран, которому доставляет удовольствие мучить людей. Третьи называли его сумасшедшим развратником, жертвой бес-

пробудного пьянства и звериной похотливости. Четвертые, напротив, утверждали обратное: московский царь — умный, трезвый государственный деятель; добрый, приветливый и слишком доверчивый, — его часто обманывают собственные же его отечественные князья. Они стесняют его действия, мешают ему в его реформах. Нашлись и такие, которые называли его гениальным государем, лучшим в Европе дипломатом и правителем.

Эти противоречивые отзывы порождали горячие споры, причем дело доходило чуть ли не до драки. Сторонники Москвы были настойчивы в своем мнении. Они высказывали даже надежду, что царю удастся победить несогласных с ним бояр и князей, и что он правильно сделает, если удалит некоторых из них от двора.

Разговоров о Ливонии и о царе на этом депутационстаге было немало. Однако ни к чему существенному на нем так и не пришли.

Решено было отправить посольство к царю с просьбою о прекращении войны в Ливонии и оказать денежную помощь прибалтийским немцам. Запрещение купцам ездить в Россию тоже можно записать в бумагу, по запрету купцам плавание по морям не в силах не только депутационстаг, но и сам император.

С тем депутаты и разъехались. Время по текло обычным порядком. Герцоги и курфюрсты погрузились в свои дела, быстро забыли о Ливонии.

В итоге ни один из намеченных на депутационстаге пунктов не был выполнен. Благие пожелания остались в протоколах депутационстага.

.....

X

Таяли туманы. Дышали прелыми травами дуга.

Свет месяца чуть заметно серебрил верхушки роц по песчаным обрывистым буграм. Желтая листва дубов, переплетаясь с кружевом красных, похожих на звезды, кленовых листьев, воздушными чертогами раскинулась в прудутренней мгле.

Пробравшийся верхом на копе через лес Андрей Чохов невольно залюбовался тихим, безмятежным пробуждением осеннего утра. Вот на холме темная стройная ель начала нежно розоветь. Так юная послушница просыпается, разбуженная утренней истомой... Нет, нет! Долой грешные мысли!

Андрей снял шапку и молитвою встретил зарю.

Было о чем молиться. По приказу царя, Василий Грязной дал Андрею наказ. Не по своей воле пустился он в путь. Наказ тайный, — никто не должен знать, зачем он, Чохов, едет в Устюжну Железнопольскую. И в провозатые царь никого не велел брать. Подарил Грязной Андрею в дорогу легкую пищаль иноземного дела и острую саблю, да сильное всякого оружия — царскую охранную грамоту. Благословил: «Умри, но тайну не выдавай!»

Много всего пришлось претерпеть дорогою!

И с зверями встречался, убивал их; и с разбойничьими шайками сталкивался, распугивал их пищалью; и с нечистою силой схватки имел, побеждал усердною молитвою. Святые дни помогали! Конец листопада!.. Воздвиженский пост. А в эти дни воздвигаются две силы одна на другую; две силы: правда и кривда, «свято» и «несвято». Сильна власть лукавого! По его прихоти колеблется все стоящее за веру правдою и правду верною. Дрожит, колышется, сотрясается мать сыра-земля. Но... скоро Воздвиженье, и все злое, неправедное, вся нечисть, вся кривда исчезнут... Так верит народ. Андрей с детства запомнил, что говорил ему отец. Он говорил, что Воздвиженье правды наступит. Вот о чем напоминает людям этот праздник: правда победит кривду!

Как ни скрывался и ни прикидывался странником Чохов, а один старик, у которого в избе он заночевал, прямо сказал ему:

— Не простой ты! Видать сокола по полету, а добра-молодца по походке.

Пришлось показать «опасную» грамоту. Бородатый дядя почтительно приподнялся на скамье, поклонился парню.

— Так мне и думалось. Не простой ты человек. Добро, братец! Помогай царю против супостатов.

Это польстило Андрею. Всем понятно, какую особую милость оказал ему царь, доверив свое государево тайное дело. А заключалось оно в том, чтоб разведать в Устюжне, сколь железа сможет дать Устюжна Москве дляковки ядер, скоб судовых да гвоздей, ножей, опарочного и прутowego железа.

Устюжна Железнопольская славилась своим рудоискателями — копачами, литцами, кузнецами и оружейными мастерами. Железо, нужное для промыслов и обихода, добывалось здесь не только посадскими, но и крестьянскими, сельскими копачами.

Грязной приказал Андрею привезти с собою в Москву десятка два лучших литцов и кузнецов, купить им в государев счет коней и вывезти их из Устюжны «конными и оружейными».

Теперь, пробираясь лесами и полями, Андрей думал только об одном: как бы ему не осрамиться перед царем. Найдется ли в Устюжне столько кузнецов и литцов изрядных, которые бы не уступили литцам и кузнецам московским? Плохие мастера царю не надобны.

Совсем рассвело, когда Чохов, выбравшись из леса, увидал вдали какую-то церковь, окруженную рощей. Он направил свой путь туда. Около церкви обязательно должно быть селение или барское усадьбище!

Оказалось — монастырь, обнесенный высокою тесовою стеною. Андрей подъехал к ней, встал на коня и заглянул во двор. Десятка два чистеньких изб, обшитых тесом, с крышами, покрытыми дерном. Нетрудно было догадаться, что это кельи. Рядом с храмом — две бревенчатые звонницы: одна поменьше, другая побольше.

У ворот толпились крестьяне, дожидаясь, когда их впустят во двор. Они сняли шапки и низко поклонились Андрею.

— Чего же вы тут, добрые люди, стоите?..

— Да вот не пуцают, батюшка... не пуцают.

— Какой это монастырь-то, добрые люди?

— Бабий, батюшка, бабий!.. Прежде были тутотко и мужики... поше угнали их... За грехи угнали!.. Свой монастырь строят, плачут без привычки!..

Ждать пришлось недолго. Вскоре ворота открылись. Крестьяне повалили всей толпой прямо в церковь, широкую, приземистую, подновленную кое-где свежими бревнами.

Андрей соскочил с коня, узнал у привратницы, в какой избе живет игуменья. Попросил проводить. Две угрюмые старухи в дубленых полшубках молча повели его в глубь двора к большой, на сваях, избе.

Указали пальцем на дверь и пошли обратно.

Привязал к дереву своего коня, поднялся по лестнице. Постучал. Дверь тихо отворилась.

Навстречу выпла вся в черном монахиня. Она тихо сказала Андрею, чтобы он следовал за ней. В ее голосе Чохову послышалось что-то хорошо знакомое. Когда вошли в маленькую чистую горенку без окон и Андрей при свете лампад пристально взгляделся в лицо игуменьи, сердце его похолодело: он стоял растерянный, озадаченный.

— Боярыня? — прошептал он в великом изумлении.

— Андрейка? — дрожащим голосом спросила она.

— Точно, боярыня! Я Андрейка, холоп ваш.

— Садись. Господи, как ты попал сюда? Сели рядом на скамью против икон. Встреча была такою неожиданною и невероятною, что ни он, ни Агриппина не могли начать разговора. Первое, что бросилось в глаза Андрею,— худоба и бледность ее лица. Ему стало так жаль Агриппину в этой мрачной, черной схиме, в этой темной келье, а не в боярской хорошине, что он еле-еле мог сдерживать слезы. Голос все такой же кроткий, нежный, и взгляд больших толстых глаз такой же детекий, добрый, доверчивый.

— Царь-батюшка сослал меня сюда... Вотчину отписал на себя, а потом отдал дворянам...

— А дитё?— как-то неволью вырвалось у Андрея. Он и сам испугался своего вопроса.— Покойник боярин дитё ожидал... Радовался!..

— Умре!..— грустно, потупив очи, ответила она.— Бог простит мне то!.. Молюсь!.. Не боярское было оно, не колычевское...

Андрей задохнулся от волнения:

— Как не боярское? Кто же тот злочестивец?— еле слышно спросил он.

Но щекам Агриппины потекли слезы.

— Бог ему судья!.. Одна я виновата... Молюсь, молюсь, соколи!..

— Да кто же он будет?

— Пошто тебе знать? У царя он теперь, слуга ближний...

Андрей больше не стал допытываться. Ему было больно, горько и обидно. Ведь он считал боярыню чище, святее ангелов божних, и вдруг...

Некоторое время сидели молча.

— Покойника боярина после смерти обвинили в кривде против государя.

Тяжелый вздох вырвался из ее груди.

— Вечное заточение в мне... Прости меня! У всех своих людей в вотчине просила я прощения перед пострижением, но не было тебя...— Она встала на колени:— Прости, коли согрешила перед тобою!

Андрей ничего не мог сказать; грудь стиснула тоска, дышать трудно. Он ждал, большой, сильный, оперся рукой о стену, делая над собою усилие, чтобы не заплакать.

После повечерия, за трапезой, Андрей рассказал Агриппине, как окончил свою жизнь боярин в ту ночь под Нейгаузенем. Рассказа-

зал и о том, что случилось в последние два года в Москве. Скончалась царица Анастасия. Иван Васильевич сильно убивался, молился и плакал по ночам. Подолгу просиживал он около детских постелей. Думали, умрут. Вся Москва тоскует по царице.

Но, как ни велико горе царя, он готовится к большой войне.

Ни одного дня не проводит без дела. Через несколько дней после кончины царицы посетил Пушечную слободу, а затем ездил в поле смотреть на стрельяны из новых пушек; к морю, для охраны, лично снарядил сильную стражу с пушками.

Агриппина слушала с большим вниманием.

— Бог не оставляет нас без своей милости,— продолжал Андрей.— Наше войско, по приказу царя, заняло два десятка городов и замков. Два главных города мы никак не можем взять: Ригу да Ревель. Ну, и их возьмем! Нет такой силы, которая могла бы царю противиться! Он не слушает никого и переменяет старые обычаи на новые, как того захочет.

Андрейка одной только Агриппине выдал государеву тайну. Во многие города разослал царь верных людей за мастерами, работными людьми и за железом. Вот и он, Андрейка, как большой мастер, на примете у царя,— послан в Устюжну на Железном поле за нужными людьми и за железом.

— Не женился ли уж ты, Андреюшко?— вдруг спросила Агриппина.

Вот чего парень никак не ожидал. Что ответить? Как сказать про Охиму? Сказать, что без поа венчаны, что согрешил перед двумя богами: перед русским и мордовским? Что никого лучше Охимы нет на свете? Что Алтышу, как своих ушей, не видать Охимы?

— Ты молчишь?— пытливо посмотрела на него Агриппина.

— Боюсь, матушка-боярыня!.. Жениться то раз, а плакаться-то целый век...

Андрей хмуро мял в руках свою шапку, потом встал, низко поклонился:

— Прощай, боярыня! Надо до свету до Устюжны доскакать. И то долго еду я. Не прогневать бы царя-батюшку!..

— Посидь еще...

— Нет, недосуг. Прощай, прости, боярыня! Увидимся ли еще? Грозные времена наступают.

И, быстро повернувшись, Андрей вышел во двор, вскочил на коня и поскакал прочь.

России

Хохочет, обезумев, конь!
Фугасы хлынули косые...
И снова по уши в огонь
Вплываем мы с тобой, Россия.
Опять судьба из боя в бой
Дымком затянется, как тайна.
Но в час большого испытанья
Мне крикнуть хочется: «Я твой!»

Я твой. Я сын твоей любви!
Детеныш русской Марсельезы!
Твоя волна в моей крови,
В моих костях — твоё железо!
Нервничкой каждую скорбя,
Оглохший от бомбометанья,
Люблю тебя! Люблю тебя
До стопа и до боржоманья!

Люблю, Россия, твой пейзаж —
В голубизне степные вежи,
Стамухи¹ белых побережий,
Оранжевый на синем пляж;
И стариковские дубы,
И девичьи твои березки,
Полей смиренные бороздки,
Кавказ, подъятый на дыбы.

Люблю, Россия, птиц твоих —
Грачей, разумных, как крестьяне;
Под небом сокола стоянье
В размахе крыльев боевых;
И писк луна среди жнивья
В очарованьи лунной ночи,
И на невероятной ноте
Самоубийство соловья.

Люблю твоё речное дно
В ершах и раках и русалках;
Моря, где в горизонтах валких,
Едва меж волнами видно,
Рыбачье судно лалит парус,
И прямо в небо из воды
Дредноут в космах бороды
Выносят театральный ярус.

¹ Ляды.

Ну, а красавицы твои?
А женщины твои, Россия?
Какая молния взрастила
Казачью удаль их любви!
О, их любовь — не полубыт:
Всегда событие! Вечно мета!
Клянусь вам — за одно за это
Россию стоит полюбить!

Люблю великий русский стих,
Еще непонятый однако,
И всех учителей своих
От Пушкина до Пастернака!
Для дураков они — руда,
Но умных одаряют вдвое —
Недаром «русское» всегда
Звучало в них, как «мировое».

Люблю тебя, родимый край,
За то, что, даже и упав, ты,
Или пируя через край,
Не притупишь исканья правды!
За то, что ты — святая гать,
Идушая через трясины;
За то, что воспринять Россию —
Не человечество ль принять?

Какие ж трусы и враня
О нашей гибели судачат?
Убить Россию — это значит
Отнять надежду у Земли!
Пускай рыданья и гроба
Чернят простор моей отчизны —
Бессмертно трепетанье жизни!
Зовуща

русская
труба!

1942 г.
Действующая армия

В городе Н.

(Записки разведчицы)

1. НЕМЦЫ

Весна в Донбассе... Из своего окна я вижу окутанные дымкой тумана вершины терриконов. Они синют в тени и весело сверкают под солнцем. Бурые пятна снега сползают с горы, обнажая серый колчедан. Мне кажется: вот стоит только взобраться на подсконник, и я непременно увижу за холмами терриконов свой родной маленький город. Он также окружен терриконами шахт и трубами заводов. Еще в детстве, бывало, по гудкам мы угадывали: это гудок с Марии-бис, а это — с коксохимического... Теперь гудков там не услышишь: чернеют обгоревшие стены взорванных заводов, ветер гуляет в шахтных зданиях, исчез запах угля, металла и кокса, которым был пропитан воздух.

В моем маленьком городе хозяйничают немцы. Они оскверняют наши дома, нани улицы, они унижают и оскорбляют чувства советских людей. Это я видела своими глазами. И о том, что пережила и перечувствовала, я хочу рассказать. Естественно, что, по долгу службы советского разведчика, многое мне придется опустить.

Война сделала меня разведчиком, война с фашистами, которые ворвались в мою страну, в мой маленький, славный город. Его раньше не было на генеральной карте страны. Он был построен в годы сталинских пятилеток. На моих глазах подымались стены завода, строилась наклонная шахта американского типа, прокладывались улицы, напивались соками жизни молодые деревья, которые мы сами сажали.

В этом городе я учительствовала. Когда пришли немцы, я осталась в нем выполнять задания Красной Армии. Моя роль была скромной: я должна была наблюдать за пере-

движением войск противника, быть связным и доставлять добытые сведения через линию фронта в эвскую часть, к своим. Капитан Максимов, который вводил меня в курс работы, прощаясь со мною, сказал:

— Главное, больше выдержки и спокойствия. Помните: точность и правдивость, правдивость и точность...

Он крепко пожал мою руку и пожелал удачи в работе.

Немцы вошли в город Н. в полдень. До трех часов бой шел на южной стороне, у ремонтного завода. Потом начался отход наших частей. Я никогда не забуду конника на маленькой буланой лошадке. Голова его была обвязана окровавленным бинтом. Он ехал по главной улице притихшего городка и, приподнявшись на стременах, говорил хриплым от усталости голосом:

— Мы вернемся, товарищи!..

Женщина, стоявшая рядом со мной в воротах, тихо вскрикнула и ладонью прикрыла глаза. А конник все двигался по улице, на которой валялись разбитые зарядные ящики и настойчиво повторял:

— Мы вернемся!

Он скрылся за поворотом в балку. В пыли и грохоте пронеслись легкие пушки. Затем наступила тишина. Пошел мелкий дождик, пыль улеглась, улица была пустынной. И в эти минуты я впервые почувствовала по-настоящему, что такое страх. Это не был страх за свою личную судьбу, — скорее это был ужас перед тем, что надвигалось на наш город. Я хорошо запомнила первого немца: в запыленной одежде, в сдвинутой на затылок маске, он прижимал к груди бывшую крыльяхи журицу и о чем-то сердито выговаривал старичку, который молча стоял у калитки.

В сумерках я позвала Катю, мою подругу.

Закутавшись в платки, мы сначала выглянули за ворота, а потом пошли вдоль заборов, настороженно вслушиваясь и всматриваясь в осеннюю темноту. Можно было бы подумать, что город вымер,—так было тихо вокруг. Но время от времени тишину вдруг вспарывал женский крик, к нему присоединялись крики детей, полные ужаса и страшного отчаяния. Мы остерегались идти главной улицей и, пользуясь темнотой, пробирались переулками.

Близ школы, в канаве, мы услышали чей-то заглушенный стон. Я нагнулась и увидела раненого красноармейца. Он прижился к палисаднику и тихонько стонал. Увидев нас, он замолчал, потом прошептал:

— Сестры мои, помогите мне выбраться...

Мы взяли его под руки. С нашей помощью он перешел в палисадник. Но что же с ним дальше делать? Он был ранен в руку и, видимо, потерял много крови. Глаза его лихорадочно блестели, он смотрел на нас умоляющим взглядом и просил:

— Спрячьте меня, девушки, спрячьте. Утречком я буду пробираться к своим.

И Катя и я, мы обе сильно струсили. Я посмотрела на Катю, она на меня. Катя молча опустилась на колени и стала перевязывать бойцу руку. Она осталась с ним, а я пошла к ближайшему домику,—там жила старушка Филипповна, которая хорошо меня знала. Она наотрез отказалась приютить у себя бойца.

— И не прося, Катенька,—сказала Филипповна.—Замучают меня немцы и дом мой сожгут!

— У тебя ведь сын и дочь в Красной Армии,—сказала я ей,—подумай о них...

Филипповна охнула и прижала руку к сердцу.

— Неси!—вдруг решила она.—Неси, говорю!

И когда мы ввели в дом красноармейца, она отстранила нас и сама занялась раненым. Бережно промыла ему рану, напоила горячим липовым чаем и, переодев в костюм сына, уложила спать. Он вскоре уснул, а мы с Катей потихоньку вышли из домика на темную улицу.

— Вот, Катюша,—сказала я подруге,—вот наша первая помощь Красной Армии. Надо будет переправить его через линию фронта.

На четвертый или на пятый день я пробралась к Гаркуше, который держал в своих руках все нити разведывательной работы в нашем городке.

Гаркуша сидел на обрубке дерева у железной печурки, подбрасывал уголек и молча, внимательно выслушал мой рассказ о том, что я видела, слышала, думала и чувствовала. Был Гаркуша шахтером: сутулые широкие плечи, сильные руки в ссадинах и лицо со следами угольной пыли, вьевшейся в кожу. Посыл кубанку из смушкового барашка с синим выцветшим верхом. Шахтеры шутили-говорили: «Гаркуша и спит в кубанке — в ней ему молодость, ворошиловский поход на Царицын спялся». Он, кажется, никогда не расставается со своей кубанкой.

Помню, как он однажды пришел в школу со своим сыном-малышом и попросил разрешения посидеть в классе. Он стал нашим частым гостем: оказалось, что цель его прихода заключалась в страстном желании обучиться грамоте. Я занималась с ним в свободные от школьных занятий часы. Я заставляла его вырезать из бумаги буквы, перешивала их на парте и учила строить фразы. Как он был счастлив, когда сам составил свою первую школьную фразу:

«Мы не рабы. Рабы не мы».

Война прервала наши уроки.

Теперь в тылу у оккупантов я работала под его руководством. О многом мы переговаривали в эту ночь: человек неиссякаемой внутренней силы и бодрости, Гаркуша учил меня действовать так, чтобы, как он говорил, немцам не было житья в нашем городе. Он надушил меня привлечь к нашей работе моих самых верных подруг. Под утро, провожая меня в темный коридорчик, он попросил меня принести ему учебник арифметики и синтаксис.

— У меня есть свободное время,—чуть конфузясь, сказал Гаркуша.—Надо пополнить образование.

2. ДОНБАСС ЖИВ!

С Катей мы давно дружили. Товарищи так и звали нас: Катюша-Большая (я была чуть повыше подруги) и Катюша-Маленькая.

Эту ночь мы провели вместе. Мы говорили друг другу: только сейчас мы полностью оценили ту нашу советскую жизнь, которой мы жили до вчерашнего дня.

Раньше мы мало задумывались над тем, что нас окружает. Мы все воспринимали как должное: воздух, которым мы дышали, свободу жить и трудиться, песни, которые мы пели. Все это теперь у нас отняли...

Утром нельзя было выйти из дому, потому что немцы опешили улицу и с чисто немецкой аккуратностью и тупой жестокостью забирали у населения продукты и зимние вещи. Они пришли в мою комнату. Один остановился в дверях, а двое начали всюю ширить.

Они забрали мой жакет, два полотенца, банку с вареньем и украинское рядно. Вещи они закинули в мешок, а варенье стали тут же пожирать. Морды у них были красные, лоснящиеся, а руки черные, грязные.

В полдень нам разрешили выйти на улицу. В центре города в скверике собралась толпа. Я подошла поближе. На перекладине, соединявшей два телеграфных столба, ветер раскачивал оконечившие трупы старика и подростка. В толпе кто-то сказал:

— Это сварщик с вагоноремонтного — Бондрат Серов, а мальчишка — его внучка Тимочка.

Комendant города — тучный немец в роговых очках — поднялся на трибуну и молча строго оглядывал толпу. Рядом с ним появился назначенный оккупационными властями председатель городской управы, предатель Бонтуи, бывший техник коммунхоза. Он во всем подражал немцу: широко расставил ноги и, уперев руки в бока, строго, с презрением глядел на толпу.

Но поворачивая головы, немец сказал:

— Старик и подросток повешены за то, что оказали сопротивление вооруженным силам Германии. Так будет поступлено со всеми, кто будет помогать Красной Армии.

Толпа угрюмо молчала. И вдруг кто-то в задних рядах негромко, спокойно и внятно сказал:

— Всех не переведаешь.

...В тот же день я приступила к своим прямым обязанностям. Лучше всего было наблюдать за движением войск противника у школы. Пользуясь тем, что я учительница, я вошла во двор школы, которая находилась у развилки важных шоссеиных дорог.

Сердце мое сжалось: один из флигелей, — там я учила малышей, — немцы приспособили под конюшню, а в другом флигеле располагалась кухня. Из городской фундаментальной библиотеки, которая находилась при школе, книги были выброшены на двор и часть из них пошла на растопку печей. Я машинально нагнулась и подняла валявшуюся в грязи книгу. Часовой закричал на меня. Прижав книгу к груди, я поспешно ушла в соседний двор, к Филипповне. Красноармейца я не застала: он ушел на рассвете, переодетый в гражданское платье.

Филипповна протянула мне его прощальную записку: «Спасибо советским девушкам».

Я обрадовалась: жив парень! Глядишь, доберется к своим...

Я попросила разрешения у Филипповны побить у нее и уселась у окна, откуда было удобно вести наблюдение. В течение трех часов я смотрела на прохождение немецких колонн, вела подсчет грузовым машинам, ору-

диям, пехоте, танкам. Количество я отмечала в книге, которую положила перед собою на подоконнике. Книга была без начала и конца, с изорванными, выпачканными в грязи страницами. Но первые строки сразу ввели меня в знакомый мир героев «Войны и мира». Кутузов говорил Андрею Болконскому: Взять крепость нетрудно, трудно кампанию выиграть. Нужно терпение и время... Верь моему слову, — воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь, — французы будут у меня лошадиное мясо есть...

Я смотрела на дорогу, по которой двгались войска оккупантов и думала словами Кутузова: «Терпение и время, терпение и время!»

Повязавшись по-старушечьи платком, я бродила по городу. У скверика, напротив городской управы, находилась витрина приказов немецкого командования. Приказ о сдаче населеннем всех теплых вещей — от варежек до шуб — начинался словами:

«Мы взываем к широкой натуре и мягкому, отзывчивому сердцу русских людей...»

П приказывался угрозой расстрела всех и каждого, кто не идет навстречу германской армии.

Стоявший рядом со мной рабочий медленно прочитал приказ и, взглянув на меня, усмехнулся:

— Ключи подбирают к русскому сердцу... Чорта с два!

И, повернувшись, быстро пошел прочь.

Три дня я ходила с женщинами на станцию собирать в корзины уголь. Станция Н. была узловой. Сюда сходились и отсюда расходились пути на север и на юг. Я скрывалась в отвалах угля, зорко наблюдала и запомнила все, что прибывало и уходило со станции.

Я собрала ребят своего класса и, окруженная детьми, проникла всюду, примечая расположение огневых точек противника. Похоже было на то, что немцы готовились к обороне... Гул артиллерийской канонады говорил о том, что фронт близок...

Однажды Гаркуша вызвал меня и сказал:

— Старушка, пора тебе идти на тот берег, доставить собранные сведения.

Переход линии фронта я наметила на почное время, а до вечера я сходила с Маленькой Катей в госпиталь к раненым пленным красноармейцам. Слово «госпиталь» никак не подходило к подвалу, где на сыром земляном полу валялись раненые. Они были лишены медицинской помощи и умирали от голода и грязи. Их оставалось пятнадцать человек. Иногда жителям, главным образом старухам, удавалось пронести в подвал чистые тряпочки

для перевязки ран и сухари. Я принесла махорки.

Слезы стояли в запавших глазах лария с бледным, без кровинки лицом, когда, притянув меня к себе, он шопотом спросил:

— Правда ли, что Красная Армия разбита, что Донбасс весь захвачен немцами, что Москва в их руках?

Мне хотелось крикнуть во весь толос: неправда, товарищ! Но я должна была сдержаться. И все-таки у меня нехватило сил промолчать. Улучив минуту, когда немец-часовой зачем-то вышел, и чувствуя, что все во мне горит и что я не могу молчать, я произнесла быстро, шопотом:

— Не верьте им!.. Донбасс жив! Красная Армия борется! Ленинград наш!

Мы с Катей поспешило вышли из подвала и завернули за угол. Катя, волнуясь, сказала, что мой шопот тремел в полутемном подвале. Она испугалась за меня и за себя.

Ночью я простилась с Катей, сказав ей, что пойду в Н. навестить родных. Я вышла на крыльцо. Было тихо, моросил дождь, видимость была плохая. Я плотно закуталась в платок и тронулась в путь, на тот берег.

3. СВАДЬБА

Самым трудным в переходе линии фронта оказались полтора-два метра так называемой «ничейной» территории, которая лежала между нашими и немецкими передовыми позициями. Я никогда не была храброй, больше того — в мирной жизни я всегда считала себя трусихой, боялась темноты, мышей и прочих довоенных «ужасов». Но в эту ночь я благословляла хмурое небо, беспрестанно ливший дождь и сгустившуюся темноту.

Все стивалось в ночи — дома окраины, железнодорожная будка и аллея молодых деревьев. Я вошла в аллею и, услышав в трех шагах от себя чужое голоса, прижалась к дереву. Они прошли мимо меня — три немца, тяжело шагавших по хлюпающей от грязи дороге. Когда шаги их заглохли, я облегченно вздохнула и тронулась вдоль телеграфных столбов, которые смутно чернели в степи. Отсчитав шестьдесят столбов, я круто повернула направо и, пригнувшись, стремительно пошла на звуки орудийных выстрелов, раздававшихся с нашей стороны.

Я шла очень быстро. Меня подгонял ветер, жгучее желание скорее проскочить зону огня и боязнь погибнуть зря от фашистской пули... Мне казалось, что до ручья, за которым проходила линия наших окопов, целые десятки километров. И только подойдя к ручью и раздвинув руками ивняк, я оглянулась: ракеты противника полосовали хмурое

небо. Они были позади, а впереди — наши окопы. Осторожно ступая по тонкому льду, я выбралась на тот берег. Я засмеялась от радости и вслух сказала: «Рубикон перейден!»

И в то же мгновение где-то рядом со мной раздался прозвонный окрик: «Стой!» Я осталась. Ко мне подошел боец в плащ-палатке поверх шинели, а второй боец с винтовкой выполз из кустов и очутился сзади меня.

— Кто такая, куда путь держишь? — спросил первый боец.

У меня было горячее желание броситься на шею бойцу, расцеловать его. Но он строго и недоверчиво оглядывал меня. Я попросила доставить меня к командиру части. Только очутившись в землянке командира батальона и воочию убедившись, что я среди своих, я, несмотря на усталость, ощутила прилив сил, бодрости и счастья. Я попросила командира батальона доложить о моем приходе капитану Мамсымову.

Обуев свое платье у железной печурки, я улеглась на парах. Кто-то утешил меня кружкой горячего чая, кто-то заботливо накрыл тулупом. Свзвоз сон я слушала разговор бойцов и наслаждалась русской речью. Я говорила мысленно: «Мои дорогие... товарищи...»

На другой день меня отвезли в штаб, и я доложила капитану результаты своих наблюдений.

— Артиллеристы будут довольны, — сказал капитан, когда я на карте отметила расположение немецкого штаба и огневых средств противника на станции Н. — Вы привезли хорошие ориентиры. Для первого раза неплохо, — сдержанно добавил капитан. — Да, неплохо! — Улыбка осветила его суровое скуластое лицо. — Знаете, Катя, — мягко сказал он, — из вас может выработаться ценный советский разведчик. Только не разбрасывайтесь, больше целеустремленности, точности и правдивости. Больше осмотрительности и смелости.

Я попросила капитана как можно скорее переправить меня в город Н. Капитан покачал головою:

— Вам надо отдохнуть. Дают вам три дня. Воздух, прогулки, чтение...

Через три дня, в полночь, капитан сам проводил меня до ручья и пожелал счастья в работе.

Добралась я до города благополучно, без приключений.

Однажды вечером Маленькая Катюша, вернувшись от подруг, сказала мне:

— В субботу на Ключевой улице свадьба... Голубь выдает свою дочку за фашистского офицеришку...

Голубь был мрачный одиорукый мужик, хохливший зимой и летом в синей полудохе; когда-то он работал кладовщиком на овощной базе, проворовался и потом нигде не служил, промышлял темными делами.

По нашим сведениям, это был предатель, завербованный гестапо. Фамилия у него была короткая, но душа темная, жестокая. Он гордился тем, что породнился с «высшей арийской расой» в лице фашистского унтер-офицера, который жил с его дочкой.

Я поспешила к Гаркуше и рассказала ему о предстоящем бале на Ключевой, где, по всей вероятности, будут гулять фашисты из городской комендатуры. Гаркуша сдвинул на затылок свою кубанку, глаза его заблестели веселым огоньком. Он сказал:

— Бал... Хотя нас с тобой Голубь и не пригласил, но мы, Катя, обязательно сходим на свадьбу. Гулять — так гулять!

Весь день, предшествовавший свадьбе, прошел у нас в хлопотах. Для гостей, которые будут пировать на свадьбе, были приготовлены гранаты и пули. Было точно договорено, кто что должен делать. Самое главное, проникнуть в дом Голубя. Это взяла на себя Маленькая Катя. Она пригласила своего друга гармониста Сережу пойти с ней погулять. Он чудесно играл на саратовской с колокольчиками гармошке. После аварии в шахте Сережа припал на одну ногу и поэтому не попал в армию.

Он и раньше помогал Кате: прятал листовки в своей «саратовке», выполнял отдельные поручения нашей группы. Теперь весь успех предстоящей операции на свадьбе зависел от Сережи. Он должен был взять на себя самое главное: проникнуть в дом Голубя. Катя сказала ему:

— Мы пойдем гулять по Ключевой...

Сережа удивился, давно уже никто в поселке не пел и не гулял. Катя сказала:

— На этот раз будем гулять. Так надо. Так велел Гаркуша.

Сережа любил Катю. Он знал, каким лишениям и опасностям она подвергает себя, ведя подрывную работу против оккупантов. Его мучило сознание, что он не успел уйти с нашими войсками, и он горячо ухватился за катино предложение помочь нашим гранатометчикам пробраться в дом Голубя. Он волновался за судьбу Кати и боялся, как бы она не пострадала. Успокаивая себя и ее, он шуточно говорил:

— Я спец, в свое время устраивал красивые свадьбы на селе.

— Ну, это свадьба особенная, — сказала Катя.

В субботу вечером Сережа, в компании девочек, куда затесались два наших товарища

с гранатами, бесечно гулял по широкой Ключевой улице. Сережа играл на «саратовке», а Катюша запедала:

Домой придешь, а дома спросят:

— Ах, где гуляла, где была...

По случаю свадьбы Ключевая охранялась. Вблизи дома Голубя стояли немецкие часовые. Дом Голубя был освещен.

Расчет Гаркуши оправдался: кто-то из гостей вышел на крыльцо и позвал гармониста. Девчата быстро и скрылись, а в дом смело вошли гармонист и два наших гранатометчика; один играл на гитаре, другой — на балалайке. В глубине залы во главе стола сидели жених и невеста, окруженные пьяными немцами. Сам Голубь вышел из-за стола опьяневший, мрачный. Грузно ступая, он подошел к гармонисту, остановившемуся на пороге, поднес ему стакан с водкой и сказал:

— Пей, Серега, гуляй!

Сережа взял в руки стакан. Голубь подозрительно взглянул на его товарищей — балалаечника и гитариста.

— Кто такие? — спросил Голубь.

— С нашей улицы, — через силу улыбался, ответил гармонист, — своим.

Гармонист сказал:

— Сыграем, что ли?

И в одно мгновение, отбросив гитару и балалайку, ребята выхватили гранаты и метнули их в дальний угол большой залы, где пировали фашистские гости.

Грохот взрывов, дым, крики... Гранатометчики успели выскочить на крыльцо, столкнуть часового и нырнуть в ближайший двор. А Сережа не успел. Падая, Голубь навалился на гармониста и придавил его своей тушей к земле.

Шесть фашистов были тяжело ранены, трое убиты, в том числе жених. Невесту контузило. Голубя оглушило.

Так закончилась свадьба. На Ключевой улице радостно говорили: «Догулялся Голубь. Хорошую свадьбу устроили ему партизаны, с плюмпнацней!»

Нас волновала судьба Сережи. Что с ним?

4. КУБАНКА

Мать Сережи ходила в комендатуру, допытывалась о судьбе сына. Ей выбросили на улицу его «саратовку» с изорванными мехами. Старуха все поняла: немцы замучили Сережу.

Мы выпустили листовку, в которой коротко рассказали о подвиге Сережи.

Маленькая Катя сама переписала от руки листовку и на одной из листовок приклеила

хранявшуюся у нее фотографию своего друга, гармониста Сережи.

Фашисты и предатели из городской управы сочли «свадьбу» делом рук Гаркуши. Слово смерч прошел по Ключевой и другим улицам: обыск за обыском, аресты, избитиями в чем неповинных людей.

Вчера наша улица переживала большое горе: гестаповцы арестовали семью Иванченко: самого Иванченко, его жену, дочь и невестку с мальчиком. Все знали — это дело рук фашистского холоуя Голубя.

Иванченко активно помогал нам: давал принят разведчикам, припрятывал у себя листовки, снаряжал свою дочку для связи. Слесарь из депо был глуховат и молчалив. Он никогда ни о чем не спрашивал и молча делал опасное дело. Случилось так, что однажды у Иванченко ночевал Гаркуша, и старик всю ночь простоял на часах во дворе, оберегая его сон.

Иванченко, Иванченко...

Я видела из окна: он вышел на крыльцо и по-хозяйски подобрал лопату, прислонил ее к заборчику. Немец толкнул его в спину, он покачнулся, но удержался и пошел по улице, молчаливый, строгий. А за ним торопились жена и дочка, поддерживая невестку с ребенком на руках.

В тот же день по городу пронесся страшный слух:

«Гаркушу убили. По городу афишки расклеены. Зовут завтра всех на похороны Гаркуши».

Я похолодела от ужаса и боли: неужто правда? Гаркуша часто исчезал из города, но всегда возвращался целым и невредимым. Неужели он на этот раз попался в их руки?

Тщетно я пыталась разузнать о судьбе Гаркуши. На старой квартире во флигельке его не было. В тяжелом настроении я пошла к его жене. Может быть, она что-нибудь знает о судьбе Гаркуши?

Жила Настасья Ивановна на окраине поселка. Там, в глиняной хатке, она скрывалась у добрых, честных людей. Я постучалась в окошко. Пожилая женщина открыла дверь. Это была жена Гаркуши. Закрыв дверь за собою, я сказала ей условный пароль:

— Поклон вам, тетушка, от Волги-матушки.

Она вытерла передником руки и, пристально всматриваясь в меня, тихо промолвила в ответ:

— Спасибо на добром слове.

Настасья Ивановна вытерла лавку, и, когда я уселась рядом с нею, она вдруг заплакала и сквозь слезы, вздрагивая, заговорила:

— Молчит он, весточек о себе не дает.

Я стала ее утешать и, прощаясь с нею, обняла и поцеловала ее. Новидному, она уловила какую-то мою нерешительность и связанность.

— Ты не бойся, голубушка. Я ведь ваница заместительница, — с гордостью сказала она. — Мы с ним и счастье, и несчастье, и радость, и горе делили.

Она не знала о том, что завтра немцы будут хоронить Гаркушу. С трудом я ложилась, когда забрезжил рассвет. Вышла на улицу. Афиша на заборе подтверждала слова катинного отца: сегодня хоронят Гаркушу.

В полдень полиция и войска оцепили центральную площадь. Из ворот комендатуры выехала телега с гробом. Крышка гроба была заколочена. На крышке лежала кубанка. Телега остановилась, наверх взобрался бургомистр Ковтун. Он закричал злым, срывающимся голосом:

— Всякое сопротивление германской власти бесполезно. С помощью германских войск партизанская крамола вырвана с корнем. Пойман и расстрелян зачинщик-бандит Гаркуша. Другие бандиты захотят называть себя подлым именем Гаркуши — не верьте им! Вот все, что от него осталось!

Ковтун махнул рукой и поднял кубанку. Телега с кубанкой на крышке гроба двинулась по улице. Молча смотрел парод, провожая глазами знаменитую кубанку народного мстителя. Кто-то тронул меня за руку. Я вздрогнула и обернулась. Это была Катя, она звала меня. Она торопила идти быстрее. Я вошла с ней в знакомый дом и, увидев Настасью Ивановну, поразились: лицо ее сияло.

— Жив! — закричала Настасья Ивановна, бросаешь меня целовать.

— Кто?

— Гаркуша!

— А кубанка?

— Не его!

Я еле дождалась ночи. Разными путями, но почти в одно время мы с Настей пришли к шурфу старой заброшенной шахты. Настя ползла быстро и ловко, я еле поспевала. Огонек аккумулятора освещал тускло блестящий уголь. Гаркуша спал на соломе, свернувшись калачиком. Заслышав шаги, он, вздрогнув, поднялся на коленях. Он был бледен, давно небрит. Только глаза его блестели веселым блеском. Мы поздоровались. Зарывшись в солому, посмеиваясь, он слушал наш рассказ о том, как фашисты «похорошили» его.

— Это они с переляку «убили» меня, — говорил он. И интересовался: — А у кубанки какой был верх — синий или красный?

И, сдвинув на затылок свою старенькую кубанку с синим выцветшим верхом, он рас-

сказал нам о том, что были «на том берегу», стал все добытые нами сведения и получил новые инструкции.

Линию фронта он перешел у села Н., где напоролся на фашистский патруль.

Рассказывая, Гаркуша любящим взглядом поглядывал на жену.

— Испугалась, Настенька? — спросил он ее. — И я, по-правде, испугался здорово! Думал — конец! Ругал себя: по глупости попался. Били меня в первую ночь здорово. Мое счастье, — они не знали, что я Гаркуша. А я только хриплю: ведасть не ведаю, знать ничего не знаю. И кашляю. Весь уголь, что наглотался за тридцать лет, я тут выкашлял. Кровь и уголь! Утречком погнали меня в Артемовск в концлагерь. Говят и в спину прикладом подталкивают. В Артемовске три лагеря. Нас погнали в концлагерь номер три, помещающийся в конторе гипсового завода. Жуть берет, как вспомню!.. Двести семьдесят человек набито в конторе, спят на полу вповалку. Огни заложены навозом, облиты ледяной водой, в навозе пробиты маленькие душнички. На шесть человек дают один котелок горячей воды с ячменем и через день по сто пятьдесят граммов хлеба. Хочешь — умирай сам, а не хочешь — так немцы помогут. По ночам выводят пачками и расстреливают. Мне на допросе пригрозили: «Если не сознаешься, отправим в Константиновку». — «Отправляйте, — говорю, — воля ваша». А константиновский концлагерь славится еще большими жестокостями, там применяют пытки особые. Утром меня вызывают и говорят: «В Константиновке другое запоешь».

И погнали нас, тридцать шесть человек, в Константиновку. Завели по дороге в собор и стали ждать, когда из всех трех лагерей пригонят еще людей. Стою в соборе и божественные картины разглядываю. Краски поухли, по красота сохранилась. Вдруг вижу: входят в собор старички — наши, русские. Стоят они у перегородочки. Одного из них я спрашиваю: «По какому случаю вы сюда собрались?» Он отвечает: «Мы, — говорит, — верующие старички, и нас пригнали сюда по приказу коменданта — выбрать церковного старосту». Я страшно обрадовался: вот, думаю, зацеплюсь за старичков. «Позвольте, — говорю, — товарищи-старички, ведь я одной веры с вами!» — «Это правильно, — говорит один старик, — у нас с тобой одна вера!» И подмигивает: лезь к нам. Все плыл старичок: чего мы здесь стоим, и куда нас фашисты гонят. На мое счастье, галки залетели в собор. Итальянцы и немцы открыли пальбу по галкам — развлекаются гады! Тем временем верующие старички нажали плечом, отодвинули перегородку и меня в свою компанию

взяли. Вскоре арестованных погнали из собора, а я остался в соборе в обществе стариков, которые закрыли меня со всех сторон. Выбрали какого-то старосту и я вместе со старичками шмыг, шмыг, вышел на свободу. Старички переодели меня, накормили, и я ночью пошел домой.

Гаркуша задумался и сказал с чувством:

— Хорошие у нас старики, сильной веры!..

Гаркуша предложил выпустить листовку. Он сам писал ее текст. Это была самая короткая листовка, какую мы до сих пор выпустили.

Вот она:

«Фашисты меня похоронили. Полная брехня! Я жив!

Смерть немецким оккупантам!

Иван Степанович Гаркуша!».

Листовка имела громадный успех. Лица людей сияли радостью и торжеством: жив Гаркуша! А если жив Гаркуша, значит фашистам не будет от него житья.

5. ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ...

Городок наш осунулся, поблек, стал серым и грязным. Немцы в своей массе резко изменились: проходящие войска были — вшивые, грязные солдаты, в легких шинельках и награбленных платках. Но чем хуже был их внешний вид, тем свирепее они держали себя: дочиста обобрали жителей, обрекая людей на голодную смерть.

Город лихорадило: была объявлена регистрация мужчин от шестнадцати до шестидесяти лет. Тех, кто пришел в управу, немцы угнали на станцию, погрузили в вагоны и отправили в Германию. По дороге люди разбегались, их ловили, пытали, расстреливали.

Городок опустел. Никакой надежды на получение работы у людей не было.

Германское командование видело и понимало, что население глубоко презирает немец-поработителей. И командование придумывало новые пытки и унижения достоинства человека. Например, в центре города фашисты устроили свое кладбище. Они разрушили наши памятники, вырубili молодые деревья, растоптали цветники и превратили съев в «усыпальницу» гитлеровских бандитов. По этому малю. Немецкий комендант специальным приказом объявил населению города Н., что каждый житель, проходящий мимо фашистского кладбища, должен снимать шапку и низко кланяться бандитским могилам. Тех, кто не кланялся, гестаповцы хватали и пытали. Что оставалось делать?

Все новые и новые части проходили через город, сменяя перемолотые поля и батальоны. Сперва на кладбище в саду гитлеровцев хоронили с удобствами, каждого отдельно. Но потом кризис в могильной площади, вызванный массовыми потерями, заставил фашистов перестроиться: убитых стали закапывать в общую яму.

Все более свирепым становился фашистский террор. Я сократила круг знакомств и редко появлялась на улицах. В сумерках кто-то тихонько стукнул в мое окно. Сквозь стекло я увидела закутанное платком лицо Настасьи Ивановны. Глаза ее улыбались. «Ну, значит, Гаркуша вернулся», — решила я.

Огородами мы пробрались на окраину, а оттуда к знакомой шахте, где я в первый раз увидалась с Гаркушей, после его побега из концентрационного лагеря.

Гаркуша ждал нас с нетерпением. Его плечи подпирали низкий свод забоя. Где-то совсем близко журчала подземная вода. Мы подорожали.

— Курево принесла? — спросил он Настю.

Стоя на коленях, она развязала узелок и протянула ему кисет с махоркой. Гаркуша свернул папиросу и глубоко затянулся, наслаждаясь табачком.

Он распаковал тючок, завернутый в макировочный халат. Там были листовки. Гаркуша сказал, улыбаясь:

— Читай вслух...

Настенька поджала лампочку, и я стала читать вышлоголосо обращение военного совета энской армии к гражданам нашего города.

«Дорогие братья и сестры, — так начиналась листовка. — К вам, своим верным сынам, обращает свои слова любимая советская родина.

Гнусные средневековые пытки творят фашисты над вами, — говорила листовка. — Фашистские мерзавцы насилизуют женщин, убивают детей, стариков. В этих черных злодеяниях германских захватчиков помогает им кучка предателей и изменников родины во главе с продавшимися немцам Ковтуном и Казюком.

Но насшим убийцам не уйти от ответственности за совершенные злодеяния. Жесточкая кара постигнет бандита Ковтуна и его подручных».

Листовка вселяла уверенность в победу и призывала граждан нашего города к активной помощи наступающей Красной Армии.

«Рвите телеграфную и телефонную связь врага! Бейте немецких захватчиков беспощадно. Чем сподручнее, тем и бейте!

Уничтожайте старост, полицейских и прочих предателей! Смерть изменникам родины!»

Мы все трое стояли на коленях; раскаливающаяся лампочка освещала наши лица. Гаркуша засмеялся:

— Вот когда будет работа твоим Катюшам!..

Разработав до мелочей технику распространения листовок, наметив людей, которые проведут эту работу, мы стали обсуждать план выполнения нового, порученного нам командованием, задания.

Речь шла о том, чтобы захватить живьем, как говорил Гаркуша, парочку предателей и переправить их на наш берег.

Я помнила слова Гаркуши: действовать осторожно. И на другой день старательно инструктировала девушек: маленькую Катю, Иру и Мусю. Мы провели репетицию: вынимали листовки из корзинки, прикладывали их к стенке, клеили. Затем мы наметили районы боевых действий — улицы, дома, заборы; обошли их днем, а глухой, темной ночью приступили к выполнению задачи. Казус случился с Мусей. Ее остановил полицейский и грубо спросил:

— Что несешь?

Худенькая, маленькая Муся, по влду подоросток, от страха присела перед бандитом и тонким голоском прошипела:

— Лепешки, пан полицей... И, шорывшись в корзинке, вынула и протянула «пану» лепешку, завернутую в листовку.

Все листовки были расклеены в эту ночь. Все прошло удачно. О них говорил весь город. Шепотом, вполголоса, громко... Народ верил: предателей ждет суровая кара, не уйти им от суда советской власти. И радовался народ: значит скоро Красная Армия освободит наш город и весь Донбасс.

И в эти же дни мы начали подготовку к осуществлению другой задачи. Захватить предателей Ковтуна и Казюка было невозможно, — они жили в одном доме с германским комендантом и сильно охранялись. По предложению Гаркуши, решено было захватить Голубя и работника городской управы Косовского. Эти «птицы» знали все тайны кровавой деятельности коменданта города и его подручных. Жили они в одном доме. Мартовской ночью Муся постучалась в дверь к Голубю.

— Дяденька, — сказала она скороговоркой, — пан Голубь, кличут вас...

Голубь открыл дверь, пропустил ее вперед. Но вместе с Мусей в узкий полутемный коридор, освещенный ночником, ворвався Гаркуша с двумя разведчиками.

— Куда прете?— сердито сказал предатель. Он был в подпитии и не сразу узнал Гаркушу.

— Гостей принимай!— бешено заорал Гаркуша.

— Ты жив?— в ужасе проговорил Голубь при виде Гаркуши.

— Как видишь,— сказал Гаркуша, связывая ему руки и затыкая рот.

Вторую «птицу» заставили открыть дверь тем же манером, а затем спеленали, как ребенка, в одеяло, вынесли во двор и положили на дно санок, где уже лежал Голубь.

Рискуя каждую минуту жизнью, разведчики провезли их через весь город, а затем знакомыми дорожками благополучно перebrались через болото за нашу линию фронта.

По этому болоту и мы с Катей пробирались три дня спустя. Нам помогал туман, низко сляпавшийся по земле. Через бабку пролетали снаряды, но мы считаем себя обстрелянными и храбримся, хотя к воющим звукам близко пролетающих снарядов и мне трудно привыкнуть. Впереди вспыхнули желтые ракеты. Мы знаем: это сигналы наших постов. В яру гремят колеса,— это проезжает немецкая повозка. Мы прижались к земле и слышим, как громко стучит сердце. Звук колес затих. Что-то чернеет впереди. Мы не двигаемся, и это что-то черное не двигается. Подползаем с Катей с двух сторон к черному — и словно гора с плеч: это засохший куст. Ползем дальше. Натылкаемся на вмерзшие в землю трупы. Чья — наши или фашисты? Трудно что-нибудь разглядеть в темноте. Медленно ползем вперед. Нервы и слух напряжены. Слышим далекое фырканье. Где-то близко должен быть знакомый ручей. Руками шупаю болотную землю, покрытую снегом. Вот-вот будет ручей. Я хочу приподняться — и

вдруг очередь из пулемета прижимает меня к болоту. Это стреляют немцы: светящийся фосфорический след оставляют в воздухе траассирующие пули. Ощущение мало приятное. Я спрашиваю Катю:— Жива?— Она говорит с усилием:— Жива,— и тихонечко стонет. Я подползаю к Кате, ощущиваю ее: Катя ранена в ногу. Что делать? Пулемет затих. Обнимаю Катю, прошу ее поднатужиться и помогаю ей ползти к ручью. Вот он ручей, мой «крестный» ручей, через который я впервые переходила линию фронта. Катя молчит. Смачиваю ей губы снегом. Ах, если бы подошел наш патруль! Но никто не подходит. Чтобы подбодрить Катю, шепчу ей:

— Маленькая Катя, слезай, приехали.

Ползем долго, кажется, целую вечность. Первый встречный боец живо сбросил с себя плащ-палатку. Кладем на нее Катю и несем в блиндаж.

Кате оказали первую помощь, промыли рану, туго забинтовали ногу. Она стыдится заплакать, застонать и молча кусает руки. Потом ей становится легче, и она забывается тревожным сном. Примостившись подле моей подружки, засыпаю и я. Утром, еще не проснувшись, я слышу чей-то шопот, открываю глаза и вижу капитана Малеева. Он говорит ласково, радостно:

— Здравствуйте, дочка!

* * *

Маленькая Катя поправляется. Я подвожу ее к окну. Весеннее солнце растопило снега. За терриконами я мысленно вижу наш маленький многострадальный город. Скоро, скоро он будет освобожден, и я снова увижу знакомые улицы, знакомые дома, знакомых друзей-шахтеров...

Через три дня я отправлюсь в путь-дорогу, в глубокий тыл оккупантов.

Сон

Все было так, как наяву:
Рванулись кони злым наметом,
Помчалась прямо в синеву
Дорога с дальним поворотом.
Горбушка яркого огня
За край земли цеплялась, тая,
Напротив тлеющего дня
Стояла елка золотая.
Мне снилось, что никто не спит,
Что от домашнего порога,
Из-под дымящихся копыт
Стремится к облакам дорога.
Все было просто. Но война
Вплеталась в сон неясным гнетом —
Как будто тени пелена
Скрывала смерть за поворотом.
Сказал товарищ:— Ерунда,—
Наш спор давнишний продолжая,—
Пусть за углом нас ждет беда,
Пусть пуля просвистит чужая,
Ты жизни радуйся пока,
Дыши простором, точно птица.

Еще дорога далека —
Кто знает, что должно случиться!—
А почва по краям пути
Вдруг так легко запахла хлебом,
Почудилось, что миг летит
Так медленно под долгим небом.
И вот в спокойствии пустом,
В дороге, выгнутой полетом,
Сквозь сон подумалось о том,
Что нас ждало за поворотом.
Вслепую торопить коней
Да любоваться ясным светом,—
Нет, эта радость не по мне,
Не нахожу я счастья в этом!
Пусть в сновидение война
Вплетает грозную тревогу,
Пусть мертвой тени пелена
Закроет впереди дорогу,—
Мне надо знать, что наяву
Рванулись кони злым наметом,
Что слова неба синеву
Увижу я за поворотом!

Альпийский поход

Народная песня

Жил да был орел па свете,
И в большом гнезде жила
С ним орлица, жили дети,
Дети малые орла.

Альпы блещут в даях неба
Голубой стальной пилой.
Тут и зверь ни разу не был,
Не дышал и зверь людской.

Лишь одни орлы шумели
Взмахом крыльев, взмыв с вершин,
Да шумели тут метели,
Да свергался гром лавин.

Вдруг орел глазам орлиным
Не поверил, изумлен:
Видит, движется к вершинам
Диво-дивное, как сон.

Он крылом толкает гордым
И орлицу, и орлят,—
То Суворов шагом твердым
Вел своих лихих солдат.

Альпы блещут в даях неба
Голубой стальной пилой.
Тут и зверь ни разу не был,
Не дышал и зверь людской —
Лишь орел летал седой.

Ой ты, генерал Суворов,
У тебя орлиный норов,
Если, генерал Суворов,
Ты отважился шагнуть
На крутой орлиный путь.

По опасным перевалам
Он идет, славянский род.
Через пропасти, по скалам
Рать славянская идет.

Говорит орел орлице:
— То не люди, то скорей,

Как и мы, большие птицы,
Только в облике людей.

И орлица, жалко ей
Сбитых дерзостью людей,
Отвечает: — Безполезно —
Впереди большая бездна
Разекает черный рот.
Взорван, взорван мост железный —
Войско русских не пройдет.
Лишь орлам доступен тот
Через пропасть перелет.

И орлы уснули. Стала
Ночь дышать в тепло гнезда.
И полярная звезда,
И Суворова звезда,
И над Альпами звезда
Ярко-ярко заблистала,
Славным именем горда.

Утром хмурьём, нелюбезно
Вдруг орел орлицу — толк!
— Глянь-ка: по мосту, над бездной,
За полком шагает полк,
За полком шагает полк,
Видно, знает в шаге толк.

И скреплен тот мост над бездной,
Без опоры, без бычков,
Только крепью кушаков
Да негнушейся, железной
Волей русских смельчаков.

И орел рванулся, вольный,
Взмахом крыльев горячо
И Суворову, довольный,
Сел на старое плечо.

И воскликнул в синь просторов:
— Ты, как я, орел, Суворов.
И бойцы твоих полков
Родом тоже из орлов.

Перевел с чешского ВАСИЛИЙ КАЗИН

Золотой локон

В нашу тихую светлую госпитальную палату вошла необычная гостья. И хотя никто из нас не видел ее, не разговаривал с ней и не заметил когда, в какой день и час, днем или ночью она появилась, но все почувствовали ее приход. Скоро мы даже знали, как ее зовут. Имя ее было любовь.

С появлением ее палата как-то преобразилась, стала еще аккуратнее, светлее, и все мы, даже самые нетерпеливые, забывали о своих ранах и с жадным любопытством ждали каждого ее посещения.

И раньше, до нее, любовь не раз служила предметом наших вечерних разговоров в часы после ужина, когда зажигалась под потолком голубоватая лампочка и вся палата погружалась в какую-то сказочную полумглу.

Мы все были за сильную, настоящую человеческую любовь, поэтому в особой чести у нас были Анна Каренина и Акулиня Астахова, мавр Отелло и пылкий Владимир Ленский.

Все мы уже любили — одни раньше, другие позже, — и каждый из нас носил в памяти эти золотые дни и месяцы... Но все это было когда-то, а теперь вновь мы своими глазами увидели любовь и все вместе, восемь взрослых людей, оберегали и охраняли любовь девятого нашего молодого товарища.

Это был Василий Светличный, двадцатилетний юноша с чистыми голубыми глазами.

Его привезли к нам очень плохим. Нянь и сестры осторожно снимали с носилок безжизненное молодое тело... Потом укрыли его двумя одеялами, хотя в палате было тепло. За все это время Светличный не простонал, не произнес ни одного слова. Он лежал молча, и, казалось, само дыхание покинуло его. Русые выющиеся волосы рассыпались по подушке... Около него засуетились врачи, сестры... Затем начались уколы, подкожные вливания и впрыскивания, а он лежал безразличный ко всему, и, казалось, что все эти процедуры проделывают не с ним, а с кем-то

другим. Судя по всему, ему было очень больно, по он не терял сознания. Это было видно по его большим голубым глазам, под которыми залегли синеватые тени и которые, казалось, одни принимали участие в происходившем.

Поздно ночью Светличному стало совсем плохо. Необходимо было срочно делать переливание крови. Но требуемой группы крови в этот момент в госпитале не оказалось. Вот тогда-то мы и узнали о существовании новой почной сестры. Она работала всего второй день. Группы крови совпали, и она поделилась жизнью со Светличным.

Рано утром, когда съезды темные маскировочные шторы пробивались голубые полоски зимней зари, сестра вошла к нам в палату — узнать, как чувствует себя Светличный. Она подняла шторы, и мы увидели за окном деревья, окутанные пушистым инеем, и стекла, легко разрисованные морозным ажуром.

Сестра склонилась над койкой Светличного. Он спал спокойно дыша, и первые краски румянца пробились на его бледных, запавших щеках. Она взяла его руку в свою, маленькую, очень маленькую руку, и по губам ее мы поняли, что она считает удары пульса. Сестра стояла, чуть склонившись над Светличным, и мы все обратили внимание на золотой локон, который непослушно выбился у нее из-под белой косынки, и на ее нежное, овеянное ночной усталостью загорелое лицо. Она осторожно положила руку Светличного ему на грудь и заботливо укрыла ее одеялом, в это мгновение Светличный открыл глаза. Сестра, как бы застигнутая врасплох, повернулась, но не ушла, а только сказала:

— Спите, спите, товарищ...

— Как вас зовут? — спросил огниными губами Светличный. Это были первые слова, которые он произнес за сутки пребывания в нашей палате.

— Меня зовут Вазей... Спите.

Светличный закрыл глаза. Валя какое-то мгновение постояла около него, вопросительно посмотрела нас всех и, видя, что ни у кого никаких просьб и требований не оказалось, легко вышла из палаты. Некоторое время стояла тишина, и все почему-то вновь обратили внимание на деревья, окутанные инеем, и на стекла, причудливо разрисованные морозом.

— Вот такие у нас в Полтаве, — сказал вдруг Шкатулка. Но все посмотрели на него строго, и Шкатулка, поняв, что не надо говорить, виновато поднялся с койки и пошел умыться. А мы так и не произнесли ни слова, но каждый понял, что в нашей палате что-то произошло.

Переживание крови оказало на Светличного чудотворное действие. Он стал поправляться на наших глазах. Но утром, после крепкого сна, у него появился здоровый румянец, но он все так же, неизбежно, лежал молчаливый, только глазами и улыбкой принимая участие в разговорах. А разговоров и споров у нас в палате бывало много, но и они часто надоедали, тогда мы, как бы поговору, тянулись к наушникам радио и часами слушали музыку, песни, статьи из газет, стихи и письма на фронт.

Нам нравилось многое из того, что передавало радио, но особой любовью пользовались у нас песни, которые исполняли хоры, ансамбли и джазы. Многие песни запоминались, и мы охотно насвистывали их. Этим занимался даже Игнат Шкатулка, которому, как говорят, медведь наступил на ухо. Но мы не мешали ему портить мотивы, так как всякому дорого воспринимать музыку по-своему.

Один из хоров часто исполнял незатейливую песенку о том, как однажды во время боя сестра вытасила из огня раненого парнишку, как он, отлежавшись в госпитале, вернулся в свою часть и в свою очередь вытасил с поля боя раненую сестру. Мотив этой песенки не отличался оригинальностью, он напоминал какую-то городскую мелодию, но какую, мы не могли вспомнить, — да нас это и не интересовало, — и воспринимали песенку такой, какой она была. Может быть, мы даже не обратили бы на нее внимания, она прошла бы мимо нас, но мы стали замечать, что Светличный слушал ее с загоревшимися глазами и, видимо, запоминал слова. Теперь, вспоминая и перебирая в памяти все события, происшедшие на моих глазах за время пребывания в госпитале, я готов утверждать, что эта песня сыграла свою роль в отношениях между Васей Светличным и Валей.

В песне были такие слова:

А потом на койке госпитальной
Вспомнил парнишка молодой:
Звездный блеск очей ее печальных,
Под шилоткой локоп золотой.

Речь, конечно, шла о той самой сестре, которая вытянула раненого парнишку из боя.

Мы видели, с каким нетерпением ожидал Василий вечера, когда должна была заступать на дежурство Валентина. Она приходила в двадцать минут шестого. Уже с пяти часов Светличный начинал нетерпеливо смотреть на часы, висевшие на стенке. Мы видели, как он внимательно прислушивается к шагам, раздающимся в коридоре. Однажды он даже неодобрительно высказался по поводу того, что напрасно в коридоре стелют дорожки, так как они, видите ли, наверно, мешают при переноске и перевозке раненых. Но, несмотря на дорожки, он научился безошибочно раз узнавать неторопливые шаги Валентины. Лицо у него преображалось, глаза лучились, щеки розовели. Мы знали, что если Валя придет, она сейчас же войдет в нашу палату, обойдет всех, спросит, как самочувствие, посмотрит на температурные листки, а затем уже подойдет к Светличному и постоят около него минут пять, оправит одеяло, повторит вопросы, а он ответит на них невнятно и будет только смотреть на смуглое валино лицо, на ее золотой локоп. Потом Валя уйдет, а Светличный будет с нетерпением ждать, когда она снова придет для того, чтобы измерить вечернюю температуру.

Как-то после того, как мы еще раз прослушали песенку о сестре с золотым локопом, он сказал нам:

— У нее, наверно, такой же золотой локоп был, как и у Вали, — это были первые слова, в которых он вслух выразил, хотя и очень неопределенно, свое отношение к Вале. До этого он берег это чувство в себе; не желая, видимо, ни с кем делиться даже на словах.

— У Вали лучше, — с легкой ехидцей сказал Шкатулка.

— Да, у Вали, наверно, лучше, — серьезно подтвердил Светличный, — она очень хороша.

— Еще бы, плохая разве отдала бы тебе свою кровь, — сказал Шкатулка.

— Какую кровь? — не понял Светличный.

— Как какую? Когда тебя привезли, тебе, брат, плохо было — она тебе и отдала свою кровь.

— Так это ее кровь?! — воскликнул Светличный таким голосом, что мы не знали, сердиться ли на Шкатулку за неосторожные слова или благодарить его за позднее сообщение. По правде говоря, нам казалось, что

Василий знал, чья кровь вернула его к жизни, и этим частично объясняли его отношение к Вале. Но мы, оказывается, плохо отличали любовь от благодарности. Это сообщение привело Светличного в полное смятение. Когда пришла Валя с термометром, он взял его, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и разбил термометр о тумбочку. От этого он еще больше растерялся и начал собирать рассыпавшиеся на одеяле шарики ртути.

— Не надо... Не надо... Не волнуйтесь так, Вася... Я принесу сейчас другой,— сказала Валентина и вышла из палаты.

Мы накинулись на Игната Шкатулку. Вставший у окна Сурин даже сказал:

— У тебя язык или помело?

Но Светличный не дал нам окончательно уничтожить злополучного Шкатулку.

— Не надо его ругать. Спасибо тебе, Игнат,— обратился он к Шкатулке, и тот расцвел в виноватой улыбке,— теперь я знаю все. Я даже больше вам скажу, товарищи, я ведь люблю Валу... Вы понимаете, что это для меня значит...

В это время в палату вошла Валя, она принесла термометр.

— Этот уже не разбейте, Вася,— сказала она.

С этого дня дела Василия Светличного стали совсем хорошими. Выздоровление шло к нему навстречу широкими шагами. Скоро он уже поднялся с койки и смог выходить в длинный госпитальный коридор. В дни валиных дежурств он выходил и в черном монашеском халате ожидал ее прихода.

Однажды в это время и разгорелся у нас в палате спор. Одни говорили, что основное лекарство, которое так действовало на Светличного, была любовь к Вале, другие утверждали,— уважая эту любовь и даже допуская ее в больничной обстановке,— что это все-таки чепуха, что излечивает не любовь, а чистая медицина. Мне не хотелось быть мудрым — я присоединился к первым, а за мной присоединился и Шкатулка, кото-

рый подружился со Светличным и ласково называл его «Василь».

Однажды Валя не вышла на очередное свое ночное дежурство, и мы стали свидетелями того, как мучился и страдал наш девятый товарищ, как мучился и страдал он и в следующие два дня, до того вечера, когда Валя пришла и все объяснилось,— она просто была простужена.

Подходило время Василию выписываться и отправляться в часть. Мы видели, что и Василий тоже уже не безразличен Вале. Но мы также видели, что прямого признания еще не было, и с тревогой думали, неужели так и уедет Василий, не раскрыв своего горячего чистого сердца Вале, которую все в нашей палате глубоко ценили и любили.

Все мы крепко и сердечно расцеловались с нашим другом, девятым товарищем, когда он явился к нам, одетый по форме. Обменялись, как полагается, адресами и обещали писать и во время войны, а уж после войны — обязательно. У каждого из нас вертелся вопрос: «А как же Валя?» — но мы не задали его.

Валя пришла на следующий вечер, и нам показалось, что она грустна и лицо ее осунулось. Как всегда, она подходила к каждому из нас, расспрашивала о здоровье, смотрела температурные листки. Потом она подошла к пустой вазиной койке и поправила край завернувшегося одеяла.

— Уехал наш Василь, сестра,— вздохнув, сказал Шкатулка.

— Уехал,— сказала Валя.— Уехал... Я ему в дорогу вот что подарила.

Вопреки всем госпитальным порядкам, Валя сдернула с головы косынку и мы увидели, что на том месте, где у нее раньше висел и рассыпался золотой локон, осталась только коротко остриженная прядь волос.

Всем нам стало легко и как-то радостно. И у всех была одна мысль: вот кончится война, Василий и Валя найдут друг друга и будут счастливы — они стоят друг друга.

Жизнь побеждает смерть

Я видел страшную фотографию, которую, вероятно, не смогу забыть никогда. Тяжело привалившись к стене, сидит мертвый ребенок — мальчик лет двенадцати. Немцы не пожалели на него пуль. Лицо его обезображено, глаза выбиты. В руках он сжимает комок окровавленных перьев, — это все, что осталось от его любимого голубя.

В московской больнице лежит подросток, которому немцы отпилили руку. У себя дома, в родных местах, он славился своей ловкостью, изобретательностью, способностью к любому ремеслу.

— Это будет мастер, — говорили про него соседи, — золотые руки.

И вот фашисты исколечили маленького мастера, лишили одной из его «золотых» рук...

Какой методичной, спокойной и тупой жестокостью надо обладать, чтобы проделать над ребенком такую операцию.

Кажется, достаточно одного этого факта, чтобы навсегда поколебать всякую веру в человека, в его разум и сердце, в его способность от столетия к столетию подниматься по ступеням этической лестницы.

Но в наше время сталкиваются друг с другом не только армии и народы, но и враждующие между собой факты. Рядом с падением всякой человечности мы видим и ее небывалый подъем.

В осажденный, томящийся от голода большой город партизаны доставили сквозь линию фронта целый обоз с продовольствием — вереницы крестьянских телег с хлебом, мясом, картошкой.

Все это по горсти собрали жители оккупированных деревень, беспощадно ограбленных немцами. Собрали за спиной у своих работников, ежeminутно рискуя жизнью.

И уж совсем на верную смерть шли люди, которые взялись провезти эти телеги по занятой немцами земле, мимо вражеских дозоров, под угрозой нападения фашистских самолетов. Но, видно, смерть отступает перед теми, кто мало думает о ней и о себе!

Петляя по лесам и болотам, партизаны добрались, наконец, до своей цели и до-

ставили городу драгоценный подарок из вражеского тыла.

Недавно я был в Москве на одном замечательном собрании. Это было «двухэтажное собрание». Наверху, в зале Московского отдела народного образования, собрались взрослые, а этажом ниже — в детской комнате — ребята четырех, пяти, шести лет.

Взрослые наверху говорили и слушали речи, как это обычно бывает на собраниях, а маленькие сидели на низеньких стульях или на ковре, смотрели картинки, строили что-то из кубиков и только иногда прерывали игру нетерпеливым и встревоженным зовом:

— Мама! Отчего моя мама так долго не идет!

— Подожди немножко, сейчас придет, — успокаивала их заведующая детской комнатой.

Но вот матери и в самом деле пришли, закончив свое собрание.

Светловолосая женщина подошла к такой же белокурой маленькой девочке.

— На ручки, — скомандовала девочка.

Мать подняла ее.

— А ведь дочка-то похожа на вас, — сказал кто-то.

— Еще бы, — со смехом ответила молодая женщина. — На то она и дочка!

Во всем этом не было бы ничего удивительного, если бы светловолосая женщина и вправду была матерью своей беленькой дочки. На самом же деле эта девочка — круглая сирота. Родителей ее — и отца, и мать — всего лишь несколько месяцев тому назад убили немцы.

Девочка еще очень мала, но в памяти у нее осталось что-то страшное. Когда ее спросили однажды: «Где твой папа?», она ответила:

— Ручки завязали и бросили в яму.

Конечно, больше ее никто ни о чем не стал расспрашивать.

Свою родную мать девочка никогда не вспоминает. Может быть, здоровый инстинкт жизни подсказывает ей, что лучше забыть непоправимую утрату и целиком довериться новой семье, новой матери.

А новая мать стоит доверия ребенка.

Это она — Овчинникова, работница завода «Богатырь», — первая предложила советским людям усыновить детей, потерявших в этой войне своих родителей. Множество женщин и мужчин в городах и селах откликнулись на ее призыв.

Пожилая учительница Прыжкова, работающая в школе двадцать первый год, и молодая девушка Зоя Мартынова, которая и всего-то на свете прожила восемнадцать лет, берут на себя ответственность за судьбу осиротевших детей.

Женщины, проводившие сыновей на фронт, вспоминают свою молодость и становятся матерями двухлетних и трехлетних ребят.

Берут на воспитание детей не только бездетные или уже вырастившие своих собственных ребят женщины, но и такие, у которых на руках по четверо, по пятеро дочек и сыновей.

Глядя на хорошенькую белокурую Надю Овчинникову, шевельно думаешь:

— А ведь, пожалуй, всякому было бы приятно взять к себе в дом такого веселого, красивого и нарядного ребенка!

А между тем, когда фабричная работница Овчинникова впервые принесла свою приемную дочку к себе домой, ее собственная дочь с ужасом воскликнула:

— Мама, — это урод!

Девочка казалась страшной, — так распухла от голода и от мороза ее лицо, ручки, ножки.

Должно быть, почти все ребята, собранные в комнате нижнего этажа, — эти веселые мальчики и девочки, деловито катающие в автомобиле куклу, зайца и мячик, пережили за свою короткую жизнь еще меньше, чем Надя Овчинникова.

С какой гордостью их новые родители говорят о том, что за три-четыре месяца дети стали совсем неузнаваемы.

— Моя Лелечка, когда я брала ее, была совсем больная, лежала в кроватке. Бледенькая была, как эта стенка. Она плохо ходила, говорила. А теперь только и слышен дома ее голосок.

Ребята крепко привязываются к людям, которые их приютили и усыновили.

Вероятно, ранняя и внезапная утрата родного дома, семьи, матери научила их больше дорожить домашним теплом и заботой, чем дорожат дети, еще никогда ничего и никого не терявшие.

С какой-то ревнивой страстностью повторяют они по всякому подходящему и неподходящему поводу отнятое у них и вновь подаренное им слово «мама».

— Где моя мама? Пусть моя мама возьмет меня на руки.

Одна из новых матерей — школьная учительница — рассказывает:

— Как-то раз я взяла своего Адика с собой в школу. Там он разговорился с девочкой из первого класса. Адик сказал: «Вот моя мама. Она пришла на собрание. А девочка говорит: «Это совсем не твоя мама, она чужая, она — моя учительница». Мальчик долго не мог успокоиться. Дома он целый вечер плакал и повторял: «Разве ты не моя мама? Я не чужой, я твой Ты — моя мама. Разве ты только девочка на учительница?» Я не чужой, я свой...»

Бывают случаи, когда приемные родители, чтобы не разлучать между собой братьев и сестер, берут в дом сразу двоих и даже троих детей.

А там, где это оказывается им не под силу, где братьев и сестер приходится разъединять, брать в разные семьи, — там эти семьи вступают между собой в новые родственные отношения.

Об этом трогательно рассказывает одна из матерей, учительница Вишняковской сельской школы Егерева:

— И вот мы, две учительницы, живущие недалеко друг от друга, сроднились и стали близкими из-за наших ребят. Мы взяли двух братьев: я — старшего, Аркадия, она — младшего, пятилетнего Вовочку. Теперь я чувствую, что она мне как родная сестра, такие мы близкие!..

Эта связь, возникающая между отдельными семьями, как бы сливает их в одну огромную семью, объединенную отцовской, материнской, братской любовью.

Дети перестают быть сиротами, переступая через порог незнаемого, чужого дома.

Впрочем, и самое слово «сирота» теряет у нас право на существование.

— Давайте, выкинем это слово из нашего обихода, — говорит учительница Егерева. — Не может быть сирот в стране, где мы все матери... Давайте говорить о наших родных детях, а не о сиротах.

Все, кто слышал эту простую, глубоко сердечную речь учительницы Егеревой, не мог не почувствовать счастливой гордости за человека, за наш народ.

Нет, фашистам не удастся отнять у наших детей будущее, разрушить наши семьи, наши дома!

Люди у нас сильны и на фронте, и в тылу. Бесконечны жизненные силы нашего народа, а жизнь всегда побеждает смерть!

Кровь, труд, пот и слезы

(Из речей Уинстона Черчилля)

Уинстон Черчилль стал премьер-министром Англии 10 мая 1940 года, как раз в тот день, когда было начато наступление гитлеровских войск против Бельгии, Голландии, Франции, когда не осталось уже никаких сомнений относительно планов Гитлера и его намерений сокрушить Францию, а затем и Великобританию.

В своей речи 13 мая 1940 года в парламенте в качестве премьер-министра Черчилль сказал: «Я ничего не могу предложить, кроме крови, труда, слез и пота». О своей политике он сказал, что она будет состоять в том, чтобы: «вести войну на море, на суше и в воздухе со всей нашей силой». «Наша цель, — говорил он, — выражается одним словом: победа — победа во что бы то ни стало, победа, несмотря на весь ужас, победа, как бы длинен и труден ни был путь, так как без победы нет спасения».

Черчилль много лет подряд стоял за политику объединения всех миролюбивых стран против фашистской агрессии и высказывался против политики капитулянтства перед гитлеровской Германией; в частности, он стоял за сближение с Советским Союзом для общего отпора фашистским разбойникам.

Во время политического кризиса, потрясшего Европу в 1938 году, когда Гитлер насильственно присоединил к Германии Австрию и готовился покончить с независимостью Чехословакии, Черчилль поднял свой голос за сближение Великобритании с Францией, Югославией, Румынией, Венгрией, Чехословакией. В речи, произнесенной в Манчестере 9 мая 1938 года, Черчилль говорил об этих странах: «Эти страны могут быть уничтожены одна за другой, но вместе они представляют огромную силу».

Объединение с этими государствами двух западных демократий «явилось бы, вероятно, решающим шагом по пути к стабилизации, которой мы хотим достигнуть».

Но для Черчилля это было бы только началом.

На востоке Европы находится страна огромной силы — Россия, «которая во всяком случае не стремится к военной агрессии

сильно против ее соседей, страна, которая заинтересована в мире, страна, которой серьезно угрожает нацистская вражда, страна, которая представляет собой опорную базу всех этих государств средней Европы, которые я перечислил... Как глупо было бы с нашей стороны, когда опасности так велики, воздвигать ненужные препятствия в деле общего объединения с громадными русскими массами против действий нацистской агрессии».

Далее он указывал на Польшу, прибалтийские страны, скандинавские государства, как на возможных участников борьбы с агрессией.

Кроме того, «за Атлантическим океаном Соединенные Штаты подают нам сигнал ободрения и симпатии».

Так представлял себе Черчилль путь борьбы с агрессией гитлеровской Германии в мае 1938 года.

В конце мая 1938 года гитлеровская агрессия распоясалась во всю и угрожала насильем Чехословацкой республике. Чехословацкое правительство ответило тогда на вызов Гитлера объявлением 20 и 21 мая 1938 года мобилизации всех своих вооруженных сил.

Гитлер на время отступил, но затем в августе и сентябре снова повел атаку на Чехословакию, с целью добиться ее расчленения. 15 августа в Германии начались военные маневры в самом широком масштабе и продолжались целый месяц.

22 августа советское правительство уведомило германского посла в Москве, что если Чехословакия подвергнется нападению Германии, Советский Союз выполнит свои обязательства в отношении Чехословакии по договору 1935 года. Этот договор, как известно, обязывал Советский Союз и Чехословакию прийти на помощь друг другу в случае неслучайно спровоцированной агрессии, при условии, если Франция выполнит свои обязательства по договорам с Чехословакией и Советским Союзом.

Черчилль произнес 27 августа 1938 года в своем избирательном округе речь по поводу германских маневров и, указывая на возможность насильственных действий со стороны гитлеровцев против Чехословакии,

заявил: «Такой случай не будет простым нападением на Чехословакию, это будет оскорблением цивилизации и свободы всего мира. Каждая страна будет спрашивать себя, чья будет ближайшая очередь?»

29 сентября 1938 года в Мюнхене было подписано соглашение Чемберлена, Даладьё, Гитлера и Муссолини о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии. Кроме того, Чемберлен заявил, что он принес «мир нашему поколению», что он заключил «почетный мир», но Черчилль 5 октября в речи в парламенте развенчал мнимый успех Чемберлена и назвал его «полным и безусловным поражением».

Он утверждал, что «чехи, будучи предоставлены самим себе, если бы им было сказано, что они не могут ожидать помощи от западных государств, могли бы добиться лучших условий, чем они получили после всех этих неисполненных обещаний. Они вряд ли могли иметь что-либо худшее».

Черчилль утверждал, что «Франция, Великобритания вместе, если бы они подерживали тесный контакт с Россией, чего, конечно, не было сделано, могли бы в летние дни, когда они имели еще соответствующий престиж, повлиять на малые государства Европы и воздействовать на позицию Польши. Такая комбинация в то время, когда германский диктатор еще не связал себя глубоко и неоправдимо новой авантюрой, могла бы еще помочь всем силам Германии, которые сопротивлялись этой аванюре, этому новому плану».

«Все кончено,— говорил Черчилль,— молчащая, покрытая трауром, покинутая и разбитая Чехословакия погрузилась в темноту. Она во всех отношениях пострадала от своей связи с западными демократиями и с Лигой наций, которой она всегда покорно служила. Она особенно пострадала от своей связи с Францией, руководство и политика которой так долго оказывали на нее влияние».

И Черчилль предсказывал: «Я рискую заявить, что в будущем чехословацкое государство не может существовать, как независимое целое. Я думаю, вы увидите через некоторый период времени, который можно измерять годами, но который может продолжиться только несколько месяцев, что Чехословакия будет поглощена нацистским режимом».

Это предсказание Черчилля полностью оправдалось. Чехословакия 15 марта 1939 года была целиком присоединена к Германии под видом протектората Чехии и Моравии, с фиктивной самостоятельностью для словаков.

И Черчилль продолжал: «Мы присутствуем при бедствии огромных размеров, которое свалилось на Великобританию и Францию. Не будем слезливы. Надо признать, что все страны Центральной и Восточной Европы теперь постараются договориться, как только могут, с торжествующим нацистским государством. Система союзов в Центральной Европе, на которые полагалась Франция в деле ее безопасности, сметена совершенно, и я не вижу способов для ее восстановления».

Черчилль далее настаивал: «Единственно, что осталось нам, это вернуть нашу прежнюю независимость, добившись превосходства в воздухе, которое нам было обещано».

10 октября 1938 года в обращении к американскому народу Черчилль снова призывал к объединению Великобритании, Франции и России и утверждал, что, по его убеждению, высказанному несколько месяцев тому назад, разрушение Чехословацкой республики могло быть предотвращено, «если бы в апреле, мае или июне Великобритания, Франция и Россия совместно заявили Гитлеру, что они выступят вместе против гитлеровской Германии, в случае, если господин Гитлер совершит акт неспровоцированной агрессии против этого маленького государства».

И далее Черчилль говорил американскому народу, что у него нет сомнения относительно того, на чьей стороне находятся симпатии и убеждения американцев. «Но будете ли вы ждать до тех пор, пока падут британская свобода и независимость, и затем возьмете одни в свои руки дело, на три четверти разрушенное?» Черчилль напомнил слова Александра Македонского, который когда-то заметил, что народы Азии сделали рабами потому, что они не научились произносить слово «нет». Черчилль имел в виду, что в настоящее время слово «нет» означает сопротивление фашистской агрессии. Тот, кто не умеет организовать сопротивление агрессии, тот, кто не может сказать твердое «нет» перед лицом агрессии, тот обречен быть рабом. Американский народ, гордый и справедливый, умеет говорить «нет», когда ему угрожает фашистская агрессия. Но мало сказать «нет», нужно уметь сказать его вовремя и сделать отсюда все необходимые выводы. Сказать «нет» после полной победы фашизма в Европе — значит сказать его слишком поздно, во всяком случае без того эффекта, который это «нет» имело бы, если бы оно было сказано своевременно.

Во время мюнхенского кризиса Франция не только отказалась помочь Чехословакии, но оказывала давление на нее для того, чтобы побудить ее к капитуляции перед гитлеровской Германией.

В результате такого поведения Франции московская газета «Journal de Moscou» 4 октября 1938 года заявила, что Франция «больше не имеет союзников в Европе, за исключением Британии. Какова теперь цена слову Франции? Какую ценность представляет теперь франко-советский пакт, когда Франция порвала свой договор с Чехословакией, договор, который ее обязывал ко многому?»

Франция Даладьё и Бонне потеряла свой авторитет и подготавливала свою собственную гибель. Вместе с тем, после мюнхенской капитуляции Чемберлена и Даладьё Чехословакия была отдана на милость Гитлера, который в середине марта 1939 года окончательно присоединил ее к Германии.

Черчилль имел полное право сказать, что он предупреждал об этом. В речи 14 марта 1939 года, посвященной резуль-

татам Мюнхена, Черчилль говорил, что Чехословакия была лишена способности сопротивляться германским войскам. «Ей приходится выполнять все приказания, которые она получает, как бы жестоки они ни были».

Основой мирных отношений между Англией Чемберлена и гитлеровской Германией должно было служить соглашение о морских вооружениях 18 июня 1935 года, по которому Германия получила право иметь в общем военно-морской флот, равный по тоннажу 35 процентам тоннажа военно-морского флота Англии. Отказ от претензий на морское господство со стороны Германии явился базой мюнхенского соглашения 1939 года, о чем ясно говорит декларация, подписанная в Мюнхене Чемберленом и Гитлером 30 сентября 1938 года.

Но весной 1939 года отношения между Англией и гитлеровской Германией чрезвычайно обострились в связи с тем, что Гитлер бросил вызов Великобритании и 1 апреля 1939 года в Вильгельмсгафене при спуске на воду линейного корабля «Адмирал фон Тирпиц», недавно торпедированного советской подводной лодкой, торжественно и открыто заявил, что Германия должна иметь сильный флот. 28 апреля того же года Гитлер официально объявил о расторжении договора 1935 года о морских вооружениях.

Таким образом Гитлер поставил вопрос о войне за свое господство на морях.

Этим самым началось агрессия против Великобритании и, естественным образом, против Соединенных Штатов, тоже заинтересованных в том, чтобы не допускать владычества Германии на морях.

В связи с этим в Англии происходило обсуждение вопроса о силе английского флота и его задачах. Еще 16 марта от Черчилля мы услышали мудрые слова, о которых не мешает вспомнить и в настоящее время. Черчилль высказывал взгляд, что «невозможно быть одновременно сильным везде. Надо идти на жертвы и испытания на отдельных театрах войны для того, чтобы добиться скорой победы на важнейшем театре военных действий. После того как победа достигнута, найдется много возможностей для того, чтобы восстановить положение на более отдаленных театрах. Если останется что-либо не восстановленное, то все это можно разрешить на мировой конференции».

Черчилль в этот период никогда не забывал напомнить о необходимости сближения с Советским Союзом.

В своей речи в парламенте 13 апреля 1939 года он настаивал на «полном включении Советской России в наш оборонительный блок мира». Он указывал, что «Россия глубоко заинтересована в том, чтобы приостановить дальнейшее распространение власти наци на восток. Мы должны полагаться на этот глубокий, естественный, законный интерес, и я уверен, что мы услышим от правительства о шагах, им предпринятых, которые обеспечили бы возможно полное сотрудничество России, и что никакие предрассудки со

стороны Англии и Франции не помешают осуществлению теснейшего сотрудничества между двумя странами, обеспечив, таким образом, нашему расстроенному и ограниченному объединению неизмеренную и до известной степени неопределенную, но огромную помощь русского государства».

Полностью провалилась идея Чемберлена о разделении «сфер влияния» между Великобританией и гитлеровской Германией на основе принципа гегемонии Великобритании на морях и гегемонии Германии на Европейском континенте, с признанием факта, что Великобритания — великая морская держава, Германия — великая континентальная держава.

В результате этого провала были начаты переговоры с Советским Союзом. Но над этими переговорами тяготел взгляд Чемберлена, высказанный им в английском парламенте еще 21 февраля 1938 года: «Мир в Европе должен зависеть от позиции четырех крупных держав — Германии, Италии, Франции и нас (т. е. Великобритании)... Лига, как она организована сейчас, не может обеспечить коллективной безопасности для кого бы то ни было». Таким образом, «дух Локарно» оказывал влияние на англо-советские переговоры. Переговоры со стороны англичан и французов велись несерьезно. О подлинном союзе, которого желало советское правительство, английское и французское правительства того времени не хотели слушать.

Черчилль проявлял беспокойство по поводу хода переговоров.

В речи, произнесенной в Карлтон-клубе 28 июня 1939 года, Черчилль настаивал:

«Мы все надеемся, что полный и прочный союз будет заключен с Россией без дальнейшей отсрочки. Представляется, что требование русских, чтобы все мы держались вместе в сопротивлении акту агрессии в отношении балтийских государств, справедливо и обоснованно, и я думаю, что мы должны пойти в полной мере навстречу этому требованию. Откровенно говоря, я не понимаю, почему мы все эти недели толчемся на месте. При создавшемся положении, эти дополнительные гарантии не намного увеличивают нашу опасность. Фактически, они ни капли не увеличивают эту опасность, по сравнению с тем выигрышем коллективной безопасности, который мы получаем благодаря союзу между Англией, Францией и Россией. Важнейшие интересы русского государства поставлены наизом под угрозу, и все те, которые чувствуют эту угрозу, должны, естественно, и с доверием объединять свои ресурсы и принять участие в общем риске».

Вызов, брошенный Гитлером Англии весной 1939 года и официально подтвержденный 28 апреля того же года, означал фактически объявление войны Англии. 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, а 3 сентября состоялось объявление войны между Англией и Германией. Черчилль стал морским министром. И в тот же день в парламенте он заявил:

«Вопрос стоит не о борьбе за Дантиг или о борьбе за Польшу. Мы боремся для

того, чтобы опастн весь мир от чумы нацистской тирании и для защиты того, что каждому человеку представляется наиболее священным».

Черчилль продолжал думать о сближении с Советским Союзом.

В своей речи 1 октября 1939 года по радио Черчилль сделал интересное заявление, указывающее на его проищательность. Остановившись прежде всего на поражении Польши, он затем поставил вопрос: «Какое еще имеется второе событие в этом первом месяце?» Ответ его гласил: «Это, конечно, утверждение мощи России. Россия вела хладнокровную политику собственных интересов. То, что русские армии находятся на настоящей линии, явно необходимо для безопасности России против нацистской угрозы. Во всяком случае линия эта установлена, и создан Восточный фронт, на который нацистская Германия не смеет напасть. Когда г. Риббентроп был приглашен на прошлой неделе в Москву, он должен был узнать и признать тот факт, что нацистские планы относительно Балтийских государств и Украины натолкнулись на решительный отпор..»

Не соответствует также интересам безопасности России, чтобы Германия укрепила на берегах Черного моря или чтобы она захватила балканские государства и подчинила себе славянские народы Юго-Восточной Европы. Это противоречило бы историческим жизненным интересам России..

Через туман смятения и неопределенности мы можем ясно различить общность интересов, которая существует между Англией, Францией и Россией, — общность интересов в том, чтобы предупредить возможность для нацистов перенести пожар войны на Балканы и в Турцию.

Таким образом, мои друзья, с риском быть опровергнутым событиями, я хочу провозгласить сегодня вечером мое убеждение, что вторым большим фактом за первый месяц войны является тот факт, что Гитлер и все, за что Гитлер борется, получили отпор на востоке и юго-востоке Европы».

Не все речи Черчилля одинаково хороши. Не со всем сказанным им можно согласиться. Но большая часть его речей представляет несомненный интерес и говорит о его дальновзренности.

Отстаивая определенную линию политики, Черчилль в конце концов был назначен 10 мая 1940 года премьер-министром. Он получил безусловно тяжелое наследство. Он стал во главе английского правительства, когда капитулировали перед гитлеровской Германией Голландия и Бельгия, когда Англия пережила эвакуацию своих войск через Дюнкерк, когда Франция была предана и поставлена на колени перед Гитлером.

В это тяжелое время Черчилль заявил 18 июня 1940 года в английском парламенте:

«Что бы ни случилось во Франции, это не меняет решимости Британии и Британской империи бороться — если необходимо, годы, если необходимо, в одиночестве».

Затем Черчилль сказал: «В конце концов мы имеем флот. Некоторые забывают, что мы имеем флот. Мы должны напомнить об этом».

Англия в это время имела на своих островах одну-две хорошо вооруженные дивизии. Кроме того, там находились войска, вывезенные из Франции через Дюнкерк в количестве 250 тысяч человек, все вооружение которых было оставлено во Франции во время эвакуации. Воздушные силы гитлеровской Германии были тогда вдвое-втрое сильнее, чем воздушные силы Англии. Но Англия действительно имела флот. И Гитлер не решился броситься на английские острова, несмотря на громадный перевес своих сухопутных и воздушных сил. Он принял другой план — взять Англию измором, перерезать ее морские пути сообщения при помощи подводного флота и воздушного флота, а также разгромить промышленность и города Англии путем непрерывных и страшных бомбардировок.

Когда было подписано перемирие между Францией и Германией и петены, дарланы, лавали и другие предатели Франции вспыхнули на поверхность французской политической жизни, Черчилль обратился к английскому народу с посланием, в котором было сказано:

«Премьер-министр ожидает от всех занимающих высшие посты на службе его величества, что они покажут пример стойкости и решительности. Они должны приостановить и запретить выражение всякого рода непродуманных мнений в их собственном кругу или в кругах, им подчиненных. Они должны без колебаний, если необходимо, удалять каждого офицера или служащего, кто будет оказывать разлагающее или угнетающее влияние и чьи разговоры расцениваются на то, чтобы сеять тревогу и малодушие. Только те будут достойными борцами, кто в воздухе, на море или на суше встретит врага без чувства превосходства военных качеств последнего».

Тем временем сухопутные силы Англии росли и крепили, и к концу 1940 года, при помощи Соединенных Штатов, Англия имела на островах около сорока хорошо вооруженных дивизий, а битва за пути сообщения Англии и Соединенных Штатов на Атлантическом океане не приносила победы гитлеровской Германии.

Сближение Англии с Соединенными Штатами Америки становилось все более и более тесным и эффективным. 2 сентября 1940 года Соединенные Штаты согласились передать Англии пятьдесят миноносцев, а Англия согласилась передать в аренду Соединенным Штатам на 99 лет морские и воздушные базы в северной и южной части Атлантического океана.

Одно из направлений германской экспансии до первой мировой войны было связано с Багдадской железной дорогой. Путь этой экспансии шел по линии Берлин — Белград — Багдад. Это направление германской экспансии угрожало проникнуть дальше — через Афганистан в Индию и проходило близко от кавказских границ России. Оно имело целью также овладе-

ние нефтяными источниками в Ираке и Иране, так как недостаток нефти всегда чувствовался в германской экономике и страдался на подготовке ее военной машины.

В дальнейшем, после первой мировой войны, это направление германской экспансии тоже давало себя знать и приводило к попыткам гитлеровской Германии вторгнуться в Турцию, Ирак, Иран и Афганистан. Устанавливая по существу прежние направления экспансии, гитлеровская Германия открыла авиационную линию Берлин — Дамаск — Багдад — Тегеран — Кабул, с намерением продолжить ее дальше — через Индию на Дальний Восток.

В прошлом 1941 году, после неудач итальянской армии в Греции, гитлеровцы двинулись на Балканы и на Ближний Восток, рассчитывая на содействие со стороны французских войск Петэна в Сирии и готовя восстание в Ираке. Назначенное на 3 апреля 1941 года восстание в Ираке не получило своевременной поддержки со стороны германских войск и было подавлено 31 мая. Сотрудничавшая с гитлеровцами Сирия была с 8 по 21 июня занята английскими войсками и французскими войсками де Голля. На Балканах гитлеровцы в конце концов имели успех, но не могли добраться вовремя до Ирака, и весь их план был сорван.

Гитлеровцы предполагали в то же время нанести удар английским войскам, находящимся в Северной Африке, через Ливию. Они потеснили в Ливии английские вооруженные силы, но дойти до Египта не смогли, хотя в 1941 году в операциях в Ливии принимало участие значительно больше германских войск, чем в 1940 году.

Несмотря на то, что весной 1941 года Англия все еще находилась в очень тяжелом положении, Черчилль в своей речи по радио 9 февраля 1941 года заявил:

«Для того чтобы выиграть войну, Гитлер должен разрушить Великобританию. Он может принести бедствие балканским государствам. Он может оторвать значительные области России. Он может двинуться к Каспийскому морю. Он может идти к воротам Индии. Это ничего ему не даст. Он может распространить ужас широко по всей Европе и Азии, но это не спасет его от гибели. Когда-то счастливые страны, находящиеся теперь под игом грубой силы и гнусных интриг, учатся ненавидеть нацистское ярмо и имя нацистской Германии, как люди никогда ничего так сильно раньше не ненавидели...»

«Мы не сдадимся и не сойдемся. Мы не ослабнем и не устанем. Ни неожиданный удар в битве, ни длительные испытания нас не повергнут нищ. Дайте нам вооружение, и мы сделаем свое дело.»

Разгром Великобритании и ее промышленности гитлеровцам не удался. Вместо разрыва связей между Великобританией и Соединенными Штатами, эта связь укрепилась. Гитлер не развёдинил, а сблизил Великобританию и Соединенные Штаты. Народ Соединенных Штатов яснее понял грозящую ему опасность, отказался от политики изоляции и твердо ре-

шил помогать странам, борющимся с гитлеровской агрессией. Положение Великобритании благодаря этому значительно улучшилось.

Зарвавшийся безумец Гитлер 22 июня 1941 года решился на новую авантюру. Подло и вероломно он набросился на Советский Союз в надежде в два месяца сокрушить его и, воспользовавшись ресурсами Советского Союза, затем двинуться на Великобританию и на Соединенные Штаты.

Немедленно в тот же день Черчилль заявил в английском парламенте о том, что Англия окажет Советскому Союзу всю возможную помощь в его борьбе против гитлеровской Германии. 12 июля 1941 года было заключено между Англией и Советским Союзом соглашение о взаимной помощи и поддержке в борьбе против гитлеровской Германии. Это соглашение было заменено договором — более широким, подписанным В. М. Молотовым в Лондоне 26 мая 1942 года.

14 августа 1941 года была опубликована декларация Рузвельта и Черчилля, известная под названием «Атлантической хартии». 15 августа было вручено товарищу Сталину личное послание Рузвельта и Черчилля с предложением созвать в Москве конференцию из представителей Советского Союза, Англии и Соединенных Штатов для обсуждения вопросов о снабжении Советского Союза вооружением и военными материалами. Эта конференция состоялась в конце сентября 1941 года в Москве и прошла весьма успешно в значительной степени благодаря содействию Черчилля, который дал указания своему представителю Вивербруку удовлетворить все основные пожелания, высказанные товарищем Сталиным.

Советский Союз устоял от первого удара. Молниеносная война была сорвана.

Во время обсуждения в английском парламенте трудностей, связанных с положением дел на Тихом океане после начала войны с Японией, Черчилль, в ответ на беспокойство, высказанное многими членами парламента, 22 января 1942 года привел свои прежние слова, ставшие его лозунгом и лозунгом Великобритании в войне. Он сказал:

«Я остаюсь при своей первоначальной точке зрения, что нам предстоит кровь, упорный труд, слезы и пот».

Подводя итоги своего пребывания у власти в качестве премьер-министра Великобритании, Черчилль 10 мая 1942 года сказал:

«Как в прошлую войну, так и в эту войну мы идем к полной и окончательной победе через неудачи и поражения. Мы должны только сохранить выдержку и завоевать эту победу. Сейчас мы больше не безоружны. Мы хорошо вооружены. Теперь мы не одиноки. Мы имеем мощных союзников, неразрывно связанных высокой верой, общими интересами и идущих вместе с нами в рядах объединенных наций. Может быть только один исход. Когда, каким образом он наступит — я не могу сказать. Но когда мы учтем огромные ресурсы, находящиеся в нашем распоряжении, то

при условии их полного использования мы можем стремиться вперед, в неизвестное, с растущей уверенностью».

Черчилль мог сослаться на дружбу Великобритании и Советского Союза как на важный фактор в деле организации разгрома гитлеровской Германии общими усилиями всего прогрессивного человечества.

В той же речи Черчилль заявил:

«В июне прошлого года, без малейшей провокации или нарушения пакта о ненападении, Гитлер вторгся на земли русского народа. В то время он располагал сильнейшей армией в мире, обученной в войне, воодушевленной невиданными непрерывными успехами, снабженной безграничным количеством боеприпасов и самого современного вооружения. Он обеспечил также для себя преимущества неожиданности и вероломства. Он бросил молодежь и взрослое мужское население германской нации в Россию.

Русские под руководством своего вождя Сталина выдержали потери, которых не могла бы выдержать никакая другая страна или правительство в столь короткий срок. Однако они, как и мы, были преисполнены решимости никогда не сдаваться.

Они оросили своей кровью родную землю. Они смотрели прямо в лицо врагу. С самого первого дня, когда они подверглись нападению, когда никто не мог бы сказать, как сложатся события, мы заключили с ними братский союз и дали торжественное обещание уничтожить нацизм и все его творения».

Черчилль отдает должное героизму и стойкости советского народа. «Русское правительство и народ,—заявил он,—связанные узами кровавых жертв и веры с западными демократическими державами английского языка, будут продолжать вести войну упорно, настойчиво, не сгиба-

ясь. Совершенно несомненно, что русские удивили Гитлера. Я думаю, что они еще больше удивят его. Это кардинальный факт, характеризующий настоящий момент».

Но из этого не следует, что можно считать на лаврах и спокойно ожидать дальнейшего хода событий. Благодушные и самоуверенность не могут привести к победе.

Нельзя не присоединиться к словам Черчилля, сказанным в речи 2 июля этого года:

«В конце концов мы все еще боремся за свою жизнь. Мы не имеем права полагать, что победа обеспечена. Это будет так, если мы выполним свой долг».

Дорога к победе требует труда и напряженных усилий. Она покрыта кровью, потом и слезами.

Во время пребывания Уинстона Черчилля в Москве в середине августа этого года, как видно из англо-советского комюнике, опубликованного 18 августа, «был принят ряд решений, охватывающих область войны против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе. Эту справедливую освободительную войну оба правительства исполнены решимости вести со всей силой и энергией до полного уничтожения гитлеризма и всякой подобной тирании».

Весьма обнадеживающим является заявление господина Черчилля, сделанное им по прибытии в Москву.

Он сказал:

«Мы полны решимости продолжать борьбу рука об руку, какие бы страдания, какие бы трудности нас ни ожидали, продолжать борьбу рука об руку, как товарищи и братья, до тех пор, пока последние остатки гитлеровского режима не будут превращены в прах, оставшись в памяти примером и предупреждением для будущих времен».

Война на Тихом океане

7 декабря 1941 года в бассейне Тихого океана началась война. В этот день японские военные корабли и самолеты внезапно, без предупреждения, напали на британские и американские тихоокеанские владения. Удары японских вооруженных сил повлекли за собой вступление в войну целого ряда стран. На стороне Англии и США выступили члены Британской империи, а также свободная Франция, Польша, Голландия и Голландская Индия и страны Центральной Америки: Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама и Сальвадор. Войну Японии официально объявил и Китай, героический народ которого уже пять лет ведет освободительную борьбу против японских вооруженных сил. На стороне Японии вступили в войну Манчжоу-го, а также Германия и Италия и их покорные вассалы: Венгрия, Румыния, Словакия и «Хорватское королевство».

Однако подавляющая часть этих стран не имеет возможности принять непосредственное участие в ведении военных действий. Одни из них связаны борьбой на европейском и африканском театрах военных действий, к которым прикованы их военно-морские флоты и авиация. Другие, будучи континентальными странами, вообще не имеют военно-морского флота, а их сухопутные силы настолько мизерны, что не могут играть какой-либо роли в развертывающейся гигантской борьбе.

Особое место занимает Китай. Его воюющие силы невелики и крайне необходимы на японско-китайском фронте. Военно-морского флота Китай почти не имеет. При этом оккупация японскими войсками значительной части побережья и почти всех важных китайских портов лишает возможности использования их морскими силами США и Англии. Вследствие всех этих причин Китай не может в настоящее время активно включиться в борьбу за островные владения сторон на Тихом океане.

Но нельзя упускать из виду и другое. Китай обладает колоссальными людскими ресурсами. В развертывающейся войне, которая, несомненно, потребует от воюющих сторон длительного напряжения и больших жертв, это имеет огромное значение. Война на территории Китая отвлекает туда значительную часть вооруженных сил

Японии, и это не может не отразиться на исходе борьбы в бассейне Тихого океана.

Таким образом, из всех стран, объявивших друг другу войну в связи с нападением Японии на США и Англию, фактически приняли участие в боевых действиях в бассейне Тихого океана лишь немногие. С одной стороны — это вооруженные силы Японии, с другой — вооруженные силы британских, американских и голландских владений, расположенных в западной и юго-западной частях Тихого океана.

Тихоокеанский театр военных действий крайне своеобразен. Первой, наиболее характерной его особенностью является большая протяженность театра, охватывающая огромные водные пространства — от берегов Америки до Бенгальского залива, от Аляски до побережья Австралии. Площадь Тихого океана равна, совместно с морями, около 180 млн. квадратных метров, то есть составляет почти одну треть всей территории земного шара. Вполне понятно, что гигантские морские пространства затрудняют воздействие друг на друга противников, находящихся на противоположных берегах океана. А ведь именно так и расположены территории основных противников — Японии и США. Их разделяет водное пространство, для преодоления которого современному судну нужно затратить несколько суток. Так, расстояние от Йокогамы до Сан-Франциско превышает 8 тыс. километров, а до Панамского канала достигает 15 тыс. километров.

В этих условиях совершенно исключительное значение приобретает наличие мощных промежуточных военно-морских баз, расположенных на путях между Азией и Америкой. Боевые действия первых же дней войны подтвердили значимость опорных пунктов, созданных на лежащих между материками островах. Именно на них обрушились удары японских вооруженных сил, вокруг них развернулась ожесточенная борьба.

Второй важной особенностью тихоокеанского театра является его морской характер. Территории воюющих стран не соприкасаются друг с другом, не имеют общих сухопутных границ. Значительная часть владений расположена на островах, далеко отстоящих друг от друга.

Территория собственно Японии окруже-

на со всех сторон водой. Владения США и Голландской Индии расположены на островах. Австралия — это тоже в сущности большой остров, к тому же находящийся на далеком расстоянии от Японии.

Только английские колонии Гонконг и Британская Малайя имеют сухопутные границы с территориями, оккупированными японскими войсками. К Британской Малайе непосредственно примыкает территория другой английской колонии — Бирмы, на запад от которой лежит богатая людскими и материальными ресурсами Британская Индия.

Кроме того, в ходе японско-китайской войны на территории Китая создался огромный сухопутный фронт. Только здесь и возможно проведение крупных операций сухопутных сил. На всех остальных фронтах тихоокеанского театра развертывание военных действий связано с необходимостью переброски войск морем или по воздуху.

Такое положение необычайно увеличивает удельный вес военно-морских сил воюющих сторон. По данным английского морского эксперта Феррери, в состав американского военно-морского флота входят: 17 линкоров, 7 авианосцев, 37 крейсеров, 171 эскадренный миноносец, 111 подводных лодок, сотни минных тральщиков, патрульных кораблей и других судов вспомогательного значения. В настоящее время Соединенные Штаты строят 15 линейных кораблей, 11 авианосцев, 54 крейсера, 152 эсминца, 73 подводных лодки. Таков состав американского военно-морского флота.

Что может ему противопоставить Япония? Она обладает, по данным иностранной печати, 12—14 линкорами, 9 авианосцами, 45—50 крейсерами, 130 эсминцами и 70—80 подводными лодками. В постройке находятся: 5 линкоров, 4 авианосца, 9 крейсеров, 9 эсминцев и 25 подводных лодок. Таким образом, США имели бы в отношении численности кораблей военно-морского флота заметное превосходство над противником, если не были бы вынуждены держать часть своих сил в Атлантическом океане. Разительно соотношение американских и японских кораблей, находящихся в постройке. Если сейчас Соединенные Штаты значительно превосходят Японию почти по всем классам кораблей, то в 1913—44 г., после осуществления грандиозной программы увеличения морских вооружений, США будут иметь огромное превосходство. И несомненно, что это одна из причин, которая заставила Японию форсировать события, чтобы попытаться успеть использовать благоприятное соотношение морских сил.

Третья характерная особенность тихоокеанского театра с прилегающими к нему странами — это его неисчерпаемые разнообразные естественные богатства.

Тихоокеанский бассейн в изобилии обладает всеми видами стратегического сырья, огромными продовольственными ресурсами. Здесь есть все, что необходимо для ведения войны: нефть, уголь, железо, цветные металлы, сельскохозяйственная продукция и т. д. Страны Тихого оке-

ана поставляют на мировой рынок в огромных количествах олово, вольфрам, никель, свинец, медь, цинк, хром, сурьму, чай, какао, рис, сою и т. п. Так, например, на долю этих стран падает до 90 процентов мировой добычи каучука, 65 процентов оловянной руды, 75 процентов вольфрама, более 50 процентов сурьмы. Страны Тихого океана дают почти 100 процентов мирового производства джута, 90 процентов риса, 90 процентов шелка-сырца, 30 процентов хлопка.

Эти колоссальные стратегические ресурсы дополняются миллионами баснословно дешевых рабочих рук. На берегах и островах Тихого океана живет больше половины всего населения земного шара. Причем здесь расположены наиболее обширные колониальные и полуколониальные страны, где миллионы людей ищут труда и готовы работать за минимальную плату.

Вместе с тем эти страны — огромный по своей емкости рынок сбыта промышленных товаров и экспорта капиталов. Достаточно указать, что на берегах Тихого океана Англия сбывает до 30 процентов своей продукции, примерно такой же процент составляет и ввоз Соединенных Штатов. Поистине неисчерпаемые богатства тихоокеанского театра, его торговое значение — это факторы, которые неизбежно накладывают известный отпечаток на стратегические планы воюющих сторон. Нельзя забывать, что подавляющая часть этих богатств принадлежит странам, воюющим против Японии.

Вопреки распространяемому в некоторых кругах утверждениям, Япония располагает достаточными природными богатствами. При условии развития нормальных торговых сношений с другими странами население Японии могло бы быть обеспечено всем необходимым, но для ведения длительной войны, войны, требующей огромного расхода стратегического сырья, Япония действительно не располагает достаточными ресурсами. Имевшиеся в стране довольно крупные запасы сырья, в некоторой своей части израсходованы в длительной войне с Китаем. Оккупированные китайские территории не разрешили сырьевую проблему. Эта война нарушила также нормальные торговые связи Японии с другими государствами, лишив ее возможности получать в достаточном количестве необходимое сырье.

Между тем сама Япония и принадлежащие ей владения совершенно не обладают многими видами стратегического сырья, необходимого для войны, других же видов имеют такое количество, которое не может удовлетворить потребности «большой» войны. Добычка такого важнейшего для ведения войны сырья, как нефть, не достигает полумиллиона тонн в год, в то время как снабжение горючим военно-морского и воздушного флота и мотомеханизированных частей в условиях войны потребует, примерно, не менее 6 млн. тонн в год. Искусственное производство горючего только в незначительной степени может удовлетворить потребность в нем. Хуже обстоит дело с каучуком, которого японцы почти совершенно не производят.

Япония не имеет возможности, используя только собственные ресурсы, снабдить свою промышленность достаточным количеством железной руды, угля, цветных металлов, хлопка, шерсти и т. п., то есть в сущности всем тем, что нужно для ведения войны.

Эта бедность Японии сырьевыми ресурсами не может влиять на ход боевых событий в начальный период военных действий. Но чем дольше будет продолжаться война, тем больше и больше будет сказываться превосходство материальных ресурсов Соединенных Штатов и Великобритании. В современной войне, войне моторов и резервов, именно производственная мощь и людские и материальные ресурсы имеют решающее значение.

* * *

Судя по фактическому ходу боевых событий, японское командование на первом этапе войны поставило перед собой одновременно две серьезнейшие задачи. Первой и основной задачей являлся захват неприятельских владений, расположенных в западной части Тихого океана, и в первую очередь наиболее важных военно-морских баз. Успешное разрешение этой задачи лишило военные корабли США и Англии опорных пунктов, на которые они могли бы базироваться для защиты своих территорий. Именно с этой точки зрения и следует рассматривать усилия японских вооруженных сил, направленные к овладению Гонконгом, Британской Малайей, Филиппинскими островами и Голландской Индией.

Вторая задача, обеспечивающая выполнение первой, заключалась в захвате или нейтрализации американских баз, расположенных в Тихом океане, с целью не допустить военно-морской флот США в азиатские воды Тихого океана. Нападение японских военно-морских сил и авиации на острова, лежащие к западу от берегов Америки, и является реализацией такого плана.

При оценке результатов, достигнутых воюющими сторонами в бассейне Тихого океана, нельзя упускать из виду два обстоятельства, имеющие очень важное значение.

Во-первых, Япония, в отличие от США и Англии, расположена целиком в пределах тихоокеанского театра, и именно в той его части, где позиции ее противников наименее сильны. Поэтому японское командование могло в первые же дни войны бросить в бой крупные силы. Владения же Англии и США на Тихом океане защищает ограниченное количество войск, причем переброска туда подкреплений требует значительного времени. Задача японцев во много раз облегчается еще и тем обстоятельством, что Япония расположена значительно ближе к тем объектам, за которые развернулась борьба. Так, расстояние от японских баз до Манилы (Филиппинские острова) равно 2,5—3 тыс. километров, а от Сан-Франциско до Манилы — около 13 тыс. километров.

Во-вторых, — и это оказывает решающее значение на исход первого этапа вой-

ны — японские вооруженные силы начали военные действия в момент, когда английские и американские войска считали, что между их странами и Японией существуют мирные отношения. Готовясь к войне, японское командование заблаговременно направило свои военные корабли в различные, далеко отстоящие друг от друга районы Тихого океана. Это позволило, неожиданно для противника, начать военные действия почти одновременно против всех намеченных объектов.

Тихоокеанский театр военных действий — это необозримые пространства океана, тысячи больших и малых островов, берега трех континентов. Рассматривая театр в целом, можно наметить три основных операционных направления. Первое и наиболее важное направление проходит от берегов Японии до центральной части западного побережья Соединенных Штатов. Со стороны Японии оно обеспечивается мощной системой опорных баз, расположенных на островах собственно Японии. Наиболее важными из них являются Майдзуру, Иокосука, Курэ и Сасебо. От них линия опорных пунктов и морских баз проходит по островам Бонин и Волканно и идет далее на юг и юго-восток, через острова Марианские, Каролинские и Маршалские, достигая центральной части Тихого океана. На этих островах созданы многочисленные хорошо укрепленные базы для японского военно-морского флота и авиации.

Со стороны Америки первое операционное направление к моменту возникновения войны обеспечивалось расположенными на материке мощными военно-морскими базами Сан-Франциско, Сан-Педро и Сан-Диего, первоклассной военно-морской базой на Гавайских островах — Пирл Харбор, базами на островах Мидуэй, Уэйк, Гуам и Филиппинских островах.

Американские базы, расположенные на побережье материка, защищены сильными укреплениями, обладают громадными аэропортами, имеют хорошо оборудованные доки и т. п. Мощь американских позиций в восточной части Тихого океана исключительно велика. Но существенный недостаток этих баз заключается в том, что они слишком удалены от азиатских вод, где расположена Япония и такие важные для США территории, как Филиппинские острова. Нужно иметь в виду, что радиус действия даже самых современных военных кораблей все же ограничен. Через известные промежутки пути они требуют пополнения запасов горючего, а в условиях боевой работы и снабжения огнеприпасами.

Первая из американских баз, расположенных к западу от материка, находится на Гавайских островах. Само географическое положение этих островов почти в центре Тихого океана определяет их стратегическое значение. Гавайские или Сандвичевы острова занимают площадь почти 17 тыс. квадратных километров. Цепь островов тянется с юго-востока на северо-запад почти на 2,5 тыс. километров. Северо-западная часть архипелага состоит из отдельных коралловых рифов и неболь-

ших скалистых необитаемых островков. Наиболее же крупные острова сосредоточены на юго-востоке, на протяжении всего около 500 километров.

Самым крупным островом архипелага является Гавайи. Из остальных островов наиболее значительны Мауи, Оаху и др. На острове Оаху находится главный город Гавайских островов и важный морской порт Гонолулу. Там же, в бухте Пирл Харбор, расположена важнейшая тихоокеанская военно-морская база.

Гавань Пирл Харбор является стоянкой сил американского военно-морского флота. База имеет отлично оборудованные портовые сооружения, верфи, сухие доки, большие запасы огнеприпасов и горючего. Остров Оаху сильно укреплен и имеет мощные средства обороны как против нападения с воздуха, так и со стороны океана.

Гавайи являются стратегическим мостом, перекинутым от берегов Америки в центральную часть Тихого океана. С другой стороны, они представляют как бы сторожевую цепь, прикрывающую доступы к наиболее важной части западного побережья Америки.

Дальше на запад это операционное направление обеспечивается значительно слабее. Небольшие американские островки Мидуэй и Уэйк, имеющие авиабазу и базу подводных лодок, обладают незначительными укреплениями и малочисленными гарнизонами. Вместе с тем из-за огромных расстояний, отделяющих их от Гавайских островов, они не могут рассчитывать со стороны последних на быструю помощь.

В еще более невыгодном положении находится американский остров Гуам. Он лежит на расстоянии 6 200 километров от Гавайских островов и 2 800 километров от Филиппин. Уже одно это чрезвычайно затрудняет его оборону. Остров стал укрепляться только перед войной, и его недостаточно сильные укрепления не могли, конечно, длительное время противостоять атакам с моря и воздуха. Кроме слабости укреплений и отдаленности от главных американских морских баз, остров Гуам обладает еще одним крупным недостатком: он расположен в самой гуще принадеждающих Японии островов, многие из которых превращены японцами в базы для подводных лодок и авиации.

В таком же окружении японских морских баз находятся и Филиппинские острова, расположенные в западной части Тихого океана. Филиппины — самостоятельное государство, состоящее под протекторатом Соединенных Штатов, причем представитель США — специальный комиссар — обладает широкими полномочиями.

Географическое положение Филиппин, находящихся между Японией и голландскими колониальными владениями, а также вблизи азиатского материка, придает этим островам большое стратегическое значение. Они являлись конечным опорным пунктом США, который не только находится недалеко от берегов самой Японии, но и в тылу ее многих передовых морских баз.

Филиппины насчитывают 7 083 острова и островка, из которых только 2 441 имеют названия. Общая территория архипелага — 298 тыс. квадратных километров. Население — свыше 16 млн. человек. Только в последние перед войной годы на островах стали возводиться современные укрепления, значительно увеличено количество авиации, усилены американские гарнизоны и проведены другие мероприятия, повысившие обороноспособность Филиппин.

Самым крупным островом архипелага является наиболее населенный и экономически развитый Лусон. На нем расположен главный город Филиппин, крупный порт Манила. Манильский залив хорошо защищен с моря и воздуха. Он являлся базой американских легких кораблей.

В южной части архипелага лежит второй по величине остров — Минданао. В отличие от Лусона, это наиболее отсталый в экономическом отношении район Филиппин. Значение этих двух островов заключается в том, что они замыкают с севера и юга всю цепь Филиппин. Следует еще упомянуть небольшой остров Коррегидор, являющийся сильной, хорошо оборудованной морской крепостью.

От Гавайских островов отделяется второстепенная, менее важная ветвь американских опорных баз первого операционного направления, которая опускается к югу, проходя через острова Джонстон, Пальмира, Гаулэнд, Кантоа и архипелаг Самоа. Там она смыкается с цепью британских опорных пунктов, охватывающих с юга японские островные владения, расположенные в западной части Тихого океана.

Сравнивая позиции воюющих сторон на этом важнейшем операционном направлении, нельзя не отметить известных преимуществ, которыми обладает Япония благодаря своему выгодному географическому положению. Ей легче защищаться от нападения американских вооруженных сил, так как все ее важнейшие владения сконцентрированы в западной части океана. Американский же флот вынужден для осуществления нападения преодолеть огромные водные пространства. В то же время такие важнейшие в стратегическом отношении американские владения, как Филиппины, лежат в непосредственной близости от основных японских военно-морских баз.

Естественно, что потеря островов Уэйк и Гуам нанесла американским вооруженным силам довольно тяжелый удар. Дело в том, что эти острова являются промежуточными базами между Америкой и Филиппинами. Опираясь на них, американский военно-морской флот мог бы с большой легкостью оказать свое влияние на военные действия в юго-западной части Тихого океана. Однако война еще в сущности только началась. Бой на этом важнейшем операционном направлении пока еще не носят решающего характера.

В борьбе за Филиппинские острова главными объектами нападения японских войск явились два наиболее крупных острова — Лусон и Минданао, которые занимают по площади две трети всего архипелага. На острове Лусон японцы приме-

нили принцип концентрического наступления с различных направлений. На северо-западном побережье этого острова было сброшено несколько групп парашютистов. Затем эти группы были усилены десантами, высаженными с транспортов в районе между Виганом и Сан-Фернандо, а также в северо-восточной части острова, у Апарри. Немного позже появились десанты в других пунктах побережья, и в частности в Легаспи и Лингайене.

Американские и филиппинские войска, находившиеся на острове Лусон, сделали все, что было в их силах, чтобы воспрепятствовать вторжению неприятеля. Американская авиация потопила у берегов острова несколько японских транспортов с войсками и военных кораблей, в том числе линкор «Каруна». Гарнизон острова уничтожил несколько групп японских парашютистов и нанес серьезные потери высадившимся десантам. Так, например, по официальным американским сведениям, японские десантные части в районе Лингайена были 13 декабря полностью ликвидированы. К 20 декабря американским войскам в результате упорных боев удалось отбросить японцев в районах Апарри и Вигана. Японские войска понесли большие потери.

22 декабря в боевых действиях на острове Лусон наступил некоторый перелом. В этот день крупные силы японских войск под прикрытием огня кораблей военно-морского флота высадились в нескольких пунктах острова. Вместе с ранее перебросенными на остров японскими частями им удалось потеснить американские войска на северном и южном участках фронта.

24 декабря крупные десанты были также высажены на юго-западном берегу острова. К концу месяца сильные контратаки американских и филиппинских частей снизили темп продвижения японских войск, но благодаря непрерывно получаемым подкреплениям японцам вновь удалось несколько продвинуться вперед. На северо-востоке от Манилы они приблизились к городу Кабантуану. Усилился нажим японских войск и на других направлениях.

26 декабря столица Филиппин Манила была объявлена открытым городом. 2 января японские передовые части вступили в Манилу. Однако с утерей столицы защитники Филиппин не прекратили сопротивления наступающим японским войскам. 4 января японцы предприняли атаку против позиций американских и филиппинских войск к северо-западу от Манилы. Эта атака была отбита, причем японцы потеряли убитыми не менее 700 солдат и офицеров. Для масштабов данного фронта это нужно рассматривать как крупную неудачу.

Учитывая огромное численное превосходство японских войск, насчитывавших до 150—200 тыс. человек, а также господство на море и в воздухе, можно было полагать, что сопротивление гарнизонов островов не будет продолжительным. Однако упорная борьба американско-филиппинских войск, численность которых не

превышала 40 тыс. человек, опрокинула подобные предположения. В течение января — февраля японские войска не только не смогли закончить кампанию на Филиппинах, но и достигнуть каких-либо решающих успехов. Укрепившись на Батаанском полуострове, американско-филиппинские войска упорно удерживали занятые ими позиции и своими контратаками нанесли японцам немалый урон.

Военные действия на Филиппинах еще раз подтвердили, что стойкие и инициативные войска, решившие во что бы то ни стало задержать продвижение противника, могут в течение длительного времени оказывать сопротивление даже в самых неблагоприятных условиях.

Борьба на Батаанском полуострове протекала в исключительно трудных для союзников условиях. Японцы имели огромное численное превосходство, их авиация господствовала в воздухе, а морские силы блокировали остров Лусон с моря. Несмотря на это, американско-филиппинские войска сумели более трех месяцев продержаться на узкой прибрежной полосе полуострова, сковав целую японскую армию.

Значение боев войск генерала Макартура, а позже сменившего его генерала Уэнрайта заключалось в выигрыше союзниками времени, а также в том, что в течение этого периода японцы не могли использовать Манильский залив в качестве базы, откуда их военные корабли могли бы угрожать коммуникациям союзников. После прекращения борьбы на Батаанском полуострове вся тяжесть боев легла на защитников острова Коррегидор, расположенного у входа в Манильский залив.

Это небольшой остров, с площадью всего в 46 квадратных километров. Его западное песчаное побережье уязвимо для вражеского вторжения, но скалистая укрепленная часть острова, возвышающаяся над уровнем моря почти на 200 метров, господствует над Манильским заливом и подступами к нему. С флангов крепость обеспечивается береговыми фортами. Наличие на острове прочно построенных подземных сооружений позволило его защитникам длительное время успешно противостоять многочисленным атакам японской авиации и интенсивному артиллерийскому обстрелу.

К моменту прекращения сопротивления на Батаанском полуострове Коррегидор выдержал уже 120 воздушных бомбардировок. В последующем удары японской авиации стали еще более интенсивными. С 9 по 16 апреля на остров было совершено 65 налетов. Но, несмотря на почти непрерывные бомбардировки и артиллерийский обстрел, гарнизон Коррегидора оказывал японцам сопротивление еще в течение месяца. Наконец после пятичасового обстрела Коррегидора японскими батареями, в состав которых входили и 240-мм орудия, японцы 5 мая высадили на остров свои десанты. К 7 мая японские войска полностью овладели Коррегидором и другими фортами на островах в Манильском заливе.

Остров Коррегидор благодаря своему выгодному положению и прочным сооружениям мог выдерживать длительную борьбу. Но нужно иметь в виду, что он был совершенно лишен прикрытия с воздуха и не имел возможности получать подкрепления, боеприпасы и продовольствие. Небольшой гарнизон острова, насчитывавший в последние дни немногим более 3,5 тыс. моряков и солдат морской пехоты, был уже не в состоянии продолжать борьбу против многочисленных войск противника. С падением Коррегидора прекратилось сопротивление наиболее укрепленного и важного пункта в системе обороны Филиппин.

Однако как на острове Лусон, так и на других островах борьба американско-филиппинских войск продолжалась. Чтобы ускорить оккупацию более значительных пунктов Филиппин японское командование предприняло действия крупными силами одновременно против нескольких островов. 10 апреля японские десанты, численность которых, по американским сведениям, достигала 12 тыс. человек, высадились на острове Себу. Через несколько дней, несмотря на решительное сопротивление небольшого гарнизона, город Себу и значительная часть острова были заняты японскими войсками, 16 апреля японские десанты появились на острове Панай. Они захватили наиболее важные пункты — города Илоило и Капис, соединенные между собой железной дорогой, пересекающей остров с севера на юг. При поддержке своей авиации японцы к концу апреля заняли значительную часть восточного побережья острова. Бои начались также на островах Негрос, Гуймарас и других.

Несмотря на длительный срок, японские части, высадившиеся еще в декабре прошлого года на двух наиболее крупных островах Филиппин — Лусоне и Минданао, не смогли до сих пор окончательно подавить сопротивление действующих там мелких отрядов американско-филиппинских войск. Независимо от боев на Батаанском полуострове и Коррегидоре, где были сконцентрированы более крупные силы американцев, в северной горной части острова Лусон и его других районах небольшие группы американских войск и сейчас продолжают нападения на японские гарнизоны.

На острове Минданао в течение первых месяцев войны японские войска действовали преимущественно в южной части острова, в районе Давао и Замбоанга. 29 апреля японские десанты появились в Катабато, а 3 мая — в Кагапане. В мае началось проникновение японских отрядов во внутренние районы острова, где они 4 мая заняли Дансалак и 13 мая — Малайбалай. Японские войска вынуждены вести на острове Минданао борьбу не только с организованным сопротивлением американско-филиппинских частей, но и с мелкими отрядами, действующими партизанскими методами.

Партизанская война охватила значительную часть территории, захваченной японцами на Филиппинах. Тысячи американских и филиппинских солдат, объеди-

нившись в мелкие отряды, ведут под руководством офицеров ожесточенную борьбу против японских войск. Всему составу филиппинской полиции предложено присоединиться к партизанам. В партизанской борьбе принимает также участие много американских служащих на Филиппинах. Эти отряды, скрываясь в горных районах и джунглях, совершают нападения на японские части, аэродромы, военные склады и обозы.

* * *

Второе по своему значению операционное направление проходит с севера на юг, вдоль восточного берега Азии. В отличие от первого направления, главным противником Японии является здесь Великобритания. В своей южной части второе направление обеспечивается австралийскими военно-морскими базами — Мельбурном, Сиднеем и Дарвином и новозеландскими — Веллингтоном и Оклендом. На эти порты могут базироваться не только немногочисленные военные флоты самых доминионов, но и британские и американские корабли. С северо-востока территория Новой Зеландии и Австралии обеспечивает цепь британских опорных пунктов на островах Фиджи, Соломоновых островах и на побережьях Новой Гвинеи.

К северу от Австралии находится Голландская Индия, или Индонезия. Она состоит из большого количества островов, различных по размерам своей площади. Они занимают пространство в 10 млн. квадратных километров, растянувшись на 5 тыс. километров с запада на восток. Общая площадь Индонезии равна 1900 тыс. квадратных километров, с населением до 70 млн. человек.

Наиболее крупные острова Индонезии: Ява, Суматра, Борнео и Целебес. Северная часть острова Борнео принадлежит Великобритании. Кроме того, голландскими владениями являются половина острова Тимор (другая половина принадлежит Португалии) и значительная часть территории острова Новая Гвинея.

Севернее находится Сингапур — главный город британской колонии Стрейтс-Сеттлментс, расположенной на полуострове Малакка и прилегающих к нему островах. Кроме этой колонии, в южной части полуострова имеется несколько небольших малайских государств, находящихся под протекторатом Англии. Все эти владения вместе носят название Британской Малайи.

Город Сингапур находится на острове того же названия (площадь острова — 570 квадратных километров, население более 600 тыс. человек), у южной оконечности Малаккского полуострова. Это один из крупнейших торговых портов мира. Стратегическое значение Сингапура, этого «Гибралтара Дальнего Востока», исключительно велико. Само его географическое положение на Сингапурском проливе, соединяющем Индийский и Тихий океаны, дает ему возможность контролировать морские пути, идущие из Европы и Индии на Дальний Восток и в Австралию.

В 2 700 километрах к северу от Синга-

пура находится другая британская колония — Гонконг. Основной частью этой колонии является остров того же названия, расположенный в 144 километрах к юго-востоку от Кантона. Остров имеет 18 километров в длину и от 3 до 8 километров в ширину. Прилегающая к нему часть Коулунского полуострова также входит в состав колонии. Пролив, отделяющий остров от материка, в самом узком месте имеет 800 метров ширины.

Военно-морская база Гонконга должна была дополнить цепь опорных пунктов Великобритании, обеспечивая важное операционное направление, идущее к берегам Японии от британских владений в южной части Индийского и Тихого океанов. Однако с момента оккупации японскими войсками окружающих Гонконг районов китайской территории эта британская морская крепость потеряла свое бывшее значение.

Оккупация значительной части территории Китая и проникновение во Французский Индо-Китай и Таи усилили японские позиции в западной части Тихого океана. Помимо своих основных военно-морских баз, Япония приобрела на побережья Восточной Азии такие важные порты, как Вэйхайвэй, Циндао, Шанхай, Амой, Свантоу, Кантон, Хайфон, Сайгон и Банкок.

В пределах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей эти порты вместе с военно-морскими базами собственно Японии прочно обеспечивают второе операционное направление. С ними взаимодействуют базы, расположенные на островах Риу-Кюу, Формоза, Хайнань и Спратли.

На втором операционном направлении важнейшее значение имели бои, развернувшиеся на территории Британской Малайи.

Понимая, какое влияние может оказать Сингапур на дальнейший ход войны, японское командование, не считаясь с потерями, до пределов форсировало наступление на Малаккском полуострове. Цель этого наступления заключалась в том, чтобы как можно скорее приблизиться к сингапурской морской базе и захватить или, во всяком случае, блокировать с суши эту морскую крепость.

Военные действия в Британской Малайе начались 7 декабря высадкой японских десантов в северной части этой английской колонии, в районе Кота Бару. В этот же день японские войска вторглись в Таи, и правительство Таи согласилось удовлетворить требование Японии о пропуске японских войск через свою территорию. Часть японских войск, высадившихся в Малайе, была уничтожена английскими войсками. Однако японское командование имело возможность непрерывно пополнять свои войска в этом районе через южные порты Таи — Сангора и Патали. Благодаря подавляющему численному превосходству японцам удалось потеснить английские войска и, заняв Кота Бару, продвигаться в южном направлении.

С целью расщепить силы английской обороны японские войска одновременно с наступлением на Кота Бару перешли северную границу Британской Ма-

лайи в районе Катаха, а также высадили десанты на побережье полуострова Малакка, севернее Куантана и на перешейке Кра. Это значительно осложнило положение частей, обороняющих Британскую Малайю. К тому же потопление японской авиацией таких мощных боевых единиц английского флота, как линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер «Рипалс», существенно нарушило планы отражения вражеского нападения, в которых этим кораблям отводилась видная роль.

В ходе боев на территории Британской Малайи наиболее важное значение приобрело наступление японских войск вдоль западного побережья полуострова. К 28 декабря японцы достигли здесь Ипоха — центра оловянной промышленности Малайи — и заняли его. Затем, тесня английские войска, японские части продвинулись в район, лежащий к югу от города Куала Лумпур. Оккупация западного побережья позволила японцам захватить 19 декабря имеющий довольно крупное военное значение и хорошо укрепленный остров Пенанг. Легкость, с какой японские войска овладели Пенангом, объясняется тем, что его укрепления были обращены в сторону моря.

В связи с быстрым продвижением японских войск к югу положение в Британской Малайе стало вскоре для англичан критическим. В двадцатых числах января передовые части японцев находились уже всего в 25—30 километрах от дамбы, соединяющей остров Сингапур с материком. В ночь на 31 января английские войска, действовавшие в южной части полуострова Малакка, выполняя приказ командования, отошли на остров Сингапур.

С этого момента судьба Сингапура была в сущности уже решена. Положение могли спасти лишь немедленное появление у берегов Малаккского полуострова крупных морских сил, переброска на аэродромы, расположенные вблизи от района военных действий, достаточно мощной авиации, а затем высадка под защитой этих морских и воздушных сил необходимого количества войск. Но намечавшаяся переброска подкреплений, видимо, в силу создавшихся трудностей, не была осуществлена.

Достигнув 31 января пролива Джохор, японские войска в течение одной недели провели все подготовительные работы к предстоящей переправе на остров Сингапур. К этому времени личный состав, оборудование и некоторые склады сингапурской морской базы, а также часть аэродромов были эвакуированы с острова, так как в создавшихся условиях они уже не могли выполнять своих функций. Дело в том, что в начале войны на Тихом океане Сингапур можно было рассматривать как военно-морскую базу для развертывания наступления против Японии и для ударов по ее коммуникациям в западной части океана. С момента же оккупации японцами значительной части Малайи Сингапур уже не мог служить базой морских и воздушных сил союзников. Его роль сводилась теперь к защите подступов к Голландской Индии и Австралии и охране путей, ведущих в Индий-

ский океан. Выход же японских войск к проливу Джохор делал для английских войск трудно осуществимой и эту задачу.

В ночь на 9 февраля, под прикрытием сильного артиллерийского огня, японские войска переправились через пролив Джохор и высадились в северо-западной части острова Сингапур. Борьба японцев с войсками генерала Пертшиэла, командующего английскими сухопутными силами в Сингапуре, длилась недолго — 15 февраля Сингапур пал.

Последствия этого факта нельзя преуменьшать. Прежде всего, исход борьбы за господство в юго-западной части Тихого океана, естественно, зависит в значительной степени от мощности морских сил воюющих сторон, и в частности от наличия у них крупных кораблей. В порту же Сингапура могли базироваться до пяти линкоров. Понятно, что потеря такого порта является для союзников тяжелой утратой.

Хотя Сингапур расположен у южной оконечности Малаккского полуострова, но борьба за него началась в сущности уже с того момента, когда японские войска высадились на побережья северной части Британской Малайи, то есть буквально в первый день войны.

Являясь первоклассной военно-морской базой, Сингапур был прочно защищен со стороны моря. Что же касается укреплений, расположенных в северной части острова и защищающих его со стороны Малаккского полуострова, то они не могли служить серьезной преградой для наступающих войск. Территория Британской Малайи также не имела заранее подготовленных оборонительных сооружений. Этим в некоторой степени и объясняется, что японским войскам удалось менее чем в два месяца преодолеть с боями 800 с лишком километров и оттеснить английские войска на остров Сингапур.

Были, конечно, и другие, более важные, причины, способствовавшие успеху японских войск. Это прежде всего численное превосходство японцев. Благодаря близости портов Таи — Сингора и Патани, а позже и портов Британской Малайи, японцы имели возможность в течение всей операции пополнять свои войска, доведя их общую численность до 120 тыс. человек. Это значительно превысило численность британских войск, находившихся на Малаккском полуострове. Все десантные операции японских войск совершались без особых помех со стороны англичан. И тут важнейшее значение сыграло господство японцев на море и в воздухе. Англичане ощущали недостаток в вооружении, главным образом в противотанковых орудиях, а также и в боеприпасах. Известную роль сыграло, без сомнения, и то обстоятельство, что англичане не в полной мере осуществляли тактику «выжженной земли» даже в отношении военных объектов. Так, например, некоторые аэродромы, оставленные английскими войсками, не были достаточно разрушены, и японцы имели возможность немедленно их использовать.

Все эти причины позволили японским

войскам в кратчайшие сроки достигнуть Сингапура и овладеть этой сильной морской крепостью. Захват Сингапура облегчил японцам наступление на Голландскую Индию, Бирму и Австралию. Однако потеря Сингапура — это все же только эпизод, который не решает исхода борьбы в целом.

Уже с момента оккупации Японией Таи, естественно, встал вопрос о том, что наступательные действия японских войск с территории Таи будут развиваться в двух направлениях. Предполагалось, что, кроме захвата Сингапура, усилия японских вооруженных сил будут направлены также к овладению территорией Бирмы, через которую проходит дорога Бирма — Китай. Эта дорога, имеющая от порта Рангун железнодорожную линию и шоссе, ведет через Мандалай в Лашио, откуда поток военных материалов следовал далее в Китай при помощи автотранспорта. Нет необходимости доказывать огромное значение этой дороги, по которой Китай получал от союзников вооружение, боеприпасы, машины и т. д. Причем бесперебойное снабжение китайской армии особенно важно было именно с момента возникновения войны на Тихом океане, когда роль японско-китайского фронта значительно возросла.

Наступление японских войск в направлении Рангуна и имело целью захватить этот важный порт и одновременно нарушить связь союзников с Китаем. Однако надо иметь в виду, что падение Рангуна еще не означало прекращения помощи Китаю: связь могла поддерживаться через порт Иравади, откуда товары, следуя вверх по реке на пароходах, доставлялись бы в Мандалай. Правда, пропускная способность порта Иравади меньше, чем порта Рангун, и этот путь снизил бы количество доставляемых Китаю военных материалов. Кроме того, связь с Китаем может поддерживаться также и непосредственно через территорию Индии.

В начальный период войны на Тихом океане наступление японских войск на территорию Бирмы преследовало ограниченные цели. В наиболее южной части Бирмы японцы заняли город Викторию, обезопасив, таким образом, с тыла свои войска, действующие в Британской Малайе. Только во второй половине января бои в Бирме приняли более широкий размах. Перейдя бирманскую границу, японские войска в течение четырех дней перерезали узкую часть Южной Бирмы и овладели портом Тавой, расположенным на берегу Андаманского моря.

Дальнейшее наступление японцев в Бирме развивалось довольно высокими темпами. В конце января японские войска перешли в наступление с территории Таи, юго-восточнее Моулмейна, и к 1 февраля заняли этот город. Используя опыт удачно осуществляемых в Британской Малайе высадок десантов на побережья в тылу английских позиций, японские войска 11 февраля высадились северо-западнее Мартабана и заняли его. Вскоре бои развернулись в районе железнодорожного узла Татон и западной его.

С отходом английских войск в Южной Бирме на реку Ситтанг, являющуюся серьезным естественным препятствием, были основания предполагать, что англичанам удастся задержаться на этом выгодном для обороны рубеже. Однако уже в первых числах марта передовые японские части форсировали Ситтанг в ее нижнем течении, направляя свой удар на железнодорожный узел Пегу, являющийся одним из важных пунктов на дороге Бирма — Китай.

Продвижение японских войск с северо-востока в направлении Пегу создало угрозу не только этому железнодорожному узлу, но и расположенному на юго-запад от него крупнейшему и наиболее важному порту Бирмы — Рангуну. В районе Пегу развернулись ожесточенные бои. Неоднократно переходя в контратаки, английские войска добились здесь некоторых местных успехов, но уже 7 марта были вынуждены оставить город Пегу. С этого момента судьба Рангуна была решена. Город, расположенный на крайне неудобной для обороны местности, мог к тому же быть легко отрезан от Северной Бирмы продвижением японских войск на запад от Пегу. Отступать же в западном направлении английские войска не могли, так как бассейн реки Иравади по существу не имеет связи с примыкающей к Бирме территорией Индии, кроме немногих горных троп.

Исходя из всех этих соображений, английское командование решило оставить Рангун. Эвакуация Рангуна была ускорена также высадкой 6 марта японских десантов в устье реки Рангун. Основные силы английских войск, включая и бронетанковые части, успели отойти на север по единственной оставшейся в их руках дороге. Японцам, правда, удалось перерезать эту дорогу, соединяющую Рангун с Проме, но после ожесточенных боев английские войска сумели прорваться. Перед эвакуацией Рангуна были взорваны нефтеперегонные заводы, торговые сооружения, электростанция и склады боеприпасов. 8 марта японцы заняли Рангун.

Несмотря на произведенные англичанами разрушения, японцам, видимо, удалось в той или иной степени использовать порт и расположенные вблизи города аэродромы. Это значительно укрепило позиции Японии в Индийском океане. В результате захвата аэродромов, расположенных в районе Рангуна, такие важнейшие пункты Индии, как Калькутта, Мадрас и Коломбо, оказались в пределах радиуса действий японской бомбардировочной авиации. С потерей Рангуна командование союзников лишилось также возможности перебрасывать морем подкрепления в Бирму и снабжать Китай военными материалами по дороге Бирма — Китай, начальным пунктом которой являлся Рангун.

В дальнейшем бои в юго-западной части Бирмы развернулись в районе Таеклюн и Таравади и севернее их. К 28 марта передовые части японских войск достигли района, лежащего в 45—50 километрах южнее Проме. 3 апреля под давлением японских войск англичане

оставили Проме и отошли к северу от него.

В районе реки Ситтанг английские войска, совершая отход на север, к 19 марта достигли пункта Пию, расположенного в 55 километрах к югу от Тоунгу. Здесь наступающим японским войскам преградили путь китайские части. С 24 марта ожесточенные бои развернулись в районе Тоунгу. Оборона этого города китайскими войсками и небольшим отрядом англичан отличалась необычайным упорством. За весьма короткое время китайцы сумели создать вокруг города прочные укрепления, обеспечив их тщательно продуманной системой противотанкового и противопехотного огня. Опираясь на эти укрепления, китайцы приостановили наступление японских войск. В течение трех дней японцы вели безуспешные атаки, но так и не смогли прорвать линию китайской обороны.

Потерпев неудачу, японские войска перерезали дорогу севернее Тоунгу, а позже полностью окружили город. Китайские войска продолжали борьбу в окружении. В результате предпринятых ими контратак в северном направлении им удалось потеснить японские части, захватить ряд селений и довольно крупные трофеи. Обе стороны понесли большие потери. 29 марта решительной контратакой китайцы снова овладели восточной частью города, захваченной до этого японскими частями. После пятидневных упорных боев китайские войска оставили город, продолжая оказывать сопротивление в его предместьях, а затем, прорвав кольцо японского окружения, заняли для обороны позиции севернее Тоунгу. По данным командования находившихся в Бирме китайских войск, за 12 дней боев за город Тоунгу японцы потеряли убитыми 3700 человек. Китайские войска захватили орудия, минометы, винтовки, мотоциклы, лошадей и другое военное имущество.

В начале апреля под давлением японских войск части союзников в Бирме отошли к северу от Проме. В последующий период японцы значительно усилили темпы своего продвижения на север, опасаясь, что наступающий в Бирме в конце мая сезон дождей может помешать их действиям. Наступление японских войск первое время развивалось в двух направлениях: против англичан — в долине реки Иравади и против китайских частей — вдоль железной дороги Рангун — Лашио.

В районе реки Иравади японцы, упорно тесня правый фланг английских войск, заставили их отойти к северу от Магве. Вследствие этого японцы овладели городом Енангьяунгом — важнейшим районом, дающим около половины всей добываемой в Бирме нефти. Однако, отступая, англичане успели разрушить нефтяные промыслы. Они взорвали электростанцию, уничтожили 10 крупных подстанций, разрушили 3500 нефтяных вышек, уничтожили 24 млн. галлонов нефти и т. д.

Китайские войска, сдерживая продвижение японцев вдоль железнодорожного участка Бирманской дороги, постепенно отходили к северу от Тоунгу.

Правый фланг китайских войск к 18 апреля соединился с английскими частями в долине реки Иравади. Здесь развернулись напряженные бои. Западнее реки англичане, чтобы задержать продвижение японцев, неоднократно переходили в контратаки. Восточнее, в результате двухдневных упорных боев, китайские части совместно с англичанами отгнали японцев из Енангъюнга. Но этот временный успех не мог быть закреплен, а тем более развит усталыми от непрерывных боев немногочисленными британскими войсками генерала Александра и китайскими частями, переборщить же к Бирме свежие резервы союзникам не удалось.

Со второй половины апреля центр тяжести военных действий в Бирме переместился на восток. Сосредоточив в северо-западной части Таи крупные силы, японцы перешли в решительное наступление в районе реки Сагвин. Главный удар японцы нанесли в северо-западном направлении, с целью обойти с востока левый фланг китайских войск и выйти на железную дорогу Мандалай — Лапю.

После многодневных напряженных боев японским войскам, действовавшим при поддержке крупных сил авиации, удалось продвигаться вперед. В этих боях, как указывало командование китайских войск в Бирме, обе стороны понесли большие потери. К 25 апреля передовые механизированные части японцев достигли пункта в 150 километрах юго-восточнее Мандалая. Обладая над своим противником подавляющим превосходством в авиации, танках и артиллерии, японцам удалось быстро развить достигнутый в Восточной Бирме успех. К 29 апреля их авангардные части достигли предместий Лапю — конечного пункта железнодорожного участка дороги Бирма — Китай. Под давлением превосходящих сил противника китайский гарнизон Лапю был вынужден оставить город. Заняв Лапю, японцы продолжали развивать наступление в северном направлении.

К этому времени положение союзников ухудшилось и на западном участке бирманского фронта. Английские войска, действовавшие западнее Мандалая, отошли на северный берег реки Иравади, в долину реки Чиндвин. В районе югу от Мандалая английские части при поддержке танков несколько потеснили японцев, но затем были вынуждены отступить к Мандалаю. 1 мая город заняли японские войска.

Развивая наступление по всему фронту, японцы в восточной части Бирмы достигли 3 мая Бамо и, перейдя своими авангардными частями китайскую границу, 5 мая заняли в провинции Юньнань город Лулинь. По сведениям из китайских источников, в результате контрнаступления, предпринятого китайскими войсками, японцы были окружены в окрестностях Лулина и потеряли более 3 тыс. солдат и офицеров.

В северной части Бирмы японские части, продвигавшиеся от Бамо, 8 мая заняли город Мытвьяна. Передовые японские части, действующие в районе Мандалая, 7 мая достигли пункта в 60 километрах

севернее города. Западнее японцы продолжали продвигаться вдоль долины реки Чиндвин, преодолевая сопротивление английских войск, неоднократно переходивших в контратаки. К 13 мая бои здесь велись уже в районе города Калва. В дальнейшем англичанам удалось оторваться от противника и, продолжая отход к индийской границе, выйти к Ассам.

С момента оккупации японцами 8 марта важнейшего бирманского порта Рангун союзники в значительной степени утрадили возможность усиливать свои войска в Бирме путем переброски туда резервов морем. Рассчитывать на поступление пополнений через индийскую границу было также невозможно, так как бассейн реки Иравади по существу не имеет связи с примыкающей к Бирме территорией Индии, кроме немногих труднопроходимых горных дорог. Потеря же всех наиболее важных пунктов, включая Мандалай, Лапю, Ажъяб и другие, лишила союзников возможности рассчитывать на длительное сопротивление своих войск в остальных районах страны.

Среди ряда причин, обусловивших успехи японских войск в Бирме, английская печать отмечает численное превосходство японцев, господство их авиации в воздухе, усталость английских, индийских и бирманских войск, вынужденных вести непрерывные тяжелые бои в течение нескольких месяцев. Что касается китайских войск, то в первый период боев их было так мало, что они не могли решающим образом повлиять на исход борьбы в Бирме. Более же крупные контингенты китайских войск стали прибывать слишком поздно, к тому же они не имели необходимого вооружения, и их действия не обеспечивались с воздуха достаточно сильной авиацией.

Захват японцами юго-западной части Бирмы не создает для Индии угрозы непосредственного вторжения через ее сухопутную границу, так как эти страны отделены друг от друга труднопроходимыми горными хребтами. Однако с проникновением японских морских сил в бассейн Индийского океана возникла вполне реальная угроза высадки на берегах Индии японских морских десантов. В этом отношении внимание привлекает оккупация японцами Андаманских островов, расположенных в восточной части Индийского океана.

Борьба за британскую колонию Гонконг началась в первый же день войны, 7 декабря, бомбардировкой японской авиацией военных объектов острова и Коулунского полуострова. В последующих боях крупные японские силы, брошенные на Коулунский полуостров, отгнали малочисленные английские войска на остров Гонконг. Не имея возможности получить поддержку, гарнизон острова, блокированный с моря японским военно-морским флотом, не мог оказать длительного сопротивления.

В ночь с 18 на 19 декабря японцы высадили десанты сразу в нескольких пунктах Гонконга, 22 декабря численность десантов была значительно увеличена.

Однако английский гарнизон в течение семи дней мужественно сражался с превосходящими силами противника, отвергнув его три предложения о сдаче. Только 25 декабря, по указанию британского морского и военного командования, губернатор Гонконга отдал войскам распоряжение о прекращении военных действий. К вечеру 26 декабря территория острова была занята японцами.

Нельзя отрицать, что захват Японией Гонконга явился для Англии довольно значительной утратой. Но, ни в какой мере не преуменьшая значения этого факта, следует иметь в виду, что Гонконг в последнее время представлял собой только крупный торговый морской центр, военное же значение его с момента оккупации японцами китайских портов на восточном побережье Азии было невелико. Окруженный этими базами, а также опорными пунктами Японии на островах Формоза и Хайнань, Гонконг не мог бы играть важной роли в борьбе за господство в западной части Тихого океана.

* * *

Одновременно с наступлением в Британской Малайе и Бирме японцы уже с декабря прошлого года предприняли широкие операции против островов Голландской Индии. Комбинированными действиями воздушных и морских десантов им удалось к середине февраля занять на острове Борнео: Кучинг, Мири, Бруней, Самаринчу, Балиж-Папан, Банджермасин, Понтианак и расположенные у острова Борнео острова Лабуан и Таракан. К этому же времени на острове Целебес японцы овладели Манадо, Кендари и Макассаром.

Эти действия японских войск имели целью путем постепенного захвата островов, окружающих остров Яву, сжать кольцо своих войск вокруг важнейшей голландской военно-морской базы Сурабайи, расположенной на острове Ява. С падением Сингапура военные сооружения острова Ява стали единственным серьезным препятствием, претраждающим японским войскам дальнейшее продвижение в южном направлении.

Продолжая окружение Явы, японцы 14 февраля предприняли наступление против острова Суматра. В этот день в районе Палембанга был выброшен парашютный десант, насчитывавший, по английским данным, 700 человек. 15 февраля действия парашютистов были поддержаны высадившимися вблизи Палембанга морскими десантами. После упорных боев город был занят японскими войсками.

Палембанг является одним из крупнейших в мире нефтеносных месторождений. Здесь добывается ежегодно до 4,25 млн. тонн нефти, что составляет около 55 процентов всей продукции Голландской Индии. Это был основной центр снабжения горючим флота союзников в западной части Тихого океана.

Перед своим отступлением из Палембанга голландцы уничтожили нефтепромыслы и нефтеперегонные заводы, подожгли нефть, вылитую в реку Палембанг,

разрушили железную дорогу, соединяющую Палембанг с Телукбетонгом. Как сообщает английская печать, голландцы вообще весьма тщательно осуществляют тактику «выжженной земли», поэтому японцы, несмотря на захват нескольких богатых нефтеносных районов Голландской Индии, не получили нефти, в которой они так нуждаются.

В результате высадки японских войск на острове Бали и захвата на южном побережье острова Борнео города Банджермасина, а на острове Суматра — района Палембанга Япония приобрела ряд опорных пунктов, полукольцом окруживших остров Яву. Вместе с тем японцы получили возможность использовать аэродромы, находившиеся в этих пунктах, для ударов по главной морской базе Голландской Индии — Сурабайе.

Подготовив, таким образом, условия для концентрического наступления на Яву, японцы 27 февраля предприняли попытку высадить на остров десанты. 40 японских транспортов, конвоируемых военными кораблями, приблизились с севера к острову Ява. Атака кораблей союзников, предпринятая в Яванском море, помешала японцам осуществить свое намерение. Впервые с начала войны на Тихом океане крупный японский караван, состоявший из нескольких десятков судов, не смог выполнить десантной операции и был вынужден отойти.

В ночь на 1 марта борьба за Яву возобновилась с новой силой. Несмотря на потери, нанесенные кораблями и авиацией союзников, японцам удалось высадить десанты в трех пунктах северного побережья острова Ява: в провинции Бантам, вблизи Индрамаджу и в районе Рембанга. В этих пунктах развернулись ожесточенные бои. Если на других островах Голландской Индии японцам удалось сравнительно легко преодолеть сопротивление немногочисленных голландских гарнизонов, то в борьбе за Яву они встретились со значительными трудностями. Однако было совершенно ясно, что без помощи извне остров не сможет длительный срок противостоять натиску многочисленных и хорошо вооруженных японских войск. Исход борьбы за Яву полностью зависел от быстроты, с какой союзники смогли бы перебросить сюда необходимые подкрепления.

Дело в том, что с начала возникновения войны на Тихом океане авиация и военноморской флот Голландской Индии принимали в боевых действиях самое активное участие. В связи с использованием их в борьбе за Малайю, у берегов острова Борнео и в боях в Макассарском проливе и в Яванском море, к моменту высадки японских войск на остров Ява голландская авиация и флот понесли уже значительные потери. Небольшое количество самолетов союзников, а также несколько английских кораблей и кораблей азиатского флота США, прибывшие в Голландскую Индию, не представляли собой достаточной силы, способной остановить японское наступление.

В силу этих причин, когда японцы прозавели на северном побережье острова Ява высадку крупных десантов, голланд-

ские войска и немногочисленные отряды войск союзников оказались в исключительно трудном положении. Обладая господством на море и в воздухе и примерно пятикратным численным превосходством в сухопутных силах, японцы имели полную возможность начать решительное наступление одновременно во многих пунктах острова. С 1 по 4 марта голландские войска продолжали вести активные действия, имевшие целью сбросить японские десанты в море. Однако силы были слишком неравными, и эта задача оказалась для голландцев непосильной. Голландские войска были вынуждены начать общий отход. К 5 марта японцы заняли ряд пунктов в восточной и западной частях острова, в том числе столицу Голландской Индии Батавию.

Вскоре на некоторых участках фронта для войск союзников создалось критическое положение. Наступающие из Рембанга японские части, преодолев горный массив, захватили Джокьякарту. Таким образом, они разрезали остров на две части и изолировали гарнизон морской базы Сурабайи от войск союзников, обороняющих Бандунг. К 10 марта оба эти опорные пункта были заняты японцами.

Военные действия, однако, не прекращались. Отойдя в труднодоступные районы Явы, отряды союзных войск продолжали вести борьбу с японскими войсками. Такая же обстановка сложилась и на других крупных островах Голландской Индии. Несмотря на захват японцами всех основных портов и аэродромов, отряды голландских союзных войск до настоящего времени продолжают партизанские действия на островах Суматра, Борнео и Целебес. По сообщению агентства Юнайтед пресс, значительные силы голландцев ведут борьбу в горных районах Явы и в западной части Борнео. Сообщается также, что голландские отряды на острове Ява действуют под руководством генерал-майора Шиллинга.

Рассматривая военные действия в юго-западной части Тихого океана, нельзя не отметить одно весьма важное обстоятельство. Японское командование, стремясь полностью использовать свои преимущества, полученные в результате внезапного нападения, спешило любой ценой достигнуть намеченных здесь целей. Огромные пространства театра и разобщенность объектов нападения привели к тому, что Япония была вынуждена вести боевые действия на далеко отстоящих друг от друга территориях, разделенных к тому же водным пространством. Такое положение, естественно, создает для Японии серьезные затруднения в отношении доставки своим войскам пополнений, вооружения, боеприпасов и т. д. Тем более что одновременно с операциями в юго-западной части Тихого океана японское командование пытается воздействовать и на американские базы, расположенные далеко от берегов Японии.

* * *

Третье операционное направление тихоокеанского театра военных действий проходит от полуострова Аляска до берегов

Японии. Значение этого направления заключается прежде всего в том, что расстояние, отделяющее побережье Аляски от Японии, едва превышает здесь 4,5 тыс. километров. Базируясь на военно-морскую базу Датч Харбор и промежуточные базы на Алеутских островах, американские морские силы и авиация могут создать серьезную угрозу жизненным центрам Японии. При этом американские морские коммуникации будут значительно короче, чем при действиях со стороны Сан-Франциско, и, проходя вдоль Алеутских островов, лучше защищены от нападения. Это операционное направление, минуя «морскую линию Мажино», прикрывающую Японские острова с юга-востока, непосредственно выводит к берегам собственно Японии. Со стороны же Японии оно обеспечено лишь базами на Курильских островах.

Рассматривая все три операционных направления тихоокеанского театра, необходимо сделать вывод, что исключительно выгодное географическое положение Японии позволяет ей прикрывать все направления со своих основных военно-морских баз. Вместе с тем, действуя по внутренним операционным линиям театра, японцы могут скорее сосредоточить на любом направлении необходимые вооруженные силы.

С апреля размах наступательных операций японских войск резко сократился. Они продолжали еще вести бои в Бирме, на Филиппинских островах и в Голландской Индии, но это было лишь развитием и закреплением уже достигнутого ранее успеха. Первый этап войны на Тихом океане, в течение которого японские вооруженные силы стремительным наступлением захватили огромные территории, закончился. Начался новый этап войны, характеризующийся известной активностью вооруженных сил союзников.

Превосходство японского военно-морского флота в западной части Тихого океана явилось одним из решающих факторов, позволивших Японии осуществлять намеченные операции. Военные действия охватили огромный район океана, но именно это увеличение театра военных действий тайло в себе трудности, с которыми пришлось теперь встретиться японскому командованию. Величина театра и разобщенность объектов нападения, отделенных друг от друга огромными водными пространствами, предъявили японскому флоту серьезные требования. По мере увеличения масштабов военных действий потребовалась переброска в районы боев все более крупных сил. Военно-морской флот Японии вынужден действовать на огромном расстоянии от своих основных баз; тяжелым бременем на него легла охрана следующих морем транспортов с живой силой и военными материалами, а также обеспечение крайне растянутых коммуникаций.

Не говоря уже о затруднениях, связанных с необходимостью преодолевать огромные расстояния, нужно учесть, как мы уже упоминали, что морской флот не в состоянии длительный срок оперировать в отрыве от своих постоянных баз. Созданные

же таких баз на захваченных территориях является чрезвычайно трудным делом и требует известного времени. Поэтому, если вопрос со снабжением сухопутных, воздушных и морских сил все же может быть так или иначе разрешен путем подвоза и даже частично за счет местных средств, то корабли вынуждены для ремонта возвращаться в свои порты.

Вместе с тем по мере расширения театра военных действий перед японским командованием встают новые трудности. Чтобы закрепить, а тем более развить достигнутые успехи, Японии необходимо непрерывно вести борьбу за господство на море. А это, принимая во внимание потери, уже понесенные японскими военно-морскими силами, очень осложняет развертывание дальнейших операций. Японская судостроительная промышленность может несколько восполнить потери, понесенные военно-морским флотом, но нельзя забывать, что противники Японии обладают в этом отношении значительно более широкими возможностями.

По данным официальных американских коммюнике, с начала войны между Японией и США морские силы союзников потопили на Тихом океане 291 японский корабль. В числе потопленных японских кораблей: 1 линкор, 4 авианосца, 18 крейсеров, 26 эсминцев, 27 подводных лодок, 82 транспорта, 65 торговых судов и др. Даже для довольно многочисленного японского военно-морского флота такие крупные потери существенны.

Другой трудностью, вставшей перед японским командованием, является борьба за превосходство в воздухе. Если на первом этапе войны успехи японских войск обеспечивались в значительной степени господством в воздухе, то сейчас обстановка в этом отношении изменилась. Бои за острова Новая Гвинея и Новая Британия, развернувшиеся на подступах к Австралии, свидетельствуют о возросшей силе авиации союзников. Воздушная война в этих районах принимает все больший и больший размах, причем авиация союзников сохраняет за собой господство в воздухе. Вследствие этого японцы не в состоянии укреплять свои базы, захваченные ими на островах Новая Гвинея и Новая Британия, без чего невозможно развертывание дальнейших операций. Все это дало союзникам возможность выиграть время для концентрации своих сил.

Ожесточенная борьба в воздухе продолжается. Если Лае, Саламауа и Рабаул — наиболее вероятные исходные пункты активных действий вооруженных сил Японии против Австралии, то порт Морсби является не только основной преградой на пути их продвижения, но и угрозой захваченным японцами базам. Поэтому все указанные выше пункты почти ежедневно подвергаются интенсивным бомбардировкам. Воздушная война на подступах к Австралии принимает все больший и больший размах. Союзники продолжают удерживать здесь за собой господство в воздухе, и это обстоятельство решающим образом влияет на осуществление японским командованием намеченных ранее планов.

О возросшей мощи вооруженных сил со-

юзников свидетельствует и исход морского боя в Коралловом море. Как известно, это крупное морское и воздушное сражение не вызвало ни с той ни с другой стороны таких потерь, которые существенно изменили бы соотношения сил в юго-западной части Тихого океана. По вполне понятным причинам стороны не опубликовали своих потерь, да и не это является мерилем результатов сражения в Коралловом море.

Значение этого события заключается в том, что союзникам удалось хотя бы временно нарушить планы своего противника. Это, конечно, не значит, что с момента сражения в Коралловом море положение на тихоокеанском театре войны коренным образом изменилось. Японское командование продолжает концентрацию своих воздушных и морских сил к северо-востоку от Австралии, туда непрерывно прибывают японские пополнения, — все это показывает, что угроза, нависшая над Австралией, пока окончательно не отпала.

Все эти трудности, видимо, и оказали известное влияние на сокращение размаха наступательных операций японских вооруженных сил. Союзники используют это обстоятельство для наращивания своих сил не только с целью противодействовать дальнейшим военным мероприятиям Японии, но и для нанесения противнику ответных ударов. О возросшей мощи вооруженных сил союзников говорит факт налета американских самолетов на территорию Японии, которая уже в течение 2 600 лет не подвергалась вражескому нападению, а особенно результаты боя у острова Мидуэй.

Возрастающая активность вооруженных сил союзников, которую они продемонстрировали 18 апреля при нападении американской авиации на города Японии, видимо, встревожила японское командование. Поэтому весьма вероятно, что именно с целью отодвинуть район боевых действий от своих берегов японское командование предприняло попытку захватить морские базы США в центральной части Тихого океана. Как и в начальный период войны, японцы стремятся захватить инициативу в свои руки, выдвинув в район острова Мидуэй крупные силы своего военно-морского флота.

Сражение, развернувшееся в первых числах июня к западу от острова Мидуэй, показало эффективность действий бомбардировочной и торпедоносной авиации. Флоты противников почти не имели боевого соприкосновения друг с другом, и исход сражения предрешили действия самолетов. В результате серьезных потерь японская эскадра была вынуждена отойти к своим берегам, не выполнив поставленной ей задачи. Потери японского военно-морского флота, понесенные у острова Мидуэй, уменьшили наступательные возможности Японии.

Однако, судя по фактическому ходу боевых событий, японское командование не отказалось от осуществления наступательных планов и не намерено перейти к стратегической обороне. Потери, понесенные японскими вооруженными силами, довольно велики, но не настолько, чтобы препят-

ствовать проведению активных действий. Но, во-первых, нужно иметь в виду, что в создавшихся условиях дальнейшее продвижение японских войск связано с разрешением более сложных задач; во-вторых, силы союзников постепенно увеличиваются, а вместе с этим возрастает и их боевая активность. Поэтому дальнейшая борьба на тихоокеанском театре будет, несомненно, носить уже иной характер, чем это имело место на первом этапе.

Вооруженные силы Японии значительно меньше соединенных сил воюющих против нее стран, а с увеличением размаха операций это преимущество будет приобретать все большее и большее влияние на исход войны. Нельзя также забывать, что длительная война потребует огромных людских и материальных ресурсов. В Соединенных Штатах мобилизован огромный производственный аппарат для обеспечения беспрецедентного по своим масштабам производства вооружения, снаряжения и боеприпасов.

Уже в 1941 году производственная мощность американской промышленности была значительно увеличена. На этой базе в

1942 году США дадут огромное количество всевозможных военных машин и вооружения. В послании к конгрессу от 6 января Рузвельт объявил следующую программу производства вооружения в 1942 году: 60 тыс. самолетов, в том числе 45 тыс. военных, 45 тыс. танков, 20 тыс. зенитных орудий; намечена также постройка торговых судов общим водоизмещением в 8 млн. тонн. В 1943 году программой предусматривается: постройка 125 тыс. самолетов, в том числе 100 тыс. военных, 75 тыс. танков; 35 тыс. зенитных орудий и торговых судов общим водоизмещением в 10 млн. тонн.

Успехи, достигнутые японскими вооруженными силами, довольно велики. Но нельзя забывать, что в течение первого этапа войны они были обусловлены заблаговременной тщательной подготовкой и внезапностью нападения. За восемь месяцев военных действий Япония в значительной степени утратила эти преимущества. Ход войны будет зависеть от активности возросших вооруженных сил союзников.

Москва, 15 июля 1942 г.

Суворов в своих письмах

Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.

Пушкин

«Наука побеждать» — так называется свод основных положений Суворова-полководца, изложенный всего-навсего на нескольких страничках и в предельно сжатой форме охватывающий целую науку ратного дела. Приучавший своих подчиненных понимать себя с полуслова, с одного намека, подчеркнутым выразительным жестом, интонацией, Суворов исключительно краток в изложении своей боевой системы. Десяток страниц его «Науки побеждать» — это своего рода классический конспект.

Но в сущности все, что написано Суворовым — его приказы, донесения, письма, — дополняет и развивает отдельные положения той же науки, а блестящим осуществлением их на деле была замечательная жизнь ее великого основоположника.

Никто не сумел ярче и образнее охарактеризовать Суворова, чем сделал это он сам в своих высказываниях о себе, в устных и письменных беседах с современниками.

На склоне своих дней Суворов собирался диктовать свои воспоминания. Смерть помешала ему осуществить это намерение. Две его автобиографии официально деловиты и сухи; они подходят на распространенные послужные списки, и не в них раскрывается во всей своей индивидуальности и высшей степени своеобразная натура Суворова.

Подлинным зеркалом, отражающим его внутренний облик, настоящей автобиографией его, — если понимать под автобиографией не голую хроннку внешних жизненных фактов, — является суворовская переписка. Она служит прекрасным подтверждением справедливости слов П. А. Вяземского, большого ценителя и мастера эпистолярной прозы: «Самые полные, самые искренние записки не имеют в себе того выражения истинной жизни, каким дышат и трепещут письма, написанные бегло, часто торопливою и рассеянною, но всегда по крайней мере на ту минуту проговаривающейся рукою... Письма — это

самая жизнь, которую захватывает по горячим следам ее»¹.

В 1790-х годах граф Пукато, служивший под знаменами Суворова, замыслил написать биографию своего начальника и обратился к последнему с просьбой предоставить ему необходимые для этого материалы.

Суворов в своем ответном письме начинает с указания на то, что его личная жизнь настолько слита с его военной карьерой, что невозможно отделить первую от второй, не повредив цельности его портрета. Иначе сказать, биограф Суворова должен сочетать в себе историка. Далее он переходит к самохарактеристике: он пренебрегает «соблазнительной прелестью удобств и изнеженности», он «скуп в отношении драгоценнейшего из своих достояний — времени», он «в непрестанном движении, как в походе, так и в мирном уединении», он с трудом подчиняется планам, зато «с постоянством и успешностью» старается «ловить ускользающую минуту» счастья (эту мысль не раз высказывал Суворов: «Одна минута решает исход баталий», «Я действую не часами, а минутами»). Созданный им самим для своего руководства «образец» часто помогал ему «одерживать верх над своеправной богиней, именуемой Фортуна» (Суворов любил говорить, что у Фортуны только один хохот на лбу; не успеешь поймать ее за хохол, а она уже улетела и «кажет голый затылок»). «Вот все, что я знаю о себе; оставляю свое доброе имя современникам и потомству. Такая, на глазах у всех протекшая жизнь, как моя, не может быть вполне искажена биографом. Всегда найдутся справедливые свидетели истины, а большего я и не прошу от того, кто мнит меня достойным, дабы обо мне судили и писали... Я хотел бы, чтобы мой биограф строго соблюдал яе-

¹ Статья «О письмах Карамзина», «Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземского», т. VII, СПб, 1882, стр. 135.

ный и простой слог и чистейшую истину, основанную на точном знании моего образа действия...»²

Недоброжелатели Суворова упрекали его в честолюбии. Можно, при желании, на примере отдельных фактов, выхваченных из его жизни, тех или иных фраз, вырванных из его писем, доказать, что Суворов действительно был честолюбив. Но вопрос в том, должно ли ставить ему в вину такое честолюбие, каким он обладал, и не иного ли оно свойства, чем честолюбие Потемкиных и Зубовых?

Честолюбие, якобы сневдавшее Суворова, — это благородное честолюбие человека, с юных лет сознавшего заложенные в нем силы на славу и гордость родной страны и поставившего своей жизненной целью — быть героем. И зная, как достиг Суворов этой цели, мы видим в честолюбии Суворова одну из многогранных форм его горячего патриотизма. Он сам подчеркнул это в замечательных строках своего письма к А. И. Бибикову: «Доброе имя должно быть у каждого честного человека; лично я видел это доброе имя в славе своего отечества; мои успехи имели исключительной целью его благоденствие»³. Смолоду задумывавшийся над своим идеалом героя и в итоге боевых трудов и жизненного опыта создавший в своем представлении законченный его образ, Суворов вносил в число обязательных его качеств — честолюбие без заносчивости.

«Отличай честолюбие от гордости и кичливости», — писал он своему крестнику А. Карачаю⁴. Требуя признания своих заслуг, Суворов говорил: «Титлы мне — не для меня, но для публики потребны»⁵. Он хотел, чтобы награждения, получаемые им, вдохновляли других на такие же подвиги. Никогда не ушуская представлять к наградам отличившихся подчиненных, Суворов видел в этом «источник ободрения другим»⁶.

Созданный Суворовым идеал героя — это и был тот «образец», служивший ему руководством в жизни, о котором он упоминает в письме к графу Шукату. Этому «образцу» Суворов придавал большое воспитательное значение. С исчерпывающей полнотой он изложил свое представление об истинном герое в письмах к двум юно-

шам, избравшим военное поприще, — П. Н. Скрипицыну и А. Карачаю. Оба письма исключительно важны для характеристики самого Суворова.

Изображение истинного героя в письме к Скрипицыну с начала до конца построено на противопоставлениях. Он должен быть «смелым, но без запальчивости, скорым без опрометчивости, расторопным, но с рассуждением, подчиненным, но без унижения, начальником, но без кичливости, победителем, но без тщеславия, честолюбивым, но без заносчивости, благородным, но без гордости, ласковым, но без лукавства, твердым, но без упрямства, скромным, но без притворства, основательным, но без педантизма, проницательным, но без проницательства, откровенным, но без оплошности, приветливым, но без околичностей, услужливым, но без всяких выгод для себя. Решительный, избегающий колебаний, он предпочитает здравый рассудок остроумию; враг зависти, ненависти и мщеница, он низлагает своих противников снисхождением и первенствует над друзьями верностью; он утомляет свое тело, дабы больше укрепить оное; он стыдлив и воздержан; религия служит ему нравоучением, а примером — добродетели великих мужей; чистосердечный и прямодушный от природы, он гнушается лжи и попирает криводушие; он общается только с честными людьми, честь и честность составляют его достоинство; он любим своим государем и войском, все предано ему с полной доверенностью; в день сражения или в походе он все полагает на весы, все обдумывает и совершенно препоручает себя провидению; он никогда не увлекается стечением обстоятельств, но подчиняет себе все случаи, действуя всегда по правилам своей неусыпной прозорливости»⁷.

Этот созданный в письме образ не только литературный опыт характера, но и очень верный психологический автопортрет самого Суворова. Жадно черпавший в истории примеры, заслуживающие подражания, глубоко выикавший в жизнеописания великих людей, в особенности знаменитых полководцев, Суворов по образцу и подобию излюбленных им героев выработал собирательный «образец» героя.

Впоследствии, напутствуя на военную службу своего племянника князя А. Горчакова, Суворов говорил: «Последуй Аристиду в правоте, Фабрициану в умеренности, Эпиминонду в нежливости, Катону в лаконизме, Юлию Цезарю в быстроте, Туреню в постоянстве, Лаудону в нравах»⁸. О самом себе он писал Потемкину:

² Лёвшин В. «Собрание писем и анекдотов...» стр. 59—64. Перевод с французского.

³ Петрушевский А. «Генерал-искусник князь Суворов», т. II, СПб, 1884, стр. 34. В дальнейшем цитируется сокращенно: Петрушевский, с указанием тома и страниц. Многие документы известны только в цитатах Петрушевского, другие, ранее напечатанные в разных из-

² «Москвитянин», 1845, ч. I, № 1, январь, отд. VI, стр. 18—20. Перевод с французского.

³ Письмо от 25 ноября 1771 г. Цитировано В. А. Алексеевым в предисловии к изданию «Письма и бумаги Суворова из «Суворовского сборника» Императорской Публичной Библиотеки», СПб, 1901, стр. VII. Перевод с французского.

⁴ Лёвшин В. «Собрание писем и анекдотов, относящихся до жизни Александра Васильевича князя Италийского, графа Суворова-Рымнижского...», М., 1809, стр. 61.

⁵ Письмо к Д. И. Хвостову от 5 мая 1796 г. «Красный архив», 1941, т. 3 (106), стр. 162.

⁶ Письмо к И. И. Веймарну от 16 июня 1771 г. «Письма и бумаги Суворова», т. I, Петроград, 1916, стр. 85.

«Наука просветила меня в добродетели; я лгу, как Эпаминонд (шутка: следует понимать ее в обратном смысле; ср. выше слова о «нелживости» Эпаминонда), бегаю, как Цезарь, постоянен, как Тюрень, и праводушен, как Аристид»⁹. Для молодого поколения, в пример которому ставил Суворов свой «образец» идеального героя, последний приобрел большую жизненную убедительность, ибо оно не могло не видеть живого воплощения этого собирательного характера в самом Суворове.

Письмо к Карачаю, во многом перебликающееся с письмом к Скрипицыну, начинается с указания на необходимость для него как будущего военачальника прилежного и постоянного самообразования. Наряду с произведениями классиков военного дела он должен уделять внимание физике, философии, географии, истории, иностранным языкам.

Из биографии Суворова мы знаем, что сам он и в походе находил время для чтения: несколько книг, в том числе излюбленные им «Комментарии» Юлия Цезаря, были его неразлучными спутниками. Остальная часть письма содержит ряд дополнительных наставлений, большей частью подсказанных его собственным военным опытом: «Тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им пример собою. Непрестанное изощрение глазомера сделает тебя великим полководцем. Умей пользоваться местоположением; будь терпеливым в трудах военных, не подавайся унынию от неудач... Никогда не презирай своего неприятеля, каков бы он ни был; знай хорошенько его оружие и способы обращения с ним; знай, в чем заключается сила и в чем слабость врага. Приучайся к неутомимой деятельности; повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу; покоряй себе эту минуту с быстротою Цезаря... Будь искусным в том, чтобы твои войска никогда не испытывали недостатка в пропитании»¹⁰. Это говорит уже не Суворов-теоретик военного искусства, а Суворов-практик. Каждое из этих наставлений может быть подтверждено фактами его личной, поистине неутомимой деятельности.

В письме к молодому Карачаю высказано известное положение Суворова: «Достоинства военные суть: отвага для солдата, смелость для офицера, доблесть для генерала, руководствуемые началами порядка и дисциплины, управляемые бдительностью и предусмотрительностью». Основанием этих «достоинств — или, говоря языком суворовского времени, «добро-

даниях, приведены Петрушевским по первоисточникам. В таких случаях мы делаем ссылку на Петрушевского, а не на соответствующее издание, так как печатные тексты суворовских писем не всегда авторитетны.

⁹ Письмо от 10 декабря 1784 г. «Письма и бумаги... из Суворовского сборника», стр. 27.

¹⁰ Левшин В. «Собрание писем и анекдотов...», стр. 61—62. Перевод с французского.

детелей» — являлась уверенностью в себе. Вот эту черту и старался Суворов в первую очередь развивать в своих подчиненных. Рассказывая в письме к И. И. Веймарну о своих приемах обучения солдат, Суворов говорит: «Каждый шел через мои руки, и сказано ему было, что более ему знать ничего не осталось, только бы выученное не забыл. Так был он на себя и надежен, — основание храбрости»¹¹. Суворовские методы строевой подготовки были рассчитаны именно на то, чтобы воспитывать в солдатах эту «надежность на себя», уверенность в том, что «от храброго российского гренадера... никакое войско в свете устоять не может»¹². И Суворов достигал своей цели, изо дня в день приучая своих «чудо-богатырей» готовиться «в мире к войне».

На войне Суворов всегда стремился быть в самых ответственных и жарких местах. Ничто так не тяготило его, как выжидание, бездействие, вынужденная медлительность. В таких случаях он не в силах сдерживать своих сетований: «Каликая бы мне была милость, если бы дали отдохнуть хоть один месяц, то есть выпустили бы в поле. С божьей помощью на свою бы руку я охулки не положил»¹³. Военная служба представляет интерес для него лишь тогда, когда она соединена «с практикой». Вот почему в дни мира он добивается такого рода службы, который бы возможно более напоминал ему дни войны. В 1791 году Суворов, недавнего победителя Измаила, назначается на работы по укреплению наших северных границ. Он удручен не тем, что в его отсутствие Потемкин пожинает незаслуженные лавры, а тем, что превращен из «солдата» в «инженера». «Баталья мне лучше, чем лопата извести и пирамида кирпича», — жалуется он, — «мне лучше 2 000—3 000 человек в поле, чем 20 000—30 000 в гарнизоне»¹⁴. Петербургские корреспонденты Суворова утешают его, ссылаясь на то, что его жизнь теперь спокойна и лишена походных требований. Эти доводы бесят Суворова: «Я не могу оставить 50-летнюю привычку к беспокойной жизни и моих созданных приобретенных талантов... я привык быть действующим непрестанно, тем и питаюся мой дух...»¹⁵

Зато в Тульчине, в 1796 году, занимаясь обучением войск по окончательно выработанной к этому времени «Науке побеждать», Суворов чувствовал себя прекрасно. Состоявший при нем тогда голландец Фалькони пишет Д. И. Хвостову следующее: «Наш почтенный старик здоров; он очень доволен своим образом жизни; вы знаете, что наступил сезон его любимых удовольствий, — поле, ученья, ла-

¹¹ Петрушевский, т. I, стр. 68.

¹² Письмо к гр. Н. А. Зубову от 26 мая 1788 г. «Русский архив», 1866, вып. 7, слоб. 952.

¹³ Письмо к Я. И. Булгакову, январь 1770 г. Петрушевский, т. I, стр. 89.

¹⁴ Письмо к Д. И. Хвостову, 1792 г. Там же, стр. 432.

¹⁵ Письмо к П. И. Турчанинову, 1792 г. Там же.

гери, беспрестанное движение; ему ничего больше не нужно, чтобы быть счастливым»¹⁶.

Суворов, как никто, знал и любил русского солдата, ибо плечо о плечо с ним прошел весь длинный путь военной службы — от рядового до главнокомандующего. Уже одно это было залогом установившегося между ними взаимопонимания, необычного в условиях его эпохи.

Известно, что со времен Петра каждый дворянин обязан был начинать военную службу с нижних чинов. Однако связи и деньги давали возможность легко обходить этот закон. Родители записывали сына еще младенцем в капралы или сержанты гвардии. Вспомним пушкинского Петра Андреевича Гринева: «Я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Я считался в отпуску до окончания наук». По милости князя Б. или графа В., такой «недоросль» еще до окончания своих немудреных наук, играя дома в лошадки или прыгая с веревочкой, мог доиграться и допрыгаться до следующих чинов. К счастью Суворова, его военная служба сложилась иначе: он поступил в гвардию на пятнадцатом году рядовым и лишь два года спустя был произведен в капралы. Все, чему впоследствии учил он своих подчиненных и чего от них требовал, было пройдено и прodelано им самим. Не брезгуя никакой черной работой, Суворов-полковник с удовлетворением писал И. И. Веймарну: «Знают офицеры, что я сам то делать не стыдился... Суворов был и майор, и адъютант — до ефрейтора, сам везде видел, каждого выучить мог»¹⁷. И величайшим удовлетворением для Суворова всегда было сознание что «солдат с меня при мер берет».

Не избитой тропой вступил Суворов на военное поприще и больших постов достиг не теми кратчайшими путями, какими достигало их большинство военачальников его времени, не имевших ни боевого опыта, ни военных способностей. До высоких званий он не доканданялся на паркетe, а дослужился в боях и походах, «рваными, увечьями и многими победами». Имея за спиной «пятьдесят лет практики», Суворов писал П. И. Турчанинову: «...я всех старше службою и возрастом, но не средками и не камердинерством у равных»¹⁸. Не в его характере было бы кичиться своей «породой» или добиваться чести варить утренний кофе временщику. Презрительно именуя придворных «антишамбристами» (от французского слова *antichambre* — передняя), Суворов причислял себя к разряду тех генералов, которые рождаются генералами, а не делаются ими. Он гордился тем, что от его осанки, манеры держать себя отдавало лагерем, а не ароматами «сераля», каким было в его глазах дворец. Ему претили условности светского обхождения: «Долговре-

менное бытие мое в нижних чинах при обрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей; препроводя мою жизнь в поле, поздно мне к ним привлекать», — пишет он Потемкину¹⁹. Однажды на придворном балу, в ответ на вопрос Екатерины, чем его «поподчивать», Суворов попросил «благословить» его водочкой. «А что скажут красавицы-фрейлины которые будут с вами разговаривать?» — «Они почувствуют, что с ними говорят солдат», — возразил Суворов.

Военная служба, начатая с «долговременного бытия в нижних чинах», крепкой внутренней близостью связала Суворова с солдатской средой, — в этом тайна его неотразимого влияния на солдат. Он был первым солдатом среди своих подчиненных. Это не значит что, держа себя с ними на равной ноге, Суворов допускал запанибратское отношение к себе. В суворовских войсках существовала строгая дисциплина, но основанная на чувстве глубокого уважения к достоинству человека. Когда же Павел I принялсь вводить в армии шалочную дисциплину, Суворов резко порицал ее и на словах, и в письмах: «Милосердие покрывает строгость. При строгости надобна милость, иначе строгость — тиранство. Я строг в удержании здоровья, истинного искусства благочиния, — милая солдатская строгость. А за сим — общее братство. И во мне строгость по прихотям была бы тиранством. Гражданские доблести не заменяют бесполезную жестокость в войсках»²⁰.

«Удерживание здоровья» в войсках путем упорядочения санитарного состояния армии составляло всегда предмет неусыпных забот Суворова. Того же требовал он и от своих подчиненных, строго взыскывая к тем, чьим «небрежением» развивались болезни и росла смертность в войсках. Суворов при этом прекрасно сознавал, что не всем приходилось по душе его приказы «о сохранении здоровья» или выработанные под его руководством «Правила медицинским чинам». В письме к П. И. Турчанинову от 13 декабря 1792 года он передает следующий разговор с одним из своих ординарцев: «Зыбин, что вы бежите в роту, разве у меня вам худо, скажите по совести?» — «Мне там на прожиток в год 1 000 рублей». — «Откуда?» — От мертвых солдат»²¹. Смысл этих коротких реплик понятен: заболевшие или умершие солдаты не показывались в делах выбывшими из полка, а за счет этих «мертвых душ» наживались разные армейские Чичиковы. Со свойственной ему настойчивостью Суворов добивается улучшения качества провианта, отпускаемого для солдат, и пут напалкываясь на разного рода злоупотребления. Зная, что мелкие

¹⁹ Письмо от 10 декабря 1784 г. «Письма и бумаги... из «Суворовского сборника» стр. 27.

²⁰ Письмо к Д. И. Хвостову от 12 января 1797 г. «Красный архив», 1941, т. 3 (106), стр. 164.

²¹ «Сборник Русского Исторического Общества», т. I, СПб., 1867, стр. 295.

¹⁶ Петрушевский, т. II, стр. 269.

¹⁷ Там же, т. I, стр. 67.

¹⁸ Письмо к П. И. Турчанинову, 1792 г. Там же, стр. 432.

лишние часто прячутся за бархатные и парчевые спинки знатных покровителей, Суворов заявляет П. И. Турчанинову: «Кого бы я на себя ни подвину, мне солдат дорожке себя; лучше его я имею способы к самоблюденю»²².

На первом плане у Суворова всегда была забота о «солдате-человеке». Понятно поэтому, что когда венчанный маньяк Павел, смотрелвший на солдата, как на движущийся автомат, стал преобразовывать русскую армию на прусский лад — возмущению Суворова не было предела. Нововведения Павла опрокидывали всю многолетнюю «практику» великого полководца, подменяли основные положения «Науки побеждать», выдержавшие огненное испытание на полях сражений, мертвыми правилами отжившего военного устава, найденного «в углу развалин древнего замка, на пергаменте, изъеденном мышами»²³. Новый 1797 год Суворов встречает запиской под многоговорящим заглавием: «Буря мыслей». Эту «бурю» вызывают в нем павловские реформы, прежде всего больно задевавшие патристическое чувство Суворова. «Русские прусских всегда бивали; что ж тут перенять?» — спрашивает он, намекая на слепое преклонение Павла перед системой Фридриха. В середине января 1797 года, в течение четырех дней подряд, он изливает свое негодование по тому же поводу в письме к своему петербургскому корреспонденту Д. И. Хвостову. Биограф Суворова А. Петрушевский называет это интереснейшее письмо «четырёхдневной филиппикой». С большой едкостью и сарказмом нападает Суворов на замену прежнего удобного обмундирования новым, маскарадным нарядом, не пригодным не только к условиям похода, но и к обстановке военной службы в мирное время. Взаимному реформатору до этого не было дела: старая форма была ему ненавистна, ибо она была введена в войсках ненавистным ему Потемкиным. «Великодушный князь Тавриды» как полководец стоял неизмеримо ниже не только Суворова, но и Румянцева. Не считали его своим и солдаты. Он мог потребовать себе солдатского кваса или каши, но делалось это им не по-суворовски: в Потемкине то было прихотью, и солдат знал, что расшитый шатер, раскинутый посреди лагеря, отражает Потемкина от его палатки. Не зря говорится в солдатской песне:

Вор Потемкин-генерал
В своем полку не бывал.

Но Потемкин иногда трезво учитывал нужды русского солдата. Так его соображения относительно обмундирования русских войск целиком разделялись Суворовым, и последний вполне мог бы скрепить своей подписью следующие замечания Потемкина по этому поводу: «Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то

и готов. Если бы можно было стечь, сколько выдано в полках за щегольство палаш и сколько храбрых душ пошло от сего на тот свет! Простительно ли, чтоб страж целости отечества удручен был прихотями, происходящими от вертопрахов, а часто и от безрассудных?»²⁴.

И вот царственная прихоть превращает этого «стража целости отечества» в какой-то костюмированный манекен, «удручает» его голову напудренной прической с косой, перевязанной черной лентой, а ноги — лакированной обувью с множеством всяких крючков, подтяжек и петель. Глядя на эту дикую форму, Суворов мечет афоризмами; летучая молва подхватывает их и разносит по свету: «Косой не колоть, бублей не палить, глупой не стрелять», «Пудра не порох, бублик не пушки, коса не тесак; я не немец, а природный русак». В письмах Суворов еще резче обрушивается на прусский образец нововведенного обмундирования: «Нет вшивее прусаков, лаузер или вшивень назывался их плащ; в шильтлаузе и возле будки без заразы не пройдешь, а головню их вонюю вам подарит обморок. Мы от гадины были чисты, и первая доюка ныне солдат — штаблети; гной ногам...»

Критикует Суворов и прочие пункты военного устава Павла, достается попутно и адресату «четырёхдневной филиппики» Д. И. Хвостову, в радужных красках изображавшему новые порядки: «...ваши розы крыли России терны; ваши лавровые листья открывают тухлый корень, древо валится... Какое благовоие от цветов ваших и каков контраст!»²⁵

Суворов ненавидел сухую формалистику, схематизм и мертвечину. Перенимал отжившую, «протухлую» систему Фридриха мог только человек, для которого солдат не существовал за чертой плащ-парада. Наоборот, военное искусство Суворова вытекало из повседневного общения с солдатом в живой жизни. Суворов не терпел ничего, отзывавшего кабинетными расчетами. В своей автобиографии он говорит: «Никакой баталии в кабинете выиграть не можно, и теория без практики мертва»²⁶. Ту же мысль неоднократно повторял он с обычной для него прямотой выражения: «В кабинете врут, а в поле бьют».

В геронческие дни итальянского и швейцарского походов «полевому солдату» Суворову пришлось выдерживать трудную и упорную борьбу с кабинетными стратегами Вены, пытавшимися всячески сковать самостоятельность его действий как главнокомандующего союзной русско-австрийской армии. Вне себя от нелепых и часто уничижительных для него предписаний венского гофкригсрата (придворного военного совета), Суворов писал в коллегию иностранных дел графу Ф. В. Ростопчину, что не может нести службу, «когда хотят операциями править за ты-

²² Письмо к П. И. Турчанинову, 1793 г. Петрушевский, т. II, стр. 20.

²³ Письмо к Д. И. Хвостову, январь 1797 г. Там же, стр. 347.

²⁴ Дубровин Н., «А. В. Суворов среди преобразователей Екатерининской армии». СПб., 1886, стр. 109—110.

²⁵ Петрушевский, т. II, стр. 347.

²⁶ «Русский Архив», 1900, вып. 5, стр. 8.

сячи верст, не зная, что всякая минута на месте заставляет оные переменять»²⁷. Для Суворова неприемлемы были кабинеты, разработанные в отрыве от боевой практики планы военных действий. Между тем «проекторы, элюквенты и пуштобаи» гофкригсрата, возглавляемые бароном Тугутом, настаивали на беспрекословном исполнении их планов, без каких-либо от них отступлений, хотя бы и вынужденных непредусмотренными «в четырех углах» кабинета обстоятельствами. Как это расходилось с «практикой» Суворова, чьи краткие директивы всегда четко намечали основные контуры его военного замысла, но в деталях его осуществления никогда не связывали самостоятельности исполнителей! Вспомним письмо Суворова к графу И. Е. Ферзену от 5 ноября 1794 года из Варшавы: «Рекомендую вашему превосходительству полную решимость. Вы генерал! Я издали и вам ничего приказать не могу. Иначе стыдно бы было: вы локальный! Блюдайте быстроту, импульсию, холодное ружье (т. е. оружие.— Г.)...»²⁸

Страдая лихорадкой, подхваченной им в Италии, Суворов в августе 1799 года пишет графу Ф. В. Ростопчину: «Я уже с неделю в горячке, больше от яду венской политики»²⁹. Этой «горячкой» пишут его итальянские и швейцарские письма. «Сия сова не с ума ли сошла или того никогда не имела?» — с раздражением спрашивает он, имея в виду Тугута³⁰. «Начало моих операций, — объясняет Суворов императору Павлу, — будет и должно зависеть единственно от обстоятельств времени, назначение которому венский гофкригсрат делает по старинному навыку к таковым идеальным политическим выметкам. Бесперывные оттого последовавшие военные неудачи, помрачившие славу австрийского оружия, не научили его еще понине той неоспоримой истине, что от единого иногда мгновения разрешается жребий сражения»³¹.

Большой помехой Суворову была деятельность русского посла в Вене графа А. К. Разумовского. Своим подслуживанием австрийскому министру Тугуту Разумовский выводил Суворова из себя. В письмах к нему, сухих и подчеркнутых почтительных, он старается втолковать ему его обязанности, едва сдерживая чувство возрастающей неприязни к этому «почтенному другу». Раз, впрочем, под влиянием военных успехов (занятие Алессандрии), «горячка» несколько унялась в нем и, посреди церемонных благодарностей за «любезное дружеское письмо» «его сиятельства», с пера Суворова сорвалось неожиданное обращение к жене посла: «Матуш-

ка графиня, высеки графа: он пред этим немного дурил»³². Когда же «яд венской политики» с новым жаром разгорелся в крови Суворова, он открыто заявил Ростопчину, что «большая твердость в Вене» была бы «для дел службы в течение нынешней кампании гораздо полезнее», отказался от непосредственных сношений с досадившим ему послом и демонстративно вступил в переписку с помощником и будущим преемником последнего С. А. Кольчевым. «Будьте тверды, — увещал его Суворов, — не заразитесь воздухом совина гнезда; чуть вы гибки, — Тугутова гибкость вас одолеет, и будете вы в узде, как граф Андрей Кириллович»³³.

Накинуть узду на Суворова Тугуту не удалось, — «гибкости» в русском полководце не было. А потому австрийское командование вероломно покинуло своего союзника в альпийских снегах. Только благодаря гениальности своего полководца и собственной самоотверженности, ценой жестоких испытаний и тяжких жертв, суворовская армия прорвала опутавшую ее паутину предательства и преодолела горные кручи Швейцарии. Враги Суворова злорадствовали: знаменитый «генерал Вперед» отступил.

Суворов горячо возражал на эти обвинения. В тех случаях, когда обстоятельства вынуждали его «оглядываться назад», он делал это «не для того, чтобы бежать, а чтобы напасть». Изгоняя не только понятие отступления из своего военного катехизиса, но и самое слово «ретирада» из словаря военных терминов, употребительных в его войсках, Суворов руководствовался педагогическими соображениями. Его «Наука побеждать» — краткий живой учебник. Все, что не способствует воспитанию в учениках мужества, храбрости, самообладания, все, что требует разъяснений, а не может быть усвоено с одного слова, опускалось Суворовым-педагогом, как лишнее. В беседах же со специалистами военного дела он любил вдаваться в тонкости своего искусства, дополнять и комментировать свою «Науку побеждать».

Рагуа за наступательную тактику, «победительную атаку», преписывая Багратиону «от ретирад отучить» необученные тирольские войска, Суворов в то же время с исчерпывающей ясностью изложил свой взгляд на отступление в письме к австрийскому генералу Крау: «Ни одного поста не должно считать крепостью; нет стыда уступить пост превосходному в числе неприятелю; напротив, в том и состоит военное искусство, чтобы вовремя отступить без потери, упорное же сопротивление для удержания иного поста стоило бы дорого, между тем впоследствии

²⁷ Петрушевский, т. III, стр. 192.

²⁸ «Отечественные записки», ч. X, № 24, апрель 1824 г., стр. 107.

²⁹ Милютин Д., «История войны России с Францией... в 1799 году», т. III, СПб., 1852, стр. 421.

³⁰ Письмо к С. А. Кольчеву от 22 августа 1799 г. «Русская старина», 1900, т. СII, май, стр. 316.

³¹ Милютин Д., т. III, стр. 436.

³² «Архив князя Воронцова», кн. XXIV, М., 1880, стр. 334.

³³ «Русская старина», 1900, т. СII, май, стр. 318. Употребленное в тексте письма сокращенное обозначение: «Г. ан. К.» раскрыто в «Русской старине» как: «Генерал] ан[шеф] К[орсаков?], тогда как, совершенно очевидно, следует читать: «Г[раф] Ан[дрей] К[ириллович], т. е. Разумовский.

придется все-таки отдать его превосходному неприятелю... Уступленный пост можно снова занять, а потеря людей невозвратима; вернее один человек дороже самого поста»³⁴.

В героический месяц альпийской эпопеи двойная забота волновала Суворова и вместе с тем вдохновляла его на подвиг: забота о чести русского оружия и забота о людях, чья жизнь была ему доверена. В дни, когда союз России с Австрией уже висел на волоске, Суворов писал С. А. Колычеву: «При сем для сведения вашего превосходительства препровождаю переписку мою с эрцгерцогом (Карлом, главным командующим австрийской армией.— К. II.). Неудовольствие его, что я не соглашаюсь на его требования, обнаруживается довольно в сих бумагах; но слава и честь высочайше вверженного мне войска для меня свяще́нее, и все замыслы Тугута не вовлекут меня в расставленные им сети; я твердо принял намерение дать войскам нашим нужный отдых, снабдить их всеми потребностями, и потом уже расположить свои действия»³⁵.

Швейцарский поход явился блестящим подтверждением афоризма Суворова: «Где проходит олень, там пройдет и солдат». Под колючим снегом, в своем поношенном, «ветром подбитом» плаще, Суворов провел своих «чудо-богатырей», воодушевляя их горящим взором и бодрящим словом. И несмотря на то, что они видели своего полководца живущим и х жизнью, знали, что он спит на соломе и грызет солдатские сухари, он казался им каким-то сказочным богатырем, производил впечатление вездесущности. Один из суворовских ветеранов рассказывает: «Он был повсюду: и в передовых войсках (в авангарде) и в замке войск (в арьергарде); все видел и во всех вливал дух порядка, дух богатырства. Чудны были дела его!.. Неумолима деятельность!»³⁶.

Такое же впечатление неумоимой, кипучей деятельности получит каждый, кто ознакомится с суворовской перепиской. Но его представление о Суворове будет неполным, если оно ограничится только теми письмами, в которых последний выступает в качестве «солдата» и военачальника. Необходимо заглянуть и в обширный раздел суворовского эпистолярного наследия, заключающий его домашнюю переписку.

Для всестороннего понимания личности великого полководца нам важно видеть его не только на поле битвы, отдающим

распоряжения под грохот орудий, во мгле порохового дыма, но важно наблюдать за ним и в домашнем кругу, в открытой беседе с друзьями. И нередко ничтожная на первый взгляд записка обнаруживает в знакомом образе новые черты, и образ этот становится в наших глазах реальнее, живее и жизненнее, насколько не утрачивая при этом своей героичности и своего величия.

В домашней переписке Суворова сквозит обыденное и общежитейское часто вырываются знакомые нам черты великого полководца, и Суворов-отец и помещик неизменно заслоняется Суворовым-солдатом и патриотом.

Таковы, например, документы, рисующие отношение Суворова к крестьянам. Мы знаем его неусыпные заботы «о сохранении здоровья» солдат. Предметом такого же постоянного внимания был для него вопрос здоровья и воспитания крестьянских детей. В наказе крестьянам своих новгородских деревень он пишет: «...особенно берегите дворовых ребяточек, одевайте их тепло и удобно, давайте им здоровую и довольную пищу и надзирайте их воспитание в благочестии, благонаравии и науках...» Сильная смертность среди крестьянских детей вызывает со стороны Суворова горькие обвинения по адресу родителей: «Ундольские крестьяне не чадолюбивы и недавно в малых детях терпели жестокий убыток; это от собственного небрежения... Сие есть человекоубийство, важнее самоубийства, порочный, корыстолюбивый постой проезжих тому главною причиною, ибо в таком случае пекутся о постояльцах, а детей не блюдут»³⁷. Строго-настрога запрещает Суворов посылать на работу, вместо матерей, детей, не достигших тринадцатилет. Особенно поощряет он многодетность: многодетные крестьяне получают от него награды и провиант на детей. Оказывая сам помощь нуждающимся, Суворов предписывает богатым крестьянам помогать в податях и работах бедным. Содержались в суворовских поместьях и пенсионеры-инвалиды, некогда служившие под его начальством, а также особого рода «ветераны» — четыре лошади, числившиеся «за верную службу в отставке на пенсией».

Значительную часть домашней переписки Суворова составляют письма к его детям, заслуживающие особенного внимания.

В семейной жизни Суворов не был счастлив. Он женился поздно, сорока трех лет, и вскоре разошелся с женой.

Всю свою привязанность, всю ту нежность, которую тайно в себе его пылкое сердце, Суворов сосредоточил на своей дочери Наташе. Она была его гордостью. Когда ей было всего лишь два года, он писал в письме к одному из своих знакомых, что девочка — вылитый отец по своим наклонностям: в осенний холод и слякоть месит грязь босыми ножонками. После разрыва Суворова с женой, в конце 1779 года, дочь была увезена от матери из Москвы в Петербург и помещена в

³⁴ Письмо, в переводе с немецкого, напечатано Е. Фуксом в «Истории Российско-австрийской кампании 1799 г.», ч. II, СПб, 1826, стр. 70—71, и Д. Милютиним в «Истории войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», т. III, СПб, стр. 353. Мы цитируем данное место в переводе Петрушевского, т. III, стр. 185.

³⁵ Письмо от 17 октября 1799 г. из Лигдау. «Русский архив», 1869, вып. 2, стр. 210.

³⁶ «Москвитянин», 1842, ч. VI, № 12, стр. 303.

³⁷ Петрушевский, т. I, стр. 274.

Смольный институт. Туда-то и адресовано большинство писем отца к ней.— Писем, согретых подкупающей задушевностью.

Первое сохранившееся письмо Суворова к дочери послано из Кинбурна и помечено 20 декабря 1787 года. «Любезная Наташа! Ты меня порадовала письмом от 9 ноября. Больше порадуешь, как на тебя наденут белое платье (то есть переведут в старший класс.— А. П.), и того больше, как будем жить вместе... Я твоего прежнего письма не читал за недосугом, ото-слал к сестре Анне Васильевне. У нас все были драки сильнее, нежели вы деретесь за волосы; а как выправду потанцовали, то я с балету вышел: в бок пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мной люпади мордочку отстрелили; насилу часов через восемь отпустили с театру в камеру»³⁸. Так, шутя, сообщает Суворов дочери о своем ранении, и этой шутливой окраской обычно отмечены те «реляции» об его военных действиях, которые он направляет «Суворочке». Из другого источника, из письма Суворова к его боевому сотоварищу П. А. Текелла³⁹, мы знаем, что в самый разгар «Кинбурнской баталии» он «истекал кровью» и оказывал себе первую помощь, омывая рану в Черном море, что минутой он был близок к обмороку. Присущее Суворову в условиях боя самообладание помогло ему до конца удержаться на своем посту, а боязнь взволновать дочь побудила его спутить над ранением, от которого он долго не мог оправиться.

Суворов слушн не чаял в дочери. Ее письма кажутся ему образцом «красного слога», и он отдаривает ее тою же монотонностью. Признавая себя вообще «нехорошим штилистом», пренебрегая обычно внешней отделкой писем («в штиле я разума не чу»), Суворов в переписке с дочерью вырабатывает совершенно особый, оригинальный стиль беседы отца с ребенком. При полной естественности и непринужденности, письма его к ней являлись в своем роде литературными произведениями. В отличие от остальной части суворовской корреспонденции, они свободны от синтаксически запутанных, усложненных фраз. Обращаясь к Наташе, он стремится быть понятным без всякого усилия с ее стороны. Применяясь к интересам детского возраста, Суворов не задерживается на чем-либо одном, с легкостью перебегая от предмета к предмету. Животному и растительному миру отведено немало места в его письмах. «О ай да Суворочка! Как же у нас много полевого салата, пшш, жаворонков, стерлядей, воробьев, полевых цветков! Морские волны бьют в берега, как у вас в крепости из пушек. От нас в Очакове слышно, как собачки лают, как петухи поют»⁴⁰. В другом письме он рассказывает девоч-

ке, что поймал скворца, «кормили из роту», да не досмотрели: он и улетел. А вот орла удалось приручить, и теперь Суворов пишет ей не гусиным, а орлиным пером. Синицы залетают к нему в комнату,— и этим он не преминет поделиться со своей «голубушкой». Рой шчелдный «сотягустил четыре роя»,— надо и об этом написать. «Дичины, фруктов очень много, рыбы пропасть, такой у вас нет, в прудах, озерах, реках и на Дунае, диких свиной, коз, цыплят, телят, гусят, утят, яблоков, груш, винограду. Орехи грешкие, волошкие поспели, с кофеом пьем буйвольное и овечье молоко. Лебеди, тетеревы, куропапки, живые такие, жирные»⁴¹.

Пишет Суворов и о своей походной жизни, пишет скупо, немногословно: «Недосуг много писать». Однако образ его, как живой, встает перед нашими глазами. «Около нас 100 корабляков, иной такой большой, как Смольный; я на них смотрю и купаюсь в Черном море с солдатами; вода очень студена и так солтона, что барышков можно сошить. Коли буря, то нас выбрасывает на берег»⁴². Шутливый тон, распевавший эпистолярную беседу Суворова с дочерью, сменяется серьезным и несколько приподнятым, когда он касается своего призвания. Чувство исполненного с честью долга дышит в следующих строках: «Я... солдат, я умираю за мое отечество... Смелым шагом приближаюсь к могиле: совесть моя не запятана. Мне шестьдесят лет, тело мое изувечено ранами, а бог оставляет меня жить для блага государства»⁴³.

Письмам Суворова к дочери присуща одна черта, которая редко улавливается в остальных частях его обширной корреспонденции: они лиричны. В неподдельных выражениях теплого отцовского чувства Суворов в них гораздо больше поет, чем в тех тяжеловесных рифмованных опытах, которыми он иногда «украшал» свои письма. «Мне очень тошно; я уж от тебя не помню когда писем не видал... Полетел бы в Смольный на тебя посмотреть, да крыльев нет»⁴⁴. Находясь на строительстве укреплений в Финляндии, он посылает дочери гостинцы: рябиновую пастилу и мамуру, и при этом не скупится на нежные слова: «Как будто мое сердце я у тебя покинул... Я тебя буду везде за глаза целовать... Помни меня, как я тебя помню»⁴⁵; «Смерть моя для отчества, жизнь моя для Наташи»⁴⁶.

Наконец наступил тот день, приближение которого «по арифметике считал» Суворов: 15 февраля 1791 года дочь его, еще не достигшая шестнадцатилетнего возраста, окончила курс Смольного института. Суворый кулитель «века Екате-

⁴¹ Письмо от 24 октября 1790 г. Там же, стлб. 944.

⁴² Письмо от 29 мая 1788 г. Там же, стлб. 936.

⁴³ Письмо 1791 г. Там же, стлб. 944—945. Перевод с французского.

⁴⁴ Письмо от 3 ноября 1789 г. Там же, стлб. 940.

⁴⁵ Письмо 1791 г. Там же, стлб. 946.

⁴⁶ Петрушевский, т. II, стр. 212.

³⁸ «Русский архив», 1866, вып. 7, стлб. 933—935.

³⁹ Письмо от 1 февраля 1788 г. «Письма и бумаги... из «Суворовского сборника», стр. 28—30.

⁴⁰ Письмо от 16 марта 1788 г. «Русский архив», 1866, вып. 7, стлб. 935.

яны» князь М. М. Щербатов утверждал, что из этого учреждения, предназначенного «для воспитания благородных девиц», «ни ученых, ни благонравных девиц не вышло, как только, поелику природа их сим снабдила; и воспитание более состояло играть комедии, нежели сердце, нравы и разум исправлять»⁴⁷. Особой «учености» не вынесла из института и Суворочка, но даже самые едкие и придиричьиые язвы отзывались об этой прекрасной и не блестящей показными «салонными талантами» девушке как о «добротой, добродетельной маленькой особе».

Не менее строгий, чем князь М. М. Щербатов, блюститель чистоты нравов, Суворов стал нужным преподавателем дочери, вступающей на скользкую дорожку светской жизни, следующее наставление: «Да сопутствует тебе всегда богиня невинности! Положение твое меняется. Помни, что свободное обращение порождает пренебрежение. Берегись этого; приучайся к естественной вежливости, избегай подруг, желающих ослеплять остротой своего ума: по большей части они испорченных нравов. Будь сурова с мужчинами и не говори с ними много; когда же они станут с тобой заговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием... Если доведется тебе быть в придворных собраниях и случится, что к тебе подойдет кто-либо из стариков, покажи вид, что хочешь поцеловать у него руку, но своей не давай»⁴⁸.

Велика же была тревога отца, когда 3 марта 1791 года дочь его была «пожалована во фрейлины» и помещена в личных апартаментах императрицы. Суворовым овладевает страх, как бы не оказалась пагубной для его «розы» пересадка из теплицы Смольного в атмосферу лести, угодищества и фаворитизма, разлитую при дворе. «...У меня больше всего на сердце благонравие моего невинного ребенка, при высочайшей милости»⁴⁹, признается Суворов в одном из своих писем. Мы знаем, что дворец был синонимом «серала» на языке Суворова. Немудрено поэтому, что опасения за судьбу дочери не дают ему покоя буквально ни днем, ни ночью. Однажды ему снится его Наташа вместе с «тетманом», то есть Потемкиным, и он впадает в «сонное суеверство», начинает придавать значение снам. «Извлечь из дворца Наташу» — становится настойчивым желанием Суворова. Суворов добивается желаемого, но ценой явного неудовольствия матушки-Екатерины. Суворочка переселяется из дворца сначала под надзор своей тетки М. В. Олешевой, затем на попечение родственника Суво-

рова Д. И. Хвостова, известного своей графоманией. Когда в конце того же 1791 года Суворов «откланялся» Екатерине перед своим отъездом в Финляндию, императрица кисло заметила своему секретарю Храповицкому, что отец ее фрейлины «лучше на своем месте, то есть вдали от дворца. Еще бы! Он и сам не скрывал, а наоборот, гордился тем, что был «невежеством здешних поведелиев».

1791 годом заканчивается наиболее интересный период переписки Суворова с дочерью. Письма эти довольно рано стали общественным достоянием; они были известны и в рукописных копиях и многократно перепечатывались еще при жизни самой Суворочки в разных сборниках «анекдотов», относящихся к ее великому отцу.

В 1795 году Наташа Суворова вышла замуж за графа Н. А. Зубова, отличавшегося «буйнством» и не ладившего со своим тестем. Умерла она в 1814 году, почти семидесятилетней старухой, но в глазах современников графиня Зубова до конца дней оставалась прежней Наташей-Суворочкой, боготворимой отцом, «дочерью бессмертного Суворова».

Домашняя переписка полководца не исчерпывается его письмами к дочери и о дочери. У него был сын Аркадий, но, по видимому, Суворов не испытывал к нему такой привязанности, как к своему герцогу — Наташе. В письмах, касающихся воспитания Аркадия, Суворов не дает воли личным отцовским чувствам. По отношению к нему он принимает тот же наставительный тон, с каким обращался к молодому Карачаю и ко всем тем, из кого он стремился образовать будущих достойных сынов великой страны: «Будь благонравен, последуй моим правилам... употребляй праздное время к просвещению себя в добродетелях». «Мои правила — это благочестие, благонравие, доблесть; отвращение к эживоку, энигму, фразе; умеренность, терпеливость, постоянство». «Поменьше светских развлечений: вместо «визитов и контр-визитов — беседа с мертвыми приятелями», т. е. с книгами»⁵⁰.

Письма Суворова, независимо от того, говорил ли он в них о своих ратных трудах, излагает ли свои правила морали, отдает ли хозяйственные распоряжения, драгоценны для полного его понимания. Взятые вместе, письма эти воскрешают во всей своей цельности чудесный образ этого великого патриота и гениального полководца. И этот образ близок нам тем, что при всей своей сложности, он прост в своем героизме и героичен в своей простоте. Поза и рисовка органически чужды Суворову. А ведь эти черты его — черты глубоко народные, отличавшие и отличающие русского человека на всем протяжении его многовековой истории.

⁴⁷ «О повреждении нравов в России».

⁴⁸ Письмо 1791 г. «Русский архив», 1866, вып. 7, стлб. 916—947. Перевод с французского.

⁴⁹ «Русская старина», 1872, т. VI, октябрь, стр. 410.

⁵⁰ Петрушевский, т. II, стр. 401—402.

Своими глазами

Участниками великой отечественной войны увидел Ф. Панферов своих любимых героев¹. И не случайно назвал он колхозника, выползшего из черной щели близ сожженного немцами дома, именем Егора Пшенцова.

Это он, некогда в поисках радости обьехавший на своем коньке родную землю и нашедший, наконец, свою радость в освобожденном колхозном труде (пьеса «Земля»), стоит нынче, обездоленный фашистами, у родного пепелища, по собственному своему выражению — «человек на голой земле».

И все же этот разоренный и ограбленный человек неизмеримо богаче своих врагов, и это ему, а не им, принадлежит будущее.

Скупыми чертами рисуя психическую атаку фашистских рот, Панферов раскрывает автоматизм германской военной машины: «...казалось, безумие этой психической атаки очевидно, казалось, что немецкое командование понимает это. Но жестокая машина была заведена, и вот с возвышенности, так же четко отбивая шаг, так же освещенная ракетами, стала спускаться вторая рота. И на нее тоже накнулись прожекторы, и в эту же секунду застрочили пулеметы... но жестокая машина крутилась, и с возвышенности стала спускаться третья рота, так же четко отбивая шаг». Этот автоматизм порождает страшных, бездушных людей и их страшные деяния. Неистовствующие на опустошенной и поруганной ими земле фашистский мерзавец-гестаовец Иоганн Мюллер, Карл Клаус и «сивый» переводчик Нейман умеют лишь опустошать эту цветущую землю, подло сокращая все на своем пути. Но они бессильны внутренне опустошить и низвести до своего уровня советского человека. Автору удалось с совершенной убедительностью показать это в образах борющихся против фашизма советских людей.

Майор Шилов, комиссар Левченко, лейтенант Ярцев, бойцы Саша Крайнов и Ураз Бузакаров, героические женщины Антонина Маленькая, колхозница Екатерина — не только прекрасные мастера своего дела и бесстрашные воины — все они люди большой мечты, богатого интеллекта.

В образе майора Шилова воинская хитрость, отвага и умение неразрывно сочетаются со светлой верой и упрямой, креп-

нущей в огне и крови, мечтой гуманиста. До глубины души огорченный смертью талантливого молодого математика, политика Пшенцова, после победоносного боя, майор Шилов мечтает о прекрасном будущем человечества.

Он думает, что в будущем «...у людей выработается такое же физическое отвращение к тому, — чтобы не то что убить человека, но и ударить его».

Эту гуманистическую мечту отнюдь не ослабляет в советском человеке война. Наоборот. «И... поэтому бить мы будем всю эту пакостную братию! — восклицает майор Шилов. — За одного Пшенцова я буду уничтожать их, как вошь. Помните, как замечательно сказал Горький: «Врага надо уничтожать, как вошь», — то есть безжалостно, с таким же омерзением».

Герои Панферова — люди, жадные до жизни и красоты. Они хорошо чувствуют жизнь и многого от нее требуют, а потому они во имя полнокровной радостной жизни без колебания идут на смерть.

«Что, тебе больше всех надо?» — спрашивают колхозную активистку Екатерину Ярцеву.

«Больше, — отвечает Екатерина. — У меня три сына и четыре дочери». Для них и для себя она завоевывает цветущее, богатое радостным творческим трудом будущее. Екатерина мужественно идет навстречу смерти, с презрением отвергнув предложенную ей фашистами убогую жизнь немецкого приказчика. А героическая мученическая смерть ее поднимает в районе партизанское движение, которому суждено спасти от гибели ее сына Егора Ярцева и его друга комиссара Левченко.

«Сократ умер за идею свою. Джордано Бруно сгорел на костре за идею свою. И многие...» — говорит лихой гармонист и боец Саша Крайнов, вызываясь идти на опасный подвиг и выслушав предостережение лейтенанта Ярцева. «Тогда пойдем», — соглашается лейтенант. И они идут и побеждают. Искусные и увлеченные мастера боя, герои Панферова воюют во имя торжества жизни на очищенной от фашистской мерзости родной земле. А потому среди грохота битв, смрада и запустения они не перестают ощущать прелесть родной природы («как чудесно пахнет сено!» — «Все тут изменилось, не изменился только запах сухих трав», — говорит комиссар Левченко), не перестают верить в силу подлинной дружбы, в нерушимость любви.

¹ Ф. Панферов «Своими глазами». «Новый мир», № 11—12, 1941 г.

«После боя за высоту Н, грехота артиллерии, взрывов мин, пулеметного назойливого треска и стонов наступило затишье. Солнце растопило первый пушистый снег, тогда почему-то показалось, что вернулась весна, и всем стало радостно. А тут еще откуда-то прилетел голубь — сизый, дикий...

Голубь! Голубь! Это не то что воронья. Воронья тут так много и оно вызывает у всех такое отвратительное чувство, что каждому при виде этой черной каркающей тучи хочется немедленно уничтожить ее. А теперь прилетел голубь, сизый дикий голубь, и этот дикий голубь вызвал у бойцов воспоминание о домашних, и они все кинулись писать родным письма, наперебой показывать друг другу фотографические карточки жен, возлюбленных, детей. На передовой линии, как только кончается бой, заводят разговор о родных, знакомых и главным образом о самых близких, самых дорогих — женах, детях».

Женщина, мужественно борющаяся рука об руку с бойцами с заклятым врагом, окружена братской заботливостью мужчин. Имя военного врача Антонины, любовно прозванной в полку «Маленькой», вдохновляет идущих в атаку красноармейцев.

Человек-творец, человек-созидатель, с любовью построивший новый, счастливый мир для своего потомства и кровью защищающий его, герой Панферова видит в женщине боевого друга и мать. Женская красота в его глазах — это прежде всего красота матери. Жена лейтенанта Ярцева Ольга как бы воплощает в себе этот идеал красоты: «По виду ей было лет двадцать шесть. Густые ее брови были чуть сдвинуты, а из-под них смотрели большие карие, тоскующие глаза. На щеках играл густой румянец, такой густой, что казалось, вот он залетит все лицо. Да и ото всей ее фигуры веяло чем-то хорошим, материнским».

Читая странички панферовской повести, мы верим, что не пропадет материнская красота Ольги Ярцевой и ее дети населят омытую кровью родную землю. В тоске

Егора Пшенцова, хозяйина двора, спаленного немцами, мы постигаем творческую жажду созидания.

Майор Шиллов в сопровождении бойца Ураза Бузакарова объезжает только что отвоеванный у немцев район. Из черной щели, из-под обугленных развалин показывается лицо насмерть перепуганного, заросшего волосами человека. Это старик Пшенцов.

«На... на... наши! — кричит он, не помня себя от радости. — А я думал те... А это наши... На-а-аши-и-и! Эка! Наши-и-и!» — «Да вы-то кто?» — спрашивает его в недоумении Ураз. «Я-то? Да я-то ведь это... хозяин двора, — он показал рукой на пепелище и снова как-то весь погас, протянул еле слышно: — Двора?! Вот те и двора. — ни кола, ни двора... Вот те и двора...» Но вот отчаяние обездоленного труженика снова сменяется в нем законной гордостью гражданина Страны советов. Он говорит о своем сыне, известном математике, профессоре Пшенцове, которому «советская власть путь-дорогу открыла». Он еще не знает, что сын его погиб в бою, но как бы уже предчувствует недоброе. Вера в будущее, творческая мечта и тут не покидают старика. «Мы вроде люди на голой земле. Вот ведь чего. Да ничего. Прогоним зверя и опять — давай только. Построим». Простившись с колхозниками, майор Шиллов идет «в окопы. Домой».

«Мстить надо», — коротко резюмирует он. «Своими глазами» увидел Панферов великую отечественную войну советского народа с германским фашизмом. Своего героя, жизнелюбца, трезвого и убежденного мечтателя, твердо стоящего на своей земле и готового умереть за эту землю, увидел автор в огне исторической битвы.

Своими, органическими для его творчества, путями сумел он показать читателю неизбежность нашей победы над фашистским «голым человеком», укрепить веру в человека-творца, который населит, возвеличит и украсит голую землю сегодняшних битв.

З. Кедрина

Первые герои

О «Мои земляки»¹ Льва Славина хочется говорить не только потому, что эта повесть волнует, как каждое художественное произведение, в котором запечатлено величие духа советского народа, так мощно проявившееся в наши героические дни, но и потому, что эта повесть — творческая удача писателя-патриота.

За годы войны мы познали много того, что труднее всего познается. Мы лучше узнали самих себя, измерили всю силу любви, дружбы и ненависти, увидели, какой неиссякаемый источник мощи содержится в себе советский патриотизм.

Физически ощутив нависшую над родной угрозой, с потрясающей ясностью поня-

ли мы, что теряем, если не выдержим, не устоим; и то, что раньше казалось обыденным, привычным, что мы раньше не то чтоб не ценили, но просто не замечали, поглощенные своими творческими делами, своими радостями и невзгодами, стало теперь таким бесценно дорогим, милым, что во имя его мы стали презирать смерть.

Борис Горбатов в одном из своих «Писем к товарищам», написанных с подлинно большевистским темпераментом и пользующихся огромной любовью фронтового читателя, рассказывает о старике-колхознике по прозвищу Игнат Несогласный. Шесть лет агитировал Игната в колхоз, и он все говорил: «Нет, не согласный я», и все шесть лет думал одну думку: как жить лучше. На седьмой год пришел он в колхоз и сказал: «Согласный. Принимаю».

¹ Л. Славин «Мои земляки», «Новый мир», № 1—2, 1942 г.

те». И вот немец подходит к его селу, за околицей идет бой. Старик Игнат сидит под дубом вблизи позиций, под минометным огнем, и страшная тоска гложет его сердце: «Нежели немцы войдут?» — тогда «крушение жизни». И тоскливо шепчет он: «Не могу я теперь без колхоза жить. Чуете? Не могу».

Хорошо передано это обновленное, приобревшее в крови и грохоте битв необыкновенную свежесть и непосредственность, чувство любви к родине и в военных рассказах Ильенкова. В одном из его лучших рассказов («Весна») идет речь о бойцах, долго наблюдавших перед атакой за первым весенним грачом, прилетевшим к самому блиндажу, и вдруг задумавшихся «о деревнях своих, о родных и близких, о рощах, увешанных черными шапками грачных гнезд, о детстве своем». И вся прожитая жизнь представлялась им несказанно милой, прекрасной, «хотя у каждого были в жизни не только хорошие дни». Но вот началась атака. Теперь эта милая жизнь была далека. Они шли к ней сквозь огонь, дым, кровь. Они пробились в потерянный мир, упорно преодолевая тысячи препятствий, и когда, сблизившись с врагом, один из бойцов выбросил вперед штык, из груди его невольно вырвался крик. И хотя крик этот был непонятен, непереводаем на человеческий язык, его все мгновенно подхватили, и в этом крике людей, несущихся в штыковую атаку, слилась и тоска по родному дому, и горячая жажда жизни, и люта я ненависть к врагу.

Вот она, любовь к жизни, рождающая презрение к смерти, — великий источник героизма советских патриотов, для которых любовь к жизни и любовь к отчизне это одно и то же, нераздельное, как душа и тело.

* * *

Боевой подвиг, жертва кровью или самой жизнью во имя отчизны — наиболее яркое выражение патриотических чувств, и вполне естественно, что в подавляющем большинстве художественных очерков и рассказов, созданных советскими писателями в дни войны, изображаются преимущественно подвиги советских воинов в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Не будем говорить об очерках-корреспонденциях, которые в первые месяцы войны заменяли нам и рассказ и повесть, которые и сейчас очень нужны, как живая, образная информация о героической борьбе Красной Армии на гигантском фронте от Ледовитого океана до Черного моря. Но если, читая беглую фронтовую зарисовку, сделанную под грохот пушек, в пороховом дыму, мы удовлетворяемся правдивым и достаточно ярким показом самого подвига героя, то, коли уж мы имеем дело с художественным произведением, мы требуем большего — мы уже хотим знать не только то, что совершил герой, но и желаем заглянуть в его душу, вместе с ним пережить то святое чувство, что влекло его на подвиг. Внешний показ подвига еще не дает понятия о величии его. Разве сравнимо бесстрашие внутренне опустошенного человека, ищущего смерти как

избавления от бремени опостылевшего существования, с бесстрашием героя, влюбленного в жизнь и идущего на смерть во имя любви к жизни. А ведь внешне, со стороны, поступки этих людей могут показаться схожими. Лишь раскрыв мир чувств и мыслей человека, совершающего подвиг, можно показать все величие этого подвига.

Вот почему читатель давно уже с нетерпением ожидал повести, в которой бы нашли отражение характерные черты советского человека — воина, вставшего на защиту своей земли, не только его подвиги, поступки, действия, внешнее поведение, но и его душа, мотивы его поведения, источник героизма.

Повесть Славина называют повестью о военной дружбе, но это не совсем точно. История дружбы двух бойцов, сражающихся на Ленинградском фронте, — история трогательная, интересная сама по себе, далеко не исчерпывает содержания повести, примечательной и ценной для нас главным образом тем, что мы впервые находим в ней художественно полнокровные образы своих земляков-соотечественников, воинов, чьи подвиги приносят нам вечную славу и восхищение всех свободлюбивых народов. Повесть Славина «Мои земляки» — это подлинно патриотическая повесть о рядовых советских людях в отечественной войне, простых людях мирного и скромного труда, в дни грозной военной опасности ставших воинами по призыву родины.

Ее герои — два пулеметчика, первый и второй номера, — по складу своего характера, по темпераменту совсем разные люди: Аркадий Дзюбин, одесский грузчик, — вспыльчивый, как порох, южанин, человек стремительный, нетерпеливый, большой говорун и притом очень язвительный, под маской надменности скрывавший нежную, мечтательную душу, ибо, как свидетельствует автор, «гордость в этом человеке была даже сильнее инстинкта жизни»; Саша Свинцов, уральский рабочий, «Саха с Уралмаша», — тяжелорукий гигант, человек северных лесов, молчаливый и невозмутимый в своем спокойствии и выдержке, в быту застенчивый, как девушка, в бою — прозный, как лев. «Он очень робкий, он только с немцами смелый», — подтрунивает над ним его насмешливый друг.

Однажды после боя Саха пропал где-то целую ночь. Аркадий, не терпевший проявления чувствительности, делал вид, что он ничуть не встревожен этим, злился только на то, что Саха, его второй номер, не почистил пулемет, однако же всю ночь простоял неподвижно, вглядываясь вдаль. Утром Саха явился.

«— Живой!» — с возмущением сказал Аркадий. — Где ты пропал всю ночь? Почему бросил грязный пулемет?

Гигант робко сказал:

— А меня увезли к командиру.

— К какому командиру? Шё ты не можешь быстрее говорить?

— К командиру полка.

— Майору Чернову?

— М-гм.

— Зачем?

— А он хотел меня видеть.

— Зачем? За-чем? Ты понимаешь русский язык?

— А он мне сказал: «Молодец, товарищ Свинцов, хорошо дрался, грамотно дрался».

— А шё ты такое сделал?

— А я положил немножко немцев в рукопашной.

— Сколько?

— Семь штук.

Аркадий молча смотрел на Сашу. Саша виновато переминался на своих слоновых ногах, бормоча:

— Пулемет-то я сейчас почищу, так уже вышло, понимаешь...

— Не, кроме шуток, семь штук?!— закричал Аркадий, и его худое надменное лицо расплылось в довольную улыбку.— Вот это да! Вот это спасибо! Поддержал марку пулеметного расчета!

Родина послала их, одного с севера, другого с юга, на зашиту подступоз к городу Ленина, поставила на один боевой участок, к одному пулемету— и вот рождается замечательная дружба воинов, живущих одними помыслами, одними желаниями, готовых отдать жизнь и за общее дело и друг за друга.

Сурова и мужественна ненависть к врагу у этих мирных по складу характера людей, ставших бесстрашными и грозными мстителями. У каждого из них свой характер и у каждого ненависть выражается по-разному. У молчаливого уральца, поглощенного мечтой о любви и счастье с девушкой, которую он как-то мелко увидел в сутюлке ленинградского трамвая, ненависть к фашистам прорывается в бою с такой бешеной яростью, что он бросается в рукопашную, схватив винтовку за конец ствола, и действует ею, как дубиной. Его друг Аркадий не называет немцев иначе, как «жабы» — с невыразимым, гадливым презрением, скрипя зубами, и стреляет с той же страстностью, что и поет под гитару любимые песни Одессы или ескадрится со своим другом. Строча из пулемета, он бормочет «связь стиснутые зубы»:

«Вот тебе за Дерибабушку... Вот тебе за памятник Лущкину... Ну, кушай!».

А как сердито захрипел он, когда веселый подносчик патронов Галанин, увидев в кузове машины дрожащих от страха пленных немцев, разразился счастливым смехом. «Шё ты смеешься, Галанин? Эти жабы понаделали таких гадостей, шё это в мире не видано. Они это понимают, оттого они и чересчур волнуются, когда нападают к нам».

Он някогда не простит этим «жабам» свою разрушенную Одессу, о которой рассказывал другу. Милую, родную Одессу, «шикарную» Дерибасовскую, за которую он сражается под холодным и туманным Ленинградом.

Стяля однажды друзья-пулеметчики возле памятника Ильичу у Финляндского вокзала, и Саша сказал, запинаясь:

«— Слышь, Аркадий, что думается мне. Думается мне, Ильичу-то глянулось бы, как мы бьемся за его город. Право!

Он замолчал, боясь насмешек Аркадия, который не выносил никаких чувствительных разговоров.

Аркадий молчал. А потом он сказал, скрипнув зубами, как он это делал в минуты сильных переживаний:

— Раньше, Сашья, я страдал, шё воюю не под Одессой. А теперь мне страшно нравится, шё я не даю этим жабам войть в город Ильича!»

Эта коротенькая и нередкость выразительная сценка отбрасывает яркий свет на всю повесть, в которой не все раскрыто до конца, в которой о многом мы узнаем по намекам или между строк чтая то, что принято называть подтекстом, например, всю жизнь героев до войны: ведь в повести о ней не сказано ни слова, а мы знаем, что уральский рабочий Саша Свинцов — большой патриот своего завода (недаром бойцы называют его Сашей с Уралмаша), и отлично представляем себе, особенно удавшегося писателю, Аркадия Дзюбина в пестрой толпе грузчиков одесского порта.

Вспомним одно из «Писем» Б. Горбатова. Оно писалось в приднепровском селе. В двух километрах шел бой. Бой за село.

«Ко мне подходят колхозники,— рассказывает автор письма.— Садятся рядом. Вежливо откланявшись, спрашивают. О чем? О бое, который кипит рядом? Нет! О Ленинграде!

— Ну, как там Ленинград? А? Стоит, держится?

Никогда не были они в Ленинграде, и родных там нет — отчего же тревога в их голосе, неподдельная тревога? Отчего же болит их сердце за далекий Ленинград, как за родное село?

И тогда я понял. Вот что такое родина: это когда каждая хата под седым очеретом кажется тебе родной хатой и каждая старуха в селе — родной матерью...»

То, что Б. Горбатов сказал горячим словом публициста, Л. Славян не менее талантливо раскрыл чисто художественными средствами.

В истории дружбы пулеметчиков Аркадия Дзюбина и Саши Свинцова, как солнце в капле воды, сияет отражение беззаветной любви к отчизне советского человека — воина. Перечтите прекрасную заключительную сцену повести. Здесь нет ни одного слова о любви к родине, но как сильно чувствуется ее горячее, животворящее дыхание.

После трудной размовки, виновником которой был Аркадий, горько сознававший свою вину, но от гордости не показывавший этого, Саша спасает в бою своего друга, тяжело раненного при совершении геройского дела. Он выносит из-под огня безжизненное тело Аркадия, кладет под дерево, пытается прощупать пульс.

«— Умер... — прошептал он, и по грубому лицу его покатались ступые слезы, вероятно, первые в его жизни.

Солнце садилось. Невдалеке трещали пулеметы. Мимо дерева прогнали группу немцев, только что захваченных в плен.

— Кто умер, кто? — слабым голосом вдруг сказал Аркадий и открыл глаза.

Саша вскрикнул от радости.

Он взял Аркадия за руку и крепко пожал ее. И он ощутил ответное пожатие, но такое слабое, что у Саши защемило сердце.

Аркадий повел вокруг себя глазами. Затуманенный взгляд его упал на пленных, проходивших мимо.

— Нет,— прошептал он,— эти жабы не дождутся, шёб Аркадий Дзюбин умер.

Он слегка приподнялся и тотчас упал на подставленные Сашей руки.

Но даже страшная боль от раны в голове не могла сломить этого человека. И улыбка, насмешливая и слегка надменная, непобедимая дзюбинская улыбка сияла на его окровавленном лице».

Но все у Л. Славина удачно. Жаль, на-

пример, что интересно задуманный и, кажется нам, нужный в повести образ майора Чернова остался только намеченным, жаль, что кое-что показано бегло, схематично, но будем благодарны писателю и за то, что он дал — за хороший почин: Аркадий Дзюбин и Саша Свинцов одни из первых вошли в галерею героев советской художественной литературы о великой отечественной войне, уже создающейся в дни ожесточеннейших сражений.

Е. Герасимов

Редколлегия: В. П. Ильенков, П. А. Павленко, Ф. И. Панферов,
И. В. Шамориков, С. П. Щипачев, М. М. Юнович (отв. секретарь)

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский пер., 10/2. Телефон: К 3-44-22

17-й год издания. Подписано к печати 29/VIII 1942 г. Тираж 25 тыс. экз. А61286
Печ. листов 8 $\frac{1}{4}$. Уч.-авт. листов 15. В печ. листе 76.920 зн. Цена 5 руб. Зак. 430

18-я типография треста «Полиграфкнига». Москва, Шубинский пер., 10

